

ISSN 0132-0637

Октябрь

12

1989



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1989

ДЕКАБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

При редакции журнала образован общественный совет. Представляем его членов: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, А. ГЕЛЬМАН, Л. ГИНЗБУРГ, Ю. КАРЯКИН, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, Ю. МОРИЦ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вадим СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

Ю. БУРТИН.
Ахиллсова пята исторической теории Маркса. Окончание 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Продолжение знакомства. Дмитрий БАКИН. Листья. Денис ДРАГУНСКИЙ. В гостях и дома. Дмитрий ДОБРОДЕЕВ. Хвост селедки. Игорь ТАРАСЕВИЧ. Жажда. Александр ТРОФИМОВ. О чем думает трамвай? Андрей КОСЕНКИН. Бенефис. Николай ИВЕНШЕВ. Шабашка. Игорь АГАФОНОВ. Одно ни к чему не обязывающее, но вполне романтическое приключение с кувшинками 49

Леонард ЛАВЛИНСКИЙ.
Новые стихи 106

Юнна МОРИЦ. Три рассказа	108
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. «Кому даны слова...» Стихи	115
Сергей АБРАМОВ. Стоп-кран. Театральная фантасмагория	117
Олег ТОМАШЕВСКИЙ. Полночная феерия. Стихи	155
Наталья СУХАНОВА. Два белых леса. Рассказ	157

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Георгий НОСКОВ. Голос в хоре. Заметки молодого критика	166
Сергей ЕСИН. Соображения по поводу начинающейся писательской судьбы	175

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В. ХОДАСЕВИЧ. Горький. Публикация В. Захарова	178
--	-----

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Георгий ВИРЕН. Жажда жизни. * А. ХОДОРОВ. Питерская муза. * Ю. ВЕРЧЕНКО. Подвиг разведчика . . .	190
--	-----

ОТКЛИК

На статьи В. ЗАЛЕЩУКА «Свет боли в тишине...» (Николай Андрияшин); В. НОВИКОВА «Дефицит дерзости»; М. ЭПШТЕЙНА «Концепты... Метаболы...» . . .	196
Содержание журнала «Октябрь» за 1989 год	206

Ахиллесова пята исторической теории Маркса

3

Однако пойдём дальше. Ранее было упомянуто о двух таких рычагах прогресса, которым Маркс и Ленин не нашли места в будущем, а тем самым и вообще преуменьшили их историческое значение. Первый — рынок, конкуренция, а второй?

Второй — демократия. Первый — в экономической сфере, второй — в политической, правовой, социально-психологической и во всех других областях общественной жизни, включая ту же экономическую.

И в данном случае разговор об этом также проще, нагляднее начать «с конца», с того места, которое занимает демократия в системе представлений Маркса, Энгельса, Ленина о коммунистическом будущем.

Тут прежде всего надо сказать о том, что в отличие от рынка и распоряжающегося им закона стоимости, судьба которых нераздельна для классиков марксизма с устранением частной собственности и, таким образом, входит в самое ядро их концепции коммунизма, тема демократии не имеет в ней самостоятельного значения, а рассматривается лишь как определенная грань двух других важнейших для них вопросов: о диктатуре пролетариата — во-первых, о судьбе государства в сложившемся коммунистическом обществе — во-вторых.

Взгляд Маркса и Энгельса на эти предметы хорошо известен. Трех-четырёх характерных выдержек будет достаточно, чтобы его напомнить.

Энгельс (1883): «Маркс и я с 1845 г. держались того взгляда, что одним из конечных результатов грядущей пролетарской революции будет постепенное отмирание политической организации, носящей название государства. Главной целью этой организации всегда было обеспечивать при помощи вооруженной силы экономическое угнетение трудящегося большинства особо привилегированным меньшинством. С исчезновением этого особо привилегированного меньшинства исчезнет и необходимость в вооруженной силе угнетения, в государственной власти. Но в то же время мы всегда держались того взгляда, что для достижения этой и других, гораздо более важных целей грядущей социальной революции рабочий класс должен прежде всего овладеть организованной политической властью государства и с ее помощью подавить сопротивление класса капиталистов и организовать общество по-новому» (19, 359).

Маркс и Энгельс (1848): «...Первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии» (4, 446).

Маркс (1875): «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого перио-

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 11 с. г.

да не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата» (19, 27).

Энгельс (1880): «Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность. Но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство как государство. /.../ Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества, — является в то же время последним самостоятельным актом его как государства» (19, 224—225).

Не правда ли, тут все определено и едва ли нуждается в каких-либо пояснениях? Ну, а что же в этой связи демократия? И что имели в виду авторы «Коммунистического манифеста», упомянув о «завоевании демократии»? Из многого, что хотелось бы на сей счет процитировать, выберем всего три замечания Энгельса, столь же репрезентативных, сколь лапидарных и ярких.

«Демократия, в конечном счете, как и всякая другая форма правления, есть... ложь, не что иное, как лицемерие... Политическая свобода есть мнимая свобода, худший вид рабства; она лишь видимость свободы и потому в действительности — рабство. То же и с политическим равенством; поэтому демократия, как и всякая другая форма правления, должна в конечном итоге распасться: лицемерие не может быть долговечным, скрытое в нем противоречие неизбежно выступит наружу; либо настоящее рабство, то есть неприкрытый деспотизм, либо действительная свобода и действительное равенство, то есть коммунизм» (1, 526—527).

«...Пролетариату для овладения политической властью также нужны демократические формы, но они для него, как и все политические формы, только средство. Если же кто-либо теперь стремится к демократии как к цели, то он должен опираться на крестьян и мелких буржуа, то есть на классы, которые обречены на гибель и, поскольку они хотят искусственно сохранить себя, являются реакционными по отношению к пролетариату. Далее, не следует забывать, что последовательной формой господства буржуазии является именно демократическая республика...» (36, 112).

«Так как государство есть лишь преходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица: пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать» (19, 5).

Опять-таки никаких хитростей и недомолвок, столь характерных для официального марксизма будущих времен.

Что касается Ленина, то наиболее развернутым изложением его позиции по интересующему нас вопросу, а вместе с тем своего рода обобщением и связующим комментарием к вышеприведенным высказываниям основоположников марксизма можно считать следующее место из его книги «Государство и революция», написанной непосредственно перед Октябрем 1917 г.:

«В капиталистическом обществе, при условии наиболее благоприятного развития его, мы имеем более или менее полный демократизм в демократической республике. Но этот демократизм всегда сжат тесными рамками капиталистической эксплуатации и всегда остается поэтому, в сущности, демократизмом для меньшинства, только для имущих классов, только для богатых. Свобода капиталистического общества всегда остается приблизительно такой же, какова была свобода в древних греческих республиках: свобода для рабовладельцев. /.../

Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической демократии, сказав в своем анализе опыта Коммуны: угнетенным раз в несколько лет позво-

ляют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их!

Но от этой капиталистической демократии, — неизбежно узкой, тайком отталкивающей бедноту, а поэтому насковзь лицемерной и лживой, — развитие вперед не идет просто, прямо и гладко, «ко все большей и большей демократии», как представляют дело либеральные профессора и мелкобуржуазные оппортунисты. Нет. Развитие вперед, т. е. к коммунизму, идет через диктатуру пролетариата...

А диктатура пролетариата... не может дать просто только расширения демократии. Вместе с громадным расширением демократизма, в первые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких, диктатура пролетариата дает ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам. Их мы должны подавить... их сопротивление надо сломить силой, — ясно, что там, где есть подавление, есть насилие, нет свободы, нет демократии. /.../

Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет классов... — только тогда «исчезает государство и можно говорить о свободе». Только тогда возможна и будет осуществлена демократия действительно полная, действительно без всяких изъятий. И только тогда демократия начнет отмирать в силу того простого обстоятельства, что, избавленные от капиталистического рабства... люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных... правил общежития, к соблюдению их без насилия... без особого аппарата для принуждения, который называется государством. /.../

Итак: в капиталистическом обществе мы имеем демократию урезанную, убогую, фальшивую, демократию только для богатых, для меньшинства. Диктатура пролетариата, период перехода к коммунизму, впервые даст демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым подавлением меньшинства, эксплуататоров. Коммунизм один только в состоянии дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет сама собою»¹.

Прошу прощения за столь обильную цитацию: хотелось донести свойственный Марксу, Энгельсу и Ленину общий взгляд на проблему демократии после победившей пролетарской революции в возможно большей целостности, не потеряв каких-либо существенных оттенков и обертонов. Впрочем, пока что из всего богатства высказанных здесь мыслей я позволю себе выделить только один момент: для классиков марксизма демократия — явление исторически преходящее, век ее измерен. В социалистическом обществе после более или менее кратковременного своего расцвета ей (как и государству и вместе с ним) предстоит отмереть. «Демократия, — еще раз подчеркивает Ленин, — имеет громадное значение в борьбе рабочего класса против капиталистов за свое освобождение. Но демократия вовсе не есть предел, его же не преjdeши, а лишь один из этапов по дороге от феодализма к капитализму и от капитализма к коммунизму»; «Чем полнее демократия, тем ближе момент, когда она становится ненужной»².

Не правда ли, довольно большое сходство с рынком, по отношению к которому был вынесен примерно такой же вердикт: мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Сто или даже семьдесят лет тому назад, когда опыт реального социализма исчерпывался двумя месяцами Парижской Коммуны, так думать было можно. Однако последующий ход событий не только не подтвердил этих предположений, но и всю новейшую историю человечества заставил рассматривать в существенно иной перспективе.

Прежде всего выяснилось, что те «изъятия из свободы», которые Маркс и Ленин считали естественными и необходимыми в условиях диктатуры пролетариата «по отношению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам», невозможно локализовать только на них. Простой пример: революционное правительство закрывает буржуазную газету (допустим, кадетскую «Речь»), агитирующую

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 87—90.

² Там же, с. 99, 102.

против социалистической революции. Это удар по буржуазии? Несомненно. Но разве не приходится он и по тем читателям этой газеты, которые отнюдь не являются ни помещиками, ни капиталистами, по той, например, демократической интеллигенции, которая, читая и «Речь», и «Правду», стремилась получить более полную информацию и, сопоставляя разные точки зрения, выработать самостоятельный взгляд на жизнь? Разве не сужаются тем самым и ее демократические права и возможности? И вообще у «изъятий из свободы» есть своя внутренняя логика: их даже и при желании обычно не удается сделать ни выборочными, ни эпизодическими, краткосрочными; они тяготеют, во-первых, к универсальности, к распространению на все общество, не исключая и класс-гегемон, на все сферы и формы проявления свободы, а во-вторых, к длительности, к превращению в постоянную норму. Прав Ленин, когда говорит: «там, где есть подавление, есть насилие, нет свободы, нет демократии». Но следует добавить, что вопреки его ожиданиям в подобных условиях довольно скоро не остается места и «демократии для народа, для большинства». Диктатура и демократия взаимно исключают друг друга. Буквально в считанные месяцы вслед за действительно «громким расширением демократизма, впервые становящегося демократизмом для бедных», диктатура пролетариата неумолимой логикой обстоятельств превращается в диктатуру правящей революционной партии, а эта последняя — в диктатуру партийной верхушки, все более самовластную и независимую от какого бы то ни было демократического контроля снизу. И такое положение вещей не только не исчезает с течением времени, но приобретает особую законченность и прочность именно тогда, «когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли». При этом демократия действительно становится «ненужной» (новым правящим группам) и действительно как бы «отмирает», но в совершенно ином, непредвиденном смысле. И вовсе не с достижением своей желанной полноты, не с исчезновением государства, а, напротив, с его укреплением именно в качестве «особого аппарата для принуждения», с гипертрофированным развитием его именно принудительных и карательных функций.

Это во-первых. А во-вторых, «ненужная» диктатурам всех времен и народов демократия — не больше, не меньше — условие жизни современного общества, столь же необходимое, как воздух и вода. И хотя многовековая история демократии есть одновременно история непрекращающегося спора об ее плюсах и минусах (несколько ниже я подробнее коснусь этой темы), самое главное из того, что практика «реального социализма» (да и вообще XX века) возразила марксистской теории по поводу демократии и диктатуры, в настоящее время едва ли может быть предметом серьезной дискуссии. Слишком уж ясна сегодня основная, фундаментальная истина: без демократии нельзя. Не в том смысле нельзя, что «социализм невозможен без демократии»¹. Эти ленинские слова нам сегодня близки как никогда, недаром и их, и различные их перефразировки то и дело цитируют, однако в буквальном своем значении они как раз весьма основательно оспорены историей: возможен, вполне возможен! Но столь же твердо знаем мы нынче, что это дурная, безрадостная возможность. Нет демократии — и, чем бы это ни объяснялось и ни оправдывалось, общество почти обязательно, почти автоматически оказывается в когтях разномасштабных тиранов и разбойников — от Сталина до Пол Пота. Нет демократии — и становятся возможными такие насилия над большинством народа, как «сплошная коллективизация», такие поражающие своими масштабами преступления против человечности, как кровавая вакханалия ежовщины или «культурная революция» в Китае. В сколько-нибудь долговременной перспективе отсутствие демократии не сулит обществу ничего, кроме застоя и тупика, притом такого, который не накапливает энергию для будущего движения, но подрывает самую его возможность. По существу своему это не что иное, как растянувшаяся во времени гибель: развал народного хозяйства, разрушение природной среды, вытравывание и иссушение культуры, извращение нравственности, тотальное отчуждение, дегуманизация

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 30, с. 128.

всех человеческих отношений. Словом, нечто вполне сравнимое с последствиями ядерной войны, угрозу которой недемократические режимы — заинтересованные в замкнутости своих границ, а тем самым и в разделенности мира, — также, кстати сказать, существенно обостряют.

Но, может быть, если не подтверждены историей представления классиков марксизма о демократии при социализме, то по крайней мере их оценки буржуазной демократии в большей мере сохранили свою силу? Опять-таки нет: в применении к капиталистическому обществу наших дней они выглядят таким же анахронизмом. В самом деле, повернется ли язык сказать, что современное западное государство — «это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии» (4, 426), задача которого — «обеспечивать при помощи вооруженной силы экономическое угнетение трудящегося большинства особо привилегированным меньшинством» (19, 359)? Повернется ли язык сказать, что в нынешних США или Японии, Франции, Швеции или ФРГ «мы имеем, — пользуясь вышеприведенной ленинской оценкой, — демократию урезанную, убогую, фальшивую, демократию только для богатых, для меньшинства»?

Отрицательные ответы очевидны. Хотя бы потому, что «богатые» (по прежним да и по нашим нынешним меркам) давно уже перестали там быть меньшинством. Вот пара цифр, почти одновременно приведенных в советской печати: заработная плата Генерального секретаря ЦК КПСС, по его сообщению, составляет 1200 рублей в месяц, а средний месячный заработок 750 тысяч рабочих и служащих американского концерна «Дженерал моторс» (1984 г.) — 2500 долларов¹, то есть почти в два раза больше даже по сильно завышенному официальному курсу рубля². Что же касается собственно демократии, то для ее характеристики, пожалуй, достаточно вспомнить и оценить по достоинству всего один факт — Уотергейт, историю о том, как «средний американец», оскорбленный нечестностью своего президента, изгнал его из Белого дома. Современная западная демократия — это резко возросшая роль электората и средств массовой коммуникации, могущество профсоюзов, размах и влияние, которые приобрели различные массовые движения — антивоенные, антирасистские, правозащитные, экологические и пр. Все это, разумеется, не основание для того, чтобы скрывать или преуменьшать присущие ей противоречия — и непреодоленные старые, и появляющиеся новые. Но столь же ясно и то, что вышеприведенная ленинская характеристика «капиталистической демократии» как «демократизма для богатеньких» и пр., равно как и сарказм по поводу «либеральных профессоров и мелкобуржуазных оппортунистов», полагавших, что развитие идет «просто, прямо и гладко „ко все большей и большей демократии“», — выглядят в наши дни решительно устаревшими. Конечно, и не просто, и не прямо, и не гладко, но в целом именно в сторону все большей демократии. Что поделать, в этом отношении либеральные профессора и «мелкобуржуазные оппортунисты» оказались более правы.

В свете изложенного не явствует ли, что все понимание демократии Марксом, Энгельсом, Лениным оказалось поражено как бы неким общим недугом, то ли прогрессирующим, то ли просто становившимся все более явным в процессе исторического существования их идей — отчасти уже при жизни авторов, но особенно в дальнейшем? Как топор, подложенный злоумышленником под корабельный компас в одном из романов Жюль Верна, все дальше отклоняет корабль от правильного курса настолько, что в итоге вместо Америки приводит его в Африку, так и этот недуг с течением времени все больше удалял марксистское понимание демократии от ее действительных путей и перспектив, от исторической

¹ С. Меньшиков. Экономическая структура социализма: — что впереди? («Новый мир», 1989, № 3, с. 193).

² Чтобы это сравнение не слишком уязвляло нашу национальную гордость, огорюсь, что реальный жизненный уровень не только главы нашего государства, но весьма широкого круга лиц, принадлежащих к партийно-государственному руководству, отнюдь не определяется только их заработной платой и, можно надеяться, вполне сопоставим с лучшими американскими образцами. Полезный, хотя далеко не исчерпывающий материал для подобных сопоставлений дает статья кандидата экономических наук А. Зайченко «Имущественное неравенство» («Аргументы и факты», 1989, № 27).

истины. А между тем даже противники марксизма, я думаю, согласятся с тем, что трудно найти в европейской истории более убежденных и последовательных демократов, более страстных поборников демократии, чем Маркс и Энгельс, а затем и Ленин. Как же разрешить это противоречие? Как докопаться до корней допущенной ими фундаментальной ошибки?

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо уяснить для себя один более общий вопрос: о к а к о й демократии идет речь.

«Демократия» — одно из самых употребительных слов в наше время. Но понимается оно очень по-разному, одними — широко, вровень с такими универсалиями, как общество, цивилизация, культура, другими, напротив, более или менее обедненно и суженно. Например, сводится к гласности или, исходя из этимологии, к «власти народа», толкуемой притом просто как выборность властей. Объясняется все это во многом тем, что демократия — явление (а стало быть, и понятие) развивающееся, постоянно обогащаемое историей в своем содержании и формах (так что у каждой эпохи свое понимание демократии и все они друг на друга наслаиваются). Однако главное разночтение все-таки в другом.

На протяжении трех последних столетий, по крайней мере с английской революции середины XVII века, европейская история была ареной борьбы не только и в возрастающей мере не столько противников и сторонников демократии, сколько двух основных течений внутри демократического движения — его либерального и радикального крыла — и, соответственно, двух все более четко выражаемых концепций самой демократии: демократии для всех и демократии для народа (то есть для трудящихся, для угнетенных).

Демократия для всех, под знаменем которой обычно выступали либералы, умеренные, — это (в предельном своем виде) уничтожение сословных привилегий, равенство всех перед судом и законом, разделение и выборность властей, гарантии прав большинства и меньшинства, свобода совести, свобода печати и всякие другие общедемократические права и свободы¹. Это демократия на основе гуманистической концепции личности, на основе общечеловеческих ценностей, демократия для всех слоев общества, единая и равная для богатых и бедных. Кажется, что может быть лучше и справедливее? Однако давно было замечено, что в реальных исторических обстоятельствах не только XVII, но и, например, XIX века это весьма ограниченная и, так сказать, отложенная справедливость. Справедливость не столько в настоящем, сколько в неопределенной перспективе; справедливость принципа, практическое осуществление которого вовсе не давало реального равенства. Ибо «равное право» для богатых и бедных, образованных и необразованных, располагающих властью и отстраненных от нее есть на деле право неравное: для первых — действительное, для вторых — во многом формальное, мнимое.

Более или менее осознав все это, радикалы выступают за демократию для народа, за восстановление «права на жизнь» (Добролюбов) для бедных и угнетенных, — хотя бы и в ущерб угнетателям, в нарушение справедливости по отношению к ним (справедливость в таких случаях обычно берется в кавычки). Демократия и в их понимании базируется на гуманизме, но гуманизме социально акцентированном, обращенном преимущественно на трудящихся, на обездоленных, а из общечеловеческих ценностей ими на первое место ставятся те, которые и сами массы, в рамках наличного своего положения и развития, считают наиболее важными для себя.

И опять-таки, спросим себя: что можно против этого возразить? Разве народные массы не заслужили своими страданиями права вернуть себе то, что создано их тяжким трудом? И не справедливо ли, если на пути к созданию общества, где не будет ни богатых, ни бедных, бедняки и богачи на время поменяются местами: первые побудут привилегированным сословием, зато вторые на

¹ Пользуясь в этом месте некоторыми формулировками из своей статьи «Добролюбов сегодня» («Октябрь», 1986, № 2), позволю себе заодно указать на нее как на опыт приложения высказываемых здесь соображений к конкретному материалу отечественной истории.

собственной шкуре почувствуют, чего они из поколения в поколение лишали бедных труженников и что это значит — быть голодным, раздетым, унижаемым, бесправным?

Вроде бы и так можно рассуждать. Но стоит признать подобную этику социального возмездия справедливой и привести механизм установления этой новой справедливости в действие, как тотчас оказывается, что иначе как силой, насилем тут ничего не достигнешь. А насилие требует диктатуры. А диктатура — это единство воли, которое не терпит несогласия и разномыслия даже и в лагере победившей бедноты. А отсюда уже всего один шаг к превращению «власти народа» во власть над народом, а самих народных масс — из цели в средство, из хозяев положения вновь в рабов, из субъекта в объект насилия и террора. История якобинцев — классический, давно хрестоматийный пример.

Итак, две демократии, две тенденции в демократическом процессе. Первая олицетворяет буржуазный прогресс (и в этом смысле — историческую необходимость, естественноисторический путь развития цивилизации), вторая — непосредственные интересы тех, за счет кого он совершается.

Какая из них более права? На протяжении столетий история не давала ни одной из сторон решающего перевеса в их споре. Либералы возлагали надежду на процесс постепенных улучшений, на эволюционное изменение существующего порядка вещей в обстановке социального мира. Что ж, эволюция, органическое развитие общества — прекрасная вещь. Но, во-первых, и она в значительной мере движется борьбой, напором социально активных масс, а во-вторых, беда в том, что слишком долгое время она никому не давала никаких гарантий и уж вовсе ничего твердо не обещала каждому данному поколению трудящихся. А ведь у человека одна жизнь, он хочет быть сытым, одетым, свободным сегодня, и кто осмелится упрекнуть его в этом? Так не более ли правы радикалы, которые, столь же свято веря в истину своих слов, говорили этому человеку: хватит терпеть! хватит ждать неизвестно чего! берись за оружие! свобода и хлеб сегодня, сейчас!

Весь мир насилия мы разроем
До основанья, а затем...

А затем — людям приходилось убедиться в том, что, разрушенный до основанья, «мир насилия» не исчезает, только меняет облик, а желанный «новый мир» не становится ближе, подчас — наоборот...

История трагедийна. Не в том лишь расхожем сейчас значении слова «трагедия», что она бедственна, кровава, исполнена всякого зла. Она трагедийна и, так сказать, в исконном, античном, софокловском смысле — в смысле роковой безысходности, фатальной невозможности согласования каких-то равно могущественных, неотклонимых обстоятельств. И, может быть, ни в чем с такой жестокой наглядностью не обнаруживается этот трагизм истории, как в движении прогресса, в трагическом несовпадении и асинхронности различных его линий и сторон. В частности, в том, что на определенных его ступенях рост экономики и движение форм общественного устройства роковым образом отстают от процесса развития личности, осознания ею своего суверенитета, от роста ее материальных и духовных потребностей. Мир объективно е еще не дорос до того состояния, чтобы все в нем могли быть сытыми и свободными, но человек-то уже созрел до сознания своего равного со всеми права жить по-человечески, и он уже не хочет, не может жить иначе. Не хочет быть травой, навозом истории. И он готов перевернуть этот безнадежно, издевательски медленно движущийся мир, — авось все-таки будет лучше...

В процитированном письме к Энгельсу Маркс делает знаменательное добавление к вышеприведенным словам о близости социалистической революции в Европе: «Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество прodelывает еще восходящее движение?» (29, 295). Для нас в данном случае интересна не столько конкретная, сколько, так сказать, прецедентно-теоретическая сторона предположения Маркса: возможность подавления одного прогрессивного движения другим, не менее прогрессивным, но принадлежащим иной ступени (или

границы) прогресса. Нечто подобное имеет место и во взаимоотношениях двух вышеназванных тенденций в демократии, из которых одна то и дело «неизбежно» грозит захлестнуть и прервать другую. Конечно, нельзя представлять себе дело так, будто умеренные вовсе безразличны к страданиям масс, а радикалы — к тем ценностям и элементам демократии, которые на данном этапе не могут служить ближайшим потребностям народа; несомненно также и то, что по многим вопросам взгляды тех и других не могут не совпадать. И все же, пока на земле существуют бедность и угнетение, для раздельного существования этих двух тенденций сохраняется объективно-историческая почва и между ними неизбежна борьба.

Браните либеральных постепенцев, браните нетерпеливцев-радикалов былых времен. Одних — за одно, других — за другое, и тех, и других — за взаимную глухоту, нежелание спокойно взвесить аргументы друг друга, задуматься над критикой и предостережениями, раздававшимися из противного (а иногда и из своего) идейного лагеря, сейчас нередко поражающими нас своей пророческой мудростью. Браните, но и поймите их, поймите логику их слабостей и заблуждений, ибо понимание — в наших собственных интересах. Ей-богу, они были не глупее нас с вами и уж, во всяком случае, не менее нравственны. Просто они были людьми иного века, иного исторического опыта, а следовательно, и иных, гораздо меньших возможностей. И у них не было выхода: куда ни кинь — всюду клин. Подлинный, «общесправедливый» (по слову того же Добролюбова), а значит, и единственно надежный выход еще не открыт был ходом событий. Тут была не чья-нибудь личная ошибка, которую всегда нашлось бы кому исправить, и не чья-нибудь злая воля, а нечто неизмеримо большее: трагизм, трагедийность самой истории. Пропасть, перешагнуть через которую могло только время.

Демократизм Маркса, Энгельса, Ленина — вполне в русле рассмотренной антиномии. В их воззрениях нам, несомненно, явлен особый род радикальной демократии, демократии для трудящихся, для угнетенных. Особый — прежде всего в том отношении, что его главной и самой яркой особенностью является открыто декларируемый, сознательно и последовательно проведенный классовый принцип. Основоположники марксизма всегда подчеркивали, что их учение является не чем иным, как теоретическим выражением классовых интересов и классовой борьбы пролетариата, который они считали единственным «действительно революционным классом» и великую миссию которого видели в освобождении всего человечества путем уничтожения капитализма, последней, по их убеждению, исторической формы социального неравенства и эксплуатации человека человеком.

Не марксизм открыл существование общественных классов, и не он внес классовое содержание в спор двух охарактеризованных версий демократии и ветвей демократического движения: то и другое существовало намного раньше. Радикалы всегда выступали как представители угнетенных низов общества, хотя обычно не умели да и не стремились уяснить для себя различия в положении, интересах и исторических перспективах тех или иных социальных слоев, составлявших для них народ, нерасчлененную массу «униженных и оскорбленных». С другой стороны, демократия либерального толка, демократия для всех, отвергающая классовый подход к проблемам общественного устройства как узкий и обещающий новую несправедливость, по сути, по объективному своему содержанию также была — до поры до времени — классовой, хотя и самой себе не желала признаваться в этом. Это была, как и характеризовали ее классики марксизма, демократия буржуазии, правда, буржуазии передовой, прогрессивной, в той ее ипостаси, в какой последняя выступала носителем общечеловеческих ценностей, но все же лишь настолько, насколько она могла себе это позволить без ущерба для собственных социальных интересов. И могло ли быть иначе, если обе эти тенденции росли из одной почвы, представляли собой продукт общества, сословно, а затем классово разделенного и поляризованного, об-

щества резких контрастов роскоши и нищеты, вечной праздности и тяжелого труда, наследственной знатности и такого же наследственного неизбежного унижения, общества, пропитанного и наэлектризованного ненавистью, социальной враждой?

Возникнув на той же почве, марксизм лишь довел классовость радикальной демократии до ее логического завершения: открыто, осознанно и безраздельно встал на сторону одного из угнетенных классов — пролетариата — в качестве его теоретического, а затем и политического представительства. Но это был, конечно, чрезвычайной важности сдвиг, многое определивший и в характере марксистского демократизма, и в марксизме в целом, и в его исторической судьбе.

Два взаимодополняющих обстоятельства хочется отметить в этой связи. Первое — отношение основоположников марксизма к другим демократическим движениям и их представителям. Отношение очень цельное и вместе с тем довольно-таки сложное, характеризующееся суждениями столь различными, что иные из них на первый взгляд кажутся прямо противоположными друг другу.

С одной стороны, начиная с «Коммунистического манифеста» (и даже раньше), где провозглашен тезис о том, что «коммунисты повсюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех стран» (4, 459), мысль о необходимости союза и совместных выступлений с непролетарскими общественными силами и немарксистскими политическими движениями в борьбе за достижение общедемократических целей множество раз высказывается в их сочинениях и реализуется в практических действиях. С другой — даже самое слово «демократ» нередко звучит в их устах с сильным оттенком неприязни¹, распространяемой и на таких высокоуважаемых нами борцов за демократию, как Герцен (не говоря уже о ненавистном им Бакуине).

В чем тут дело? При более основательном знакомстве с системой взглядов Маркса и Энгельса читатель не найдет здесь никакого логического противоречия. Понимая демократию не как «цель» (см. весьма рельефное на сей счет высказывание Энгельса в начале настоящей главы), а преимущественно как средство, как необходимое условие победы пролетариата, основоположники марксизма и к возможности союза с другими демократическими силами подходят с сугубо тактической точки зрения: такие союзы они всегда рассматривают лишь как временные и условные, заключаемые сторонами только на срок частичного и относительного совпадения их интересов, после чего неизбежно переходящие в разрыв и противостояние. Возможность, а тем более желательность превратить подобные временные компромиссы в устойчивое партнерство, основанное на признании равного права на существование различных общественных сил, при этом решительно исключается².

¹ Например, в написанном Марксом и Энгельсом «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов»: «...Рабочие не должны дать обманывать себя фразами демократов, например, о том, что это, дескать, раскалывает демократическую партию и дает реакции возможности победы»; «Они не должны давать вводить себя в заблуждение демократической болтовней о свободе общин, о самоуправлении и т. д.»; рекомендуется «принудить демократов вторгаться по возможности в наибольшее количество областей существующего общественного строя, возмущая его нормальный ход, компрометировать самих себя...» (7, 265, 266, 267).

² «Отношение революционной рабочей партии к мелкобуржуазной демократии таково: она идет вместе с ней против той фракции, к низвержению которой рабочая партия стремится; она выступает против нее во всех случаях, когда мелкобуржуазная демократия хочет упрочить свое положение в своих собственных интересах» (7, 260).

«Очевидно, не наше дело непосредственно готовить движение, не являющееся движением именно того класса, который мы представляем. Если радикалы и республиканцы считают, что настал момент выходить на улицу, пусть они и дают простор своему порыву. [...] Если мы обязаны поддерживать всякое действительно народное движение, то мы обязаны также не жертвовать понапрасну только что сформировавшимся ядром нашей пролетарской партии и не допускать, чтобы пролетариат истреблялся в бесплодных местных мятежах. Напротив, если движение окажется действительно национальным, то наши люди займут свое место в нем раньше, чем к ним обратятся с призывом... Но в таком случае следует уяснить себе, и мы должны об этом заявить открыто, что мы принимаем участие как независимая партия, временно находящаяся в союзе с радикалами и республиканцами, но в корне отличная от них; что мы не питаем никаких иллюзий относительно результата борьбы в случае победы; что этот результат... явится для нас только одним из достигнутых этапов, лишь новой операционной базой для дальнейших завоеваний; что в самый день победы наши пути разойдутся...» (22, 459—460).

Число подобных заявлений легко умножить.

Если в России Добролюбов и Чернышевский впервые резко отмежевали радикальную (революционную) демократию от либеральной, то Маркс и Энгельс внесли такое размежевание (притом теоретически мотивированное) внутрь самой радикальной демократии. Что касается Ленина, то он пошел в этом отношении еще дальше, распространив этот принцип взаимоотношений и на собственно марксистскую среду. Достаточно вспомнить его известный лозунг, выдвинутый еще при самом основании РСДРП: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определенно размежеваться»¹. И — целую вереницу таких размежеваний: сначала с «легальными марксистами» и «экономистами», потом с Плехановым и меньшевиками, затем уже и среди самих большевиков, с «отзовистами», «оборонцами» и пр. И не товарищеский спор, а непримиримую борьбу со всеми этими группами вчерашних единомышленников — не как с людьми, в чьих позициях может быть свое рациональное зерно или хотя бы просто добросовестное заблуждение, но как с политическими противниками, вольными или невольными предателями интересов пролетариата.

Вскоре после Октября эта жесткая монополия на истину приобретает уже репрессивный характер: разгон Учредительного собрания, запрещение какой бы то ни было оппозиционной печати и всех политических партий, кроме правящей большевистской, а в ней самой — фракций, то есть какого-либо организованного разномыслия даже в пределах партийной программы. Чем все это кончится — в том числе и для самого рабочего класса, — хорошо известно.

Второе важное обстоятельство, точно так же непосредственно вытекающее из революционности и откровенно классового характера воззрений Маркса, Энгельса, Ленина, заключено в некоторых общих особенностях свойственного им понимания демократии как общественного явления и их отношения к ней. Вышеназванные выдержки и факты, если привести их к некоторому общему знаменателю, достаточно красноречиво, мне кажется, говорят о том, что в системе ценностей классического марксизма демократия занимала далеко не первостепенное место.

Перечитаем под этим углом зрения хотя бы процитированный отрывок из «Государства и революции». Не явствует ли из него, во-первых, что демократия для Ленина — это в основном понятие политическое, проблема власти того или иного класса, ее государственного оформления и закрепления? Никаких других аспектов демократии (скажем, демократии в сфере экономических отношений, прав и свобод личности, социальной психологии и пр.), равно как и никаких других ее институтов, кроме парламента и избирательной системы (ни прессы, ни суда, ни политических партий и профсоюзов), он здесь не упоминает да, похоже, и не имеет в виду, не относит к существу вопроса. Иначе он едва ли, говоря о капиталистическом обществе, мог бы характеризовать присущий ему демократизм как демократизм «только для богатых», а говоря о коммунизме, аргументировать грядущее «отмирание» демократии тем, что в этом будущем обществе люди привыкнут соблюдать правила общежития «без особого аппарата принуждения, который называется государством».

Во-вторых, не раз отмечавший величину дистанции, пройденной как в Западной Европе, так и в дооктябрьской России от феодального абсолютизма до «демократической республики», Ленин, как и его учителя, явным образом полагает этот уже достигнутый уровень демократии более или менее статичным и чуть ли не предельным для капиталистического общества. То, что демократия — явление постоянно развивающееся, расширяющееся, обогащающееся в своем содержании и формах, — эта мысль Ленину, как и Марксу, конечно, не чужда, но она для него, так сказать, периферийна, упор делается на другом, на противоположном. Едва ли иначе можно истолковать — с любой скидкой на публицистическое преувеличение — фразу о том, что «свобода капиталистического

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 22.

общества всегда остается приблизительно такой же, какова была свобода в древних греческих республиках: свобода для рабовладельцев»¹?

В-третьих, в отличие от упомянутых Лениным «либеральных профессоров» или, как выразился Маркс, от той «вульгарной демократии, которая в демократической республике видит осуществление царства божия на земле» (19, 28), для классиков марксизма демократия — хотя и ценность, но ценность по преимуществу служебная и относительная². При капитализме она обречена быть «урезанной, убогой, фальшивой», а в смысле исторической перспективы необходимой главным образом постольку, поскольку обеспечивает пролетариату наилучшие условия для завоевания своего господства. На какую-либо принципиально более широкую, судьбоносную для человечества роль ей претендовать не дано. При социализме... Но об этом уже достаточно сказано выше.

Все это, повторяю, очевидные следствия того, что как для Маркса, Энгельса, Ленина нет демократии вообще, а есть (если не иметь в виду античной) либо буржуазная, либо пролетарская (в современном словоупотреблении — социалистическая), так и само их учение представляет собой сугубо классовое явление общественной мысли и практики. Так они сами его расценивали, таковым оно, без сомнения, являлось и в действительности.

Вопрос: как к этому относиться? И что следует из указанной констатации для сегодняшнего дня, для современного общественного сознания?

Едва ли есть необходимость напоминать, что «классовость», «классовое сознание», «классовые интересы», «классовая борьба», «классовый подход» принадлежат в современном развитом мире к числу наименее популярных понятий, а «классовая ненависть» вызывает к себе примерно столько же уважения, как «расовая ненависть» или что-нибудь в том же роде. О примате общечеловеческих ценностей над классовыми толкуют ныне не какие-то «либеральные профессора» на Западе или столь же повинные в «абстрактном гуманизме» отдельные интеллигентные хлюпики на Востоке: об этом во всеуслышание говорят сегодня даже главы социалистических государств³. В подобной обстановке, боюсь, кто-нибудь заподозрит меня в том, что, напирая на классовый подход Маркса, Энгельса, Ленина к проблеме демократии, я просто-напросто тщусь таким образом скомпрометировать их в глазах современного читателя.

Хотел бы заверить, что мысль у меня совершенно иная. Ее суть, как уже не раз обнаруживалось выше, заключается в том, что, люди конца XX века, мы живем в мире, дурном или хорошем, однако как небо от земли далеко от того, на почве которого родились идеи не только Маркса, но и Ленина.

Марксизм возник в тот момент, когда западноевропейский мир, почти полностью сбросив обветшалые покровы феодальной сословности, не только действительно предстал — впервые в своей истории — обнаженно, оголенно классовым, но и быстро начал сознавать себя таковым (чартизм в Англии, июньские баррикады 1848 г. в Париже). При этом новая социальная дифференциация так интенсивно вымывала тогда (и еще долгое время в дальнейшем) средние слои общества, а «нищета масс» столь «резко выступала рядом с нахальной блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением» (17, 341), что как тут было не родиться, с одной стороны, классовой ненависти, той «жажде мести, которая в революционные времена является одним из самых могучих стимулов к энергичной и страстной деятельности» (8, 80), а с другой — вполне

¹ «Всегда» — это слово в аналогичном контексте встречается у Ленина многократно. Еще пример: «Буржуазная демократия, ценность которой для воспитания пролетариата и обучения его к борьбе беспорна, всегда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда остается демократией для богатых, обманом для бедных» (Полн. собр. соч., т. 37, с. 104).

² Ленин: «Нас, представителей Советской власти... постоянно упрекают в том, что мы нарушили демократию, и в доказательство этого обвинения выдвигают тот факт, что Советская власть разогнала учредилку. Мы отвечаем на эти обвинения обыкновенно так: той демократии и той учредилке, которые возникли при существовании частной собственности... — такой демократии мы цены не придаем» (там же, т. 39, с. 200).

³ Благо и у классиков марксизма, если очень поискать, можно найти подходящие высказывания (например: «По принципу своему коммунизм стоит выше вражды между буржуазией и пролетариатом...» — Энгельс, 1845 г. — 2, 516).

объективной научной теории, исходящей из разделения общества на противостоящие друг другу классы эксплуататоров и эксплуатируемых как из неоспоримой данности, фундаментального, системообразующего явления тогдашней социальной действительности? Революционность пролетариата и марксизм как ее теоретическое выражение — в этом смысле естественные и неизбежные продукты своего времени (при всей эвристической «неожиданности» марксовских идей). Соответствующий взгляд на демократию — тоже.

С определенными оговорками (о которых — ниже) сказанное приложимо и к Ленину. Его время — «эпоха империализма» — это, пожалуй, второй после середины XIX в. «пик» общеевропейского социального напряжения, в России к тому же обостренного рядом известных дополнительных обстоятельств. Эпоха, когда «черная злоба, святая злоба» (Блок) еще сильнее захлестнет человеческие души и когда в поэме о Ленине другой русский поэт в полном согласии с «духом времени» и со взглядами своего героя скажет:

Разве в этакое время слово «демократ»
Набредет какой головке дурьей?!
Если бить, так чтоб под ним панель была мокра:
Ключ побед — в железной диктатуре.

При этом он, понятно, также имеет в виду диктатуру сугубо классовую, диктатуру пролетариата, которому тут же, пренебрегая заведомыми упреками в «риторике» и «публицистике», с искренним воодушевлением отдает всю силу своего голоса:

Пролетариат — неуклюже и узко
Тому, кому коммунизм — западня.
Для нас это слово — могучая музыка,
Могучая мертвых сражаться поднять.

Сегодня, через полстолетия с лишком, эта музыка воспринимается нашим слухом примерно так же, как воспринималась бы нашим зрением вдруг появившаяся на московской улице конница. Слово «пролетариат» употребляют нынче одни историки. Да и термин «рабочий класс», от которого все же меньше «веет духом классовой борьбы», — даже он в наши дни у западных марксистов все более туго сходит с языка. Отчасти по той причине, что понятие это связано в основном с производственной сферой, а в ней, как известно, нынче занято все уменьшающееся меньшинство населения развитых стран. А главное — при сохраняющемся разделении труда, допустим, между бизнесменом, менеджером, инженером и рабочим, по всем остальным социально-экономическим параметрам прежние классовые границы оказались уже в значительной мере размытыми.

В этой связи заслуживает быть отмеченной непредвиденная участь, которая постигла одно из наиболее фундаментальных положений классического марксизма — идею бесклассового общества. Мысль о том, что классовое деление общества не вечно, что сам объективный процесс развития производства с неизбежностью поведет к устранению классовых противоположностей (а затем и различий) между людьми, — эта мысль Маркса и Энгельса, можно сказать, уже подтверждена историей. Но в каком парадоксально-неожиданном виде! Ведь они-то связывали устранение классов не иначе как с гибелью капиталистического общества и утверждением коммунизма, а в действительности получилось чуть ли не наоборот. «Реальный социализм», где одновременно с большой степенью унификации в социальном положении, формах труда и быта рабочих, крестьян, интеллигенции сформировался и некий господствующий, привилегированный слой (то, что М. Джилас еще лет тридцать назад назвал «новым классом», а Дж. Оруэлл еще раньше — «внутренней партией»), — он и в этом отношении пока что остается позади. В ссременном же капиталистическом обществе, чем оно развитее, тем сильнее и тенденция к стиранию социальных различий, — начиная с упоминавшегося выравнивания показателей качества жизни, кончая отношением к средствам производства, все более нивелируемым широчайшим рас-

пространением акционерной формы капитала и антимонополистической политической правительств¹.

Все это имеет прямое отношение к теме «марксизм и демократия» и к судьбе старого спора двух концепций демократии — либеральной и радикальной. До поры до времени силы сторон в этом споре были примерно равны — не без тех или иных колебаний, конечно. В периоды экономического процветания, успешно эволюционного развития буржуазного общества более сильной и перспективной выглядела скорее либеральная тенденция, в моменты кризисов, обострения социальной напряженности громче и убедительнее звучали голоса радикалов. Но в долговременном плане решительного перевеса не могла до поры взять ни та, ни другая сторона, и у независимого наблюдателя были, пожалуй, все основания считать этот спор столь же неразрешимым, столь же вечным спутником человечества, как борьба добра и зла.

История, однако, решила иначе: неразрешимое оказалось разрешимым. Как говорится, бог дал, бог взял: та же самая история, которая в определенный момент столь жестоко и, казалось, необратимо разделила буржуазное общество на два смертельно враждебных класса (тем самым вызвав к жизни марксизм как наиболее яркое и последовательное выражение идеи классовой борьбы), — она же своим собственным дальнейшим движением до неузнаваемости изменила картину мира, уже сегодня (в развитой его части) в решающей мере устранив если не самые классы, то объективную почву для их взаимной обособленности и противостояния. А соответственно — и для классового подхода ко всему на свете, свойственного классическому марксизму. К проблеме демократии — в том числе. Она сегодня видится совсем не так, как сто или даже пятьдесят лет назад.

Но «не так» — это не значит просто «наоборот», в противном случае тут вообще не было бы проблемы.

Мы со школьной скамьи привыкли сопровождать слово «демократия» тем или иным ограничительным эпитетом. К той демократии, которая была и есть на Западе, в нашем словаре вслед за Марксом и Лениным прочно приросло определение «буржуазная». Правильно ли это? Еще вчера такой вопрос прозвучал бы почти как святотатство; напротив, сегодня на него очень многие у нас не задумываясь отвечают отрицательно. Я думаю, однако, что он из тех вопросов, на которые слишком просто было бы ответить «да» или «нет». Ибо демократия — это процесс, и в качестве такового она противится какой бы то ни было заведомой однозначности.

Если не считать античной демократии, традиции которой не имели в европейской истории непосредственного продолжения, то разнообразные элементы демократии начали прорастать и накапливаться еще в средние века, задолго до того, как возродилось само понятие демократии, и до того, как стало возможным назвать ее «буржуазной». У нас как-то не принято говорить о демократии феодальной, но разве не принадлежали к ранним росткам демократии английская «Великая хартия вольностей» (1215 г.) и даже такой сугубо сословный принцип, как «Вассал моего вассала — не мой вассал», вносящие элементы законности и права в отношения внутри феодальной верхушки? Тот же самый элемент правового упорядочения можно усмотреть и в нашем отечественном боярском местничестве, ставшем впоследствии предметом стольких насмешек, и даже в изданном Екатериной II «Указе о вольности дворянства». Я уже не говорю о цеховой организации средневекового города, о рано возникшем институте выборности муниципальных властей (у нас на Руси — новгородское или псковское вече), об исподволь сложившихся нормах, регулировавших общинное землевладение, о ранних кодексах уголовного законодательства, ограничивав-

¹ Любопытный материал на эту тему, еще одна иллюстрация к тому, насколько изменился западный мир по сравнению с тем временем, когда Ленин писал о смене свободной конкуренции капиталистическими монополиями (см. Полн. собр. соч., т. 27. с. 320 и мн. др.), а заодно и к тому, каковы нынче взаимоотношения между трудом и капиталом, содержится в статье Б. Коновалова «Средство против монополизма» («Известия», 1989, 12 мая, № 132).

ших чей бы то ни было произвол («Русская правда», XI в., и пр.). Все это были начатки права, а следовательно, и демократии.

Нет нужды спрашивать, несла ли на себе эта демократия печать своего времени, была ли она феодально ограниченной. Но столь же очевидно и то, что даже в ней уже явственно проглядывали весьма многие предпосылки и зародыши того, без чего мы не мыслим себе демократию и сегодня. Что же говорить о Ренессансе, Новом времени и эпохе Просвещения, взрастивших идеи гуманизма, философию суверенитета личности — основу всей европейской культуры и цивилизации? Что говорить о появлении и развитии таких черт общественного бытия, как парламентаризм и всеобщее избирательное право, соревновательное судопроизводство, свобода печати и пр., и пр.? Опять-таки: были ли все эти демократические институты, права и свободы независимыми от социально-экономических условий места и времени? Могли ли они не нести в себе неизгладимый отпечаток буржуазных производственных отношений, к примеру, той эпохи, на которую пришлась деятельность Маркса и Энгельса? Нет, конечно, все они в той или иной степени — не по форме, так в реальном своем осуществлении — были, не могли не быть теперь уже буржуазно ограниченными (то есть заведомо неполными и т. п.).

В этом смысле эпитет «буржуазная» в применении к тогдашней демократии не может вызывать возражений: в нем — та мера, которой демократия как развивающееся явление достигла к определенному моменту своего развития. Но столь же ясно теперь и то, что даже для тех времен этот эпитет был недостаточным, односторонним, ибо не заключал в себе указания на возросший и трудно, но неуклонно продолжавший расти уровень демократизма самой буржуазной демократии, на неостановимый рост в ней, вширь и вглубь, элемента надклассовости, общечеловечности. А ведь после Маркса и Энгельса, еще больше — после Ленина и, главное, во второй половине нашего века процесс этот шел поистине семимильными шагами. В нынешней же западной демократии соотношение буржуазно-классового и общечеловеческого изменилось — в пользу последнего — настолько, что продолжать именовать ее «буржуазной» могут разве что некоторые персональные пенсионеры.

Да, бытие определяет сознание, и потому человеческому уму свойственно абсолютизировать то, что он в каждый данный исторический момент наблюдает вокруг себя. Никто от этого не свободен, включая и нас с вами, которых точно так же (и, может быть, гораздо раньше, чем наших предшественников) «поправит» дальнейший ход событий. Но, насколько об этом можно судить на основании уже обретенного человечеством опыта, он, кажется, вполне однозначно говорит об анахроничности понятия «буржуазная демократия», в свое время справедливого, хотя и неполного. Нет уже сегодня (или почти нет) демократии буржуазной, есть просто демократия, демократия вообще. Разумеется, и в нынешнем своем состоянии она «вовсе не есть предел, его же не преидеши»: развитие ее так же непрерывно и неостановимо, как ход мировой истории, одну из важнейших, основополагающих граней которого она и составляет. Но это развитие на иной, качественно новой ступени, нежели та, которую застали и даже в прогнозах своих могли вообразить классики марксизма.

Ну и, соответственно, нет демократии социалистической. То есть она опять-таки есть лишь как явление исторического прошлого, отчасти — мертвого, в виде краткой, как миг, поры действительной диктатуры пролетариата, отчасти — живого, в виде тех растянувшихся на многие десятилетия «изъятий из свободы», которые мы и до сих пор наблюдаем в большинстве социалистических стран, но тем не менее все же прошлого, бесповоротно изжившего себя. Ибо сегодня и дураку понятно: нет социалистической свободы печати, а есть просто свобода или несвобода, хотя последняя может быть и более полной (как у нас при Сталине или при Брежневле), и менее (как теперь). Нет социалистической многопартийности, а есть просто многопартийность (как один из важнейших институтов современной демократии) или однопартийность (порой в «многопартийной» оболочке). Ну и так далее. Словом, нет демократии социалистической,

а есть либо просто демократия в ее свойственных концу XX века мировых формах, либо социалистическая недемократия или социалистическая недодемократия, как ни дики нашему слуху подобные сочетания слов. Если же соединить только что сказанное с предыдущим, то не существует сегодня — уже сегодня (как существовала еще вчера) — демократии классовой, а существует демократия вообще как общечеловеческая норма, как универсальный, не сводимый в своем историческом пребывании и значении к какой-либо одной или одной-двум общественным формациям механизм социального (экономического, политического, культурного, нравственного — всякого) саморазвития человечества.

И вот именно в этом ее общезначимом, общеисторическом качестве демократию глубоко, можно сказать — трагически, недооценили и Маркс, и Ленин. Как по отношению к рынку, так и по отношению к демократии классический марксизм совершил, в сущности, одну и ту же крупномасштабную ошибку: не разглядел в них долговременных и перспективных источников самоизменения капиталистического общества и цивилизации вообще, таких ценностей общечеловеческого порядка, выработка которых в ходе истории может быть приравнена лишь к открытию способов добывать огонь и выращивать хлеб.

Почему не разглядел — на то было много веских причин. Помешало почерпнутое из Гегеля, но материалистически и революционно переосмысленное убеждение в том, что все наличное, существующее преходяще, обречено уступить место не просто другому — противоположному. Помешала, если можно так выразиться, вообще сама революционность Маркса и Ленина, острота неприятия ими буржуазного мира, глубоко оправданная всем его тогдашним обликом: жестокостью капиталистической эксплуатации, резкостью социального неравенства, бедственным положением трудящихся масс. А главное, как уже подчеркивалось, оба названных механизма развития к тому времени лишь отчасти выявили свои потенциальные возможности: рыночная экономика еще не накормила голодных, демократия же, действительно, оставалась во многом внешней, формальной, «тайком отталкивающей бедноту». И кто же мог, не избегнув подозрения в макиавеллизме или, того хуже, в апологии угнетения, в прислужничестве перед буржуазией, утверждать, что при данном общественном строе положение способно коренным образом перемениться?

Еще и еще раз: если мы хотим выработать исторический, то есть объективный, справедливый и плодотворный для дальнейшего движения мысли взгляд на идейное наследие классиков марксизма, нам прежде всего надо отдать себе полный отчет в новизне того мира, из которого мы смотрим на них, людей иного времени, иного исторического опыта, иных, уже ушедших жизненных обстоятельств. А значит, одинаково нелепо и недостойно свободного ума как впадать по отношению к ним в обличительный либо насмешливый тон, укоряя их незнанием того, что в их время еще трудно было заметить, а заметив, правильно оценить, так и продолжать — хотя бы и в по-нынешнему смягченном, половинчатом, эклектическом виде — столь знакомое нам догматическое, угодливое натягивание новой реальности на колодку устаревших теоретических представлений и прогнозов.

4

Итак, мы констатировали основной порок исторической теории Маркса: по причинам, о которых достаточно говорилось выше, он, автор необыкновенного по своей глубине и выдержанности экономического анализа современного ему капиталистического хозяйства, не смог тем не менее понять принципиальное своеобразие капитализма как общественно-экономической формации, не смог увидеть в нем общественную систему, способную — благодаря открытым ходом истории естественным источникам прогресса — к многоэтапному, кардинальному и длительному самоизменению. Иссякнут ли эти источники (и одновременно механизмы жизнедеятельности «западного» общества) когда-нибудь в будущем, заменятся ли они какими-либо другими — на сей счет и в наше время можно строить лишь более или менее праздные предположения. Однако разговор об ахиллесовой

пяте исторической теории Маркса оказался бы заведомо неполным, если не затронуть такого важнейшего слагаемого этой теории, как идея коммунизма.

Идею коммунизма нередко объявляют главным содержанием марксизма. Если бы это было так, тогда пришлось бы признать, что главное в марксизме лежит в области будущего, за пределами той действительности, которую он непосредственно наблюдал и исследовал. Думается, это была бы весьма сомнительная похвала, по существу, лишаящая марксизм значения научной теории. Однако что верно, то верно: идея коммунизма — это, безусловно, душа марксистского учения, его пафос, источник одушевляющей его внутренней энергии, которой целиком насыщен, заряжен и весь марксов анализ капитализма. Если представления Маркса и Энгельса о коммунистическом обществе, судя по всему, сформировались в значительной мере как диалектическая противоположность некоторым ведущим особенностям современного им буржуазного строя, то, с другой стороны, их взгляд на капитализм, их понимание его возможностей и перспектив, способности или неспособности разрешать свои коренные противоречия во многом определялись презумпцией неизбежно близкой смены капитализма коммунизмом. Одно вытекало из другого, одно подкреплялось другим, и наоборот. Вот почему существует и достаточно очевидная взаимосвязь между свойственной классикам марксизма недооценкой способности капиталистического строя к саморазвитию и некоторыми коренными слабостями, присущими их концепции коммунизма.

Говоря о таких слабостях, я меньше всего хотел бы задерживаться на том, в чем Маркс и Энгельс, а вслед за ними и ближайшие их последователи ошиблись в своих отдаленных прогнозах, относящихся к высшей фазе коммунистической формации. Если сказать вкратце, то это ошибки двоякого рода.

С одной стороны, время показало неосновательность некоторых пророчеств, так сказать, общего порядка, связываемых Марксом и Энгельсом с коммунистическим будущим, но вступивших в противоречие с реальными тенденциями развития цивилизации. Так, одной из любимых мыслей основоположников марксизма было убеждение в том, что благодаря «всестороннему развитию индивидов» «исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда» (19, 20): «в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком» (3, 32). Охотником, рыбаком (если на удочку), пастухом или критиком — это действительно дело возможное, по крайней мере для критика. Но поскольку те же авторы всегда представляли себе коммунизм как общество «беспрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил» (20, 294), то его трудно одновременно вообразить в виде общества пастухов и охотников. А стоит вспомнить все углубляющуюся и поныне специализацию большинства видов человеческой деятельности, стоит подставить на место пастуха и охотника, скажем, телевизионного мастера, сталевара и хирурга, как предложение им совмещать свои профессии, делать сегодня одно, а завтра другое вызовет только улыбку. Печать такой же очевидной сегодня утопичности лежит и на всем круге представлений Маркса, Энгельса, Ленина о грядущем «отмирании», «засыпании» государства и на некоторых других их мыслях о будущем человечества.

С другой стороны, если кое-что в марксовом проекте обнаружило свою принципиальную недостижимость, расхождение с действительным направлением общественного развития, то кое-что другое вопреки всем расчетам стало осуществляться, не дожидаясь наступления коммунистической эры, и, что выглядело особенно обескураживающим, при капитализме раньше и полнее, чем при социализме.

Это относится, например, к предсказанному основоположниками марксизма грядущему устранению противоположности между городом и деревней. То, что многие в их время считали чистой утопией (да и сами Маркс и Энгельс вслед за

Фурье долгое время толковали в том смысле, что «одни и те же люди будут заниматься земледелием и промышленным трудом, вместо того чтобы предоставлять это делать двум различным классам» (4, 336)¹, Энгельс в 80-е годы провидательно связал с «электротехнической революцией», но, как мы помним, отказал буржуазии в способности управиться с возросшими благодаря этому производительными силами. Нынешний облик хотя бы западноевропейской «деревни» (уровень урожайности, продуктивность животноводства, оснащенность достижениями научно-технического прогресса, равно как и обеспеченность сельского жителя всеми благами современной цивилизации) показывает, что «буржуазия» и в данном отношении далеко перешагнула границы возможностей, установленные для нее марксистской теорией.

То же в значительной степени касается и устранения противоположности между умственным и физическим трудом, хотя опять-таки не совсем в том виде, как это порой представлялось Марксу и Энгельсу, не в том смысле, что «человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку» (20, 206), а в смысле растущей интеллектуализации все большего числа видов прежде чисто физического труда. И даже — вершина вершин! — принцип «каждый по способностям, каждому по потребностям», в первой своей части и поныне невообразимо далекий от своего осуществления, во второй уже, по сути дела, чуть ли не претворен в жизнь современным «богатым обществом». Понятно, не в форме права каждого прийти в «общественную кладовую» и взять из нее все, что там ему приглянется (такого, вероятно, не будет никогда — хотя бы ввиду крайней нерациональности подобного способа хранения и использования общественного продукта), но в том смысле, что уже теперь любому хорошо работающему американцу, японцу или французу практически «обеспечено удовлетворение его разумных потребностей» (19, 113) — во всяком случае, на том уровне, какой допускают нынешние ресурсы нашей планеты.

Перечень подобных несовпадений прогнозов и реальностей выглядит довольно внушительным, но будь он и еще длиннее, констатация их не кажется мне особенно существенной. Во-первых, потому, что ошибки в долгосрочных прогнозах — вещь более чем естественная, и нужно удивляться не им, а, напротив, тому, сколь многое из предвидений Маркса и Энгельса подтверждено последующим ходом событий, пусть подчас далеко не так, как это они себе представляли, и, главное, в рамках иных социальных зависимостей. Во-вторых, при всех сомнениях, какие сегодня можно высказать по этому поводу, — сомнениях тем более решительных, что главные из них опираются на осознание фундаментальной ошибки, совершенной основоположниками марксизма в оценке перспектив капиталистического строя, — для окончательного суждения о судьбе генеральной прогностической идеи Маркса история все-таки еще не дала нам достаточного материала. Вопрос принципиальной возможности общества, где исчезнут все формы отчуждения и социального неравенства, где «труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни» (19, 20), где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (4, 447), — решить этот вопрос исчерпывающим образом предстоит не нам и не детям нашим, а, быть может, только внукам их внуков. Поэтому, оставив эту тему отдаленному будущему (а из современников — разве что писателям-фантастам), обратимся к тем сторонам идеи коммунизма, которые и на сегодняшний день подверглись уже вполне достаточной исторической проверке.

Речь пойдет о социалистической революции и об обществе, непосредственно вышедшем из ее горнила. Выше, говоря о взглядах классиков марксизма на проблему смены общественно-экономических формаций, на рыночные отношения и демократию, мы уже с разных сторон подходили к этой проблематике, так что здесь нам остается, по сути дела, лишь логически достроить сказанное.

Мы с молоком матери впитали идущий от Маркса и Энгельса и целиком разделявшийся Лениным взгляд на социалистическую революцию как на форму

¹ Видели бы они, как карикатурно сбылось их пророчество в наших ежегодных выездах «на картошку» и пр.!

неизбежного перехода от капитализма к коммунизму. Для большинства моих образованных (то есть учившихся в школе) соотечественников это такая же неоспоримая истина, как то, что Земля — планета Солнечной системы, а единожды один — один. Более того, мы столь же твердо уверены еще в двух вещах. Прежде всего в том, что социалистическая («коммунистическая», «пролетарская») революция — единственно возможный способ смены одной из этих формаций другой. Она может быть немирной (вооруженное восстание) или мирной (что менее вероятно, но все же не на чисто исключено), однако в любом случае она ломка прежнего, капиталистического строя и утверждение на его развалинах нового, коммунистического. Далее, поскольку это так, то при всем своем глубочайшем своеобразии социалистическая революция мыслится как нечто типологически сходное с революциями прежними, буржуазными. Те ведь тоже представляли собой форму смены одной общественной формации другой и означали ломку старых социальных форм и замену их новыми.

И вот от всех этих «азбучных истин» нам теперь приходится отказываться. Не по какой-то зловредной склонности к «ревизионизму» и тем более не потому, что мы умнее и дальновиднее своих предшественников, — просто время другое, и его неумолимым движением прежние азбучные истины превратились в лучшем случае в гипотезы либо вовсе развеялись как дым.

Во-первых, проблематичным представляется сегодня сам коммунизм как таковой, даже в качестве более чем отдаленной перспективы и вне зависимости от способа его достижения. Во-вторых, если развитому капиталистическому обществу и суждено когда-нибудь превратиться во что-то сопоставимое с марксовской идеей коммунизма, то уж никак не революционным путем, а единственно посредством постепенного перерастания одного в другое — не иначе. Хотя, повторяю, сегодня об этом нет смысла и рассуждать. В-третьих, что касается состоявшихся социалистических революций, то они к этому будущему обществу, по-видимому, не имеют вовсе никакого отношения или уж очень отдаленное, примерно, скажем, такое, как восстание декабристов к результатам Октября. В-четвертых — и вот на этом хотелось бы задержаться подольше, — между социалистической революцией и буржуазной разница оказалась куда больше той, о какой у нас — опять-таки вслед за Марксом и Лениным — десятки лет принято было говорить.

Кажется, уж в чем в чем, а в недооценке своеобразия социалистической революции основоположников марксизма упрекнуть невозможно. Помилуйте! Разве не принадлежат им десятки страниц (а Ленину и того больше), где черным по белому написано не то что о глубоком отличии, а о принципиальной противоположности буржуазной революции (лишь меняющей один антагонистический строй на другой, одну форму эксплуатации на другую) революции пролетарской, которая кладет конец социальному угнетению вообще, навсегда раскрепощает человеческую личность? Это только в самом общем виде, а сколько всевозможных соображений высказано Марксом, Энгельсом, Лениным, их учениками и сподвижниками по множеству конкретных вопросов, касающихся неповторимых особенностей социалистической революции! И по ее движущим силам (например, союзу пролетариата с крестьянством), и по стратегии и тактике революционного действия, включая вопрос о ломке старой государственной машины, и по очередности практических шагов победившей революции в первые ее недели и месяцы (притом с вариантами: где экспроприация, где выкуп, где рабочий контроль и пр., и пр.). Возьмись только рассматривать все это пункт за пунктом — потребуется как минимум специальный увесистый том. А вернее, как раз и не потребуется, поскольку в нашей общественно-политической литературе все это и без того уже тысячу раз процитировано, прокомментировано, распропагандировано и в совокупности составляет — какой там том! — целую библиотеку... Притом с таким обязательным и усиленным педализированием именно своеобразия (ну и, конечно же, преимуществ) социалистической революции, что в определенный момент наша передовая мысль совершила по закону маятника некоторое движение в противоположную сторону (см., например, работы Е. Г. Плимака, проследившего, как,

говоря словами Радищева, «из мучительства рождается вольность, из вольности рабство»). Крен вполне объяснимый и в свое время полезный, но к настоящему времени уже несколько затянувшийся. Потому что освободиться от односторонне-апологетического отношения к любой революционной ломке — это еще полдела. Важно пойти дальше и, не теряя из виду общего, попытаться понять, почему страны, пережившие только буржуазные революции, нынче дружно процветают, а те, где вслед за буржуазными (или даже вместо них) прошли и социалистические революции, столь же дружно оказались в хвосте. И какую долю ответственности должна принять на себя за это марксистская теория.

Всякая революция, если она не терпит поражения, что-то опрокидывает, отбрасывает и что-то создает. Важно в свете накопившегося опыта отдать себе ясный отчет в том, почему вопреки выкладкам теории, столь убыточными для общества, пережившего победоносную социалистическую революцию, оказались как та, так и другая стороны ее победы. Сравнение с буржуазной революцией проясняет тут многое, если не все.

Как известно, буржуазные революции обычно совершались тогда, когда в недрах уже изжившего себя феодального общества вполне складывались и становились преобладающими новые, буржуазные отношения, новый общественный строй, которому предстояло лишь сбросить обветшавшую социально-политическую форму (в виде сословности, абсолютизма и пр.) и утвердить, конституировать свое фактическое господство. Нельзя сказать, что даже и это оказывалось таким уж легким делом — недаром его мало где удавалось сделать в один прием (1789, 1830 и 1848 годы во Франции, 1848 и 1859—1860-й — в Италии, 1848 и 1918-й — в Германии и пр.). Но как бы то ни было, если не касаться частных человеческих судеб, которые и буржуазная революция часто косит, как траву, в социально-историческом плане она в принципе не убивает ничего, что уже не было бы обречено, и не утверждает ничего такого, что не было бы исподволь, в течение столетий возвращено эволюцией¹.

С социалистической революцией дело обстоит совершенно иначе. Можно ли утверждать, что она добивает отжившее, что мир, который ей предстоит разрушить, уже и без того дряхл, нежизнеспособен? Еще лет 50—60 тому назад так думали многие; одним из памятников этого распространенного представления можно считать строки о капитализме из цитировавшейся поэмы Маяковского:

Наконец и он перерос себя,
За него работает раб.
Лишь наживая, жря и спя,
Капитализм разбух и обдряб.

Обдряб и лег у истории на пути,
В мир, как в свою кровать.
Его не объехать, не обойти,
Единственный выход — взорвать.

Сейчас уже нет смысла вступать в запоздалую полемику с автором этих стихов, спрашивать его, где он видел «обдрябший», «спящий», неподвижный капитализм. Тем более что, как и на многих других страницах своей поэмы, он лишь перевел здесь на язык поэзии то, что в совсем других жанрах писали и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Первые два — предрекая капиталистическому обществу скорую гибель, третий же — более того — характеризуя современный ему капитализм как уже «загнивающий», уже «умирающий».

Правда, при этом они все не забывали оговориться, добавить, что и на склоне своих лет и даже, можно сказать, на смертном одре капитализм тем не менее не перестает развиваться — главным образом в том смысле, что вызванные им к жизни производительные силы неуклонно растут, притом даже чуть ли не интенсивнее, чем прежде. Однако если это так, то на чем в таком случае мог-

¹ Основоположники марксизма много и ярко писали об этом. Один пример: «Новое буржуазное общество, покоящееся на... изменившемся способе производства, должно было захватить и... политическую власть, вся организация которой возникла на почве совершенно иных материальных общественных отношений. Отсюда и революция. Революция была, таким образом, направлена... против сословного представительства, которое представляло общественный порядок, давно уже уничтоженный современной промышленностью, или, самое большее, надменные обломки сословий, с каждым днем все более обгоняемых, оттесняемых, разрушаемых буржуазным обществом» (б. 258—259).

ло базироваться убеждение, что капитализм себя изжил и что история поступит с ним так же, как с предшествовавшим ему феодальным строем, по отношению к которому европейский XIX век уже не мог не пребывать в уверенности, что большой безнадёжен и при первом же дуновении ветра грянется оземь? Разве помещичье хозяйство (если только оно не переходило на капиталистические рельсы) способно было обеспечить не то что быстрый, а хоть сколько-нибудь заметный рост производства? Едва ли не единственным экономическим аргументом в пользу нежизнеспособности капиталистического строя оставалось в этих обстоятельствах то соображение, что в условиях коллективной, общественной собственности рост производительных сил, не замедляемый ни периодически повторяющимися кризисами перепроизводства (Маркс и Энгельс), ни резко обозначившейся тенденцией к монополизации (Ленин), мог бы идти еще быстрее. Но подобная аргументация «от будущего», от того, чего вживе тогда еще никто не видел, была в действительности не более как гипотезой, которую предстояло проверить практикой. И которая, как мы убедились теперь, не выдержала этой проверки.

Таким образом, если говорить об «отрицательной», разрушительной стороне социалистической революции, то ее теоретической основой явилась рассмотренная нами крупномасштабная философско-историческая ошибка: переходящая стадия капиталистического развития принята была за его финал, кризис роста — за «общий кризис капитализма», понятый, в свою очередь, по аналогии с действительно безысходным общим кризисом предыдущей общественной формации; объективно существовавшая возможность революционного взрыва (а она и при Марксе, и при Ленине в целом ряде стран оставалась более или менее значительной) отождествлена была с его неизбежностью. Между тем неизбежности не было. А это значит, что там, где социалистической революции все-таки суждено было произойти, она в отличие от всех прежних революций не столько добивала отжившее (например, пережитки крепостничества в России), сколько резала по живому, «взрывала» и сметала живое, жизнеспособное, развивающееся, сохранявшее историческую перспективу. Это был насильственный перерыв естественной исторической эволюции капиталистического общества, устранение жизнеспособного и развивающегося общественного уклада на восходящей линии его развития.

«Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора...» (13, 7). Если не считать излишне категорического слова «погибает», исключающего возможность иных форм перехода от одной формации к другой, то мысль Маркса представляется и правильной, и весьма глубокой. Однако приходится признать, что в отличие от буржуазных все до сих пор осуществленные социалистические революции представляли собой не что иное, как цель попыток оспорить этот объективный исторический закон. И попыток, к сожалению, успешных, если иметь в виду успех непосредственный, без учета того, чем он в итоге обернется и как — уже через этот итог, «от противного» — подтвердит правильность открытого Марксом закона. Они, эти революции, ломали общественную систему, которая, как показало время, далеко не исчерпала ресурсы своего саморазвития, а с нею, что, может быть, горше всего, — сами механизмы, сами источники развития цивилизации. Применяемое ими насилие было в этом смысле насилием не только над людьми, но и над самой историей.

Переходим к другой стороне социалистической революции — созидательной. В этом отношении ее отличие от буржуазной, пожалуй, еще больше. Ибо последняя если что и создает, то в основном в сфере политической, то есть надстроечной (например, республику вместо монархии), что же касается базиса, то к моменту ее совершения он, этот базис, как правило, не только давно сложился, оформился в виде целостной системы капиталистических производственных отношений, но и явно господствует в экономической жизни общества.

С социалистической революцией дело обстоит совершенно иначе. Правда, и она, конечно, происходит не на пустом месте и, как не раз подчеркивали основоположники марксизма, для своего успеха требует достаточной зрелости определенных предпосылок. Как объективных, так и субъективных, притом обяза-

тельно и тех и других. Но что при этом имелось в виду? Главным образом высокий уровень развития производительных сил и централизации производства, во-первых; революционная настроенность и организованность пролетариата, во-вторых.

Надо заметить, что при своей жизни Маркс и Энгельс не дождались совпадения этих условий ни в одной из капиталистических стран. Особенно обманула их ожидания Англия, «единственная страна, в которой огромное большинство населения состоит из наемных рабочих» и где уже в 40-е годы прошлого века «классовая борьба и организация рабочего класса в тред-юнионах достигли известной степени зрелости и всеобщности» (16, 435). И вот эта страна, с которой — опять приходит на память Маяковский — Маркс в первую очередь и писал «капитализма портрет родовой», вызывает следующее любопытное замечание, датированное 1870 годом: «Если Англия является классической страной лендлордизма и капитализма, то, с другой стороны, в ней созрели более, чем где бы то ни было, материальные условия для их уничтожения. /.../ Англичане обладают всеми необходимыми материальными предпосылками для социальной революции. Чего им недостает, так это духа обобщения и революционной страсти» (16, 404—405).

Можно только пожалеть, что это важное наблюдение не получило у Маркса и Энгельса достаточного осмысления, не пробудило в данном случае «дух обобщения» в них самих, не заставило предположить в действительно классическом английском феномене указания на некую закономерность, которой предстояло вполне проявить себя в качестве таковой лишь через несколько десятков лет: чем зреее «материальные предпосылки» социалистической революции, тем слабее жар «революционной страсти» в тех, кто, казалось, должен был ее совершить.

Нас, однако, сейчас больше интересует другая сторона дела. Даже если бы все упомянутые предпосылки самым счастливым образом совпали между собою, как их ни складывай и ни перемножай, все равно не получается ничего даже отдаленно похожего на ситуацию, предшествовавшую революциям буржуазным: как система производственных отношений (а именно в этом, по Марксу, состоит суть того или иного способа производства, той или иной общественной формации) социализм в недрах капиталистического общества отнюдь не формируется, не прорастает.

А раз это так, значит, для того чтобы он появился на свет, его приходится специальными усилиями, сознательно создавать.

Мы со школьной скамьи привыкли ставить социальную революцию выше эволюции («Революция — локомотивы истории», — сказал Маркс. — 7, 86), а сознательное историческое творчество выше стихийного хода вещей. В этом есть своя, и немалая, доля истины. Ибо стихийность слепа, а эволюция в своей неторопливости черства и безжалостна по отношению к тем, кто хотел быть сытым и свободным не через триста лет, а сегодня. Революция же, по крайней мере на время, дает возможность вчерашним париям почувствовать себя людьми, хозяевами собственной судьбы и устроителями жизни общей, это их геройский, исполненный энтузиазма порыв к свету. «Мы не рабы» — прекрасное, гуманистическое, общечеловеческое в своем значении переживание.

Однако хотя бы из собственного национального опыта мы ведь знаем и другое: не только оптимизм восставших, пробудившихся масс, но и их последующее разочарование. Революция, пламенная, рождавшая героев (хотя, конечно, героизм, высокие чувства наряду с низкими были и по другую сторону баррикады — вспомним хоть «Белую гвардию» Булгакова), — такая революция была, и была заключена в ней своя несомненная нравственная правда, не устранимая, не отменяемая никаким последующим ходом событий. Но та же самая революция пожрала миллионы не только чужих, но и своих детей, превратилась с течением времени как бы в собственную противоположность. Это тоже правда, и у этой правды также есть своя объективно-историческая логика, в которой нам сегодня более всего и следует разобраться.

Сравнение с буржуазной революцией опять-таки дает тут очень много, ибо

разница между ними и в рассматриваемом отношении громадна. Если та — результат многовекового постепенного вызревания капиталистического строя и, пользуясь выражением Маркса, берет на себя лишь роль «повивальной бабки», помогающей появиться на свет уже сформировавшемуся человеческому существу, с головкой, ручками, ножками и всем остальным, что ему нужно для жизни, то к социалистической революции это сравнение совершенно не подходит. Ибо в своей положительной функции она является актом создания общественного строя, которого до тех пор вовсе не существовало в природе, — исходным, начальным актом. Вместе с собственно революционными задачами она принимает на себя и функции, прежним революциям абсолютно несвойственные, — функции предшествовавшей им общественной эволюции, роль, сопоставимую только с ролью Бога-отца.

Но для того чтобы что-то создать, надо как минимум с достаточной ясностью представлять себе создаваемое; если в отличие от буржуазного, складывавшегося совершенно стихийно, социалистический строй создаваем, рукотворен, то отсюда следует, что до своего появления на свет он должен был бы быть хотя бы в основных чертах построен (и критически проверен) «в чертеже», в плане. Для революции, руководствовавшейся теорией, осознававшей себя в качестве научного коммунизма, таким чертежом могла быть заранее тщательно продуманная теоретико-прогностическая модель не столько даже высшей, сколько низшей фазы коммунистического общества.

Как обстояло дело с указанной моделью?

Отвечая на этот вопрос, нам важно обратить внимание на два главных противоречия, отличающих марксову (и ленинскую) концепцию социалистической революции.

Первое противоречие — между их представлением о коммунизме и идеей пролетарской революции сегодня.

В самом деле. С одной стороны — мы уже касались этой темы — теоретическому воображению классиков марксизма коммунизм рисуется как общество с таким уровнем развития производства, какой и не снился современному им капиталистическому хозяйству. Общество, в котором нет эксплуатации и борьбы за кусок хлеба, но и вообще работы, «диктуемой... внешней целесообразностью» (25, ч. II, 386), то есть чем-либо, помимо внутренней потребности человека трудиться. Самый труд станет при этом совершенно другим¹. Всю его тяжесть возьмут на свои плечи системы сложных, умных машин, которыми людям останется только повелевать. Это будет «царство свободы», в котором основная область приложения человеческих сил «лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» (25, ч. II, 387)² и в котором многообразные творческие способности, заложенные в природе человека, раскроются и разовьются самым полным и счастливым образом. Словом, от общества, современного Марксу и Ленину, оно должно было отличаться как небо от земли и потому не могло не рассматриваться ими как дело весьма отдаленного будущего, ни одного из элементов которого в сколько-нибудь развитом виде пока еще нет в наличии.

Это, повторяю, с одной стороны. А с другой — знаменитые слова: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» — были сказаны теми же авторами еще в 1848 году. «Коммунистическую революцию» они на протяжении всей своей жизни ждали со дня на день, готовили ее в качестве непосредственной, с о в р е м е н н о й задачи.

Противоречие очевидно. Между «коммунистической революцией» и самим коммунизмом — зияющий разрыв. Тем не менее Маркс и Энгельс, похоже, долго его не замечают — вплоть до 1875 г., когда в «Критике Готской программы» Маркс вводит понятие о двух фазах коммунистического общества. Все, что до сих пор говорилось о коммунизме вообще, трактуется здесь как принадлежность

¹ Настолько, что в ранних работах Маркс и Энгельс порой говорят о том, что победившие пролетарии, «чтобы отстоять себя как личности... должны уничтожить труд» (3, 78).

² Пророчество это также, можно сказать, почти сбылось в современной практике развитых капиталистических стран, где процент занятости в том, что мы сейчас называем «сферой обслуживания», давно уже стал преобладающим (за счет промышленности и сельского хозяйства) и неуклонно продолжает расти.

высшей фазы коммунистического способа производства. А наличие низшей фазы — вот, кажется, и разрешение указанного противоречия, заполнение разрыва, исторический мост между близкой «гибелью» капиталистической и отдаленным торжеством коммунистической формации, полным раскрытием ее сущностных свойств.

Увы, так могло казаться только на первый взгляд. Ибо «низшая фаза» — это у Маркса — чуть ли не сплошное белое пятно. Достаточно развернуто и, думается, с высокой долей вероятности прогнозировав некоторые существенные черты отдаленного будущего (хотя и наше время, столетие спустя, еще лишено возможности подтвердить или опровергнуть преобладающую часть этих прогнозов), основоположник марксизма не сказал почти ничего вразумительного о том, как он представляет себе возможное и желательное развитие событий вслед за победоносной пролетарской революцией и самыми первыми мероприятиями так называемого «переходного периода». А то, что проглядывает в сделанных им набросках экономической и политической организации «в первой фазе коммунистического общества», не сулило этому обществу ничего хорошего.

Тут мы подходим ко второму из упомянутых выше противоречий марксовой концепции коммунизма — противоречию между свойственным Марксу и Энгельсу неприятием «казарменного коммунизма» (см. 8, 338; 18, 414) и их же теоретическими представлениями, которые, будучи претворены в жизнь, фактически предопределяли именно такой исход социалистической революции.

В самом деле, поставим перед собою вопрос — нам его намного легче ставить, чем людям, жившим 70 или даже 100 лет назад, ибо уже известен и ответ, — какой иной исторический результат могло иметь вот такое сочетание факторов:

— частная собственность (основа экономической, а значит, и политической независимости ее владельца, будь то миллионер-фабрикант или крестьянин) ликвидируется;

— все производительные силы общества, то есть все фабрики и заводы, весь транспорт, все банки и вся земля, обращаются в собственность государства;

— значение государства тем самым — впрямь до его гипотетического «отмирания» в будущем — резко возрастает, ибо оно выступает в таком случае уже не в прежней скромной роли «ночного сторожа», но института (точнее, системы институтов), берущего на себя управление всеми сторонами жизни общества, в том числе всем народным хозяйством, на что до сих пор государство не претендовало ни при каком общественном строе;

— само оно при этом, сломав веками выраставшие институты «буржуазной демократии», сознательно и открыто приобретает характер ничем не ограниченной революционной диктатуры?

Между тем все это не просто важные, но принципиальные и определяющие слагаемые того понимания социалистической революции, которое мы находим в трудах основоположников марксизма. После всего, что процитировано выше, нужны ли подтверждающие выдержки? Ограничусь минимумом — из очень многого, что можно было бы привести.

Упразднение частной собственности: «...Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности» («Манифест Коммунистической партии», 4, 438).

Всеобщее огосударствление: «Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом¹ весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариа-

¹ Идею поэтапности ликвидации частной собственности основоположники марксизма высказывали не раз, но это уже был вопрос не принципа, а лишь форм его практического осуществления. В указанном плане надо рассматривать, в частности, и их отношение к замене частного производства кооперативным. Энгельс — А. Бебело (1886): «...Что при переходе к полному коммунистическому хозяйству нам придется в широких размерах применять в качестве промежуточного звена кооперативное производство, — в этом Маркс и я никогда не сомневались. Но дело должно быть поставлено так, чтобы общество — следовательно, на первое время государство — сохранило за собой собственность на средства производства и, таким образом, особые интересы кооперативного товарищества не могли бы возобладать над интересами всего общества в целом» (т. 36, 361).

та, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил» (там же, 4, 446).

Централизованное государственное управление народным хозяйством: «...Пролетариат берет общественную власть и обращает силой этой власти ускользающие из рук буржуазии общественные средства производства в собственность всего общества. /.../ Отныне становится возможным общественное производство по заранее обдуманному плану» (19, 229) ¹.

Авторитарный, диктаторский характер революционной власти: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие» (18, 105).

Все это, как говорится, не требует комментариев. Единственное, что в этой связи хотелось бы подчеркнуть: перечисленные программные положения отнюдь не образуют какой-то случайный набор — между ними легко просматривается достаточно жесткое логическое сцепление.

В самом деле. Вы задумали отменить частную собственность; можно ли осуществить это иначе, как опираясь на авторитет «ружей, штыков и пушек»? Нет, понятно, что нельзя. Следовательно, начинать приходится с взятия власти и установления диктатуры пролетариата (что, само собой, означает соответствующее урезывание демократии). И, наоборот, для того, чтобы диктатура пролетариата могла держаться, ее противников необходимо лишить экономической силы, нужно отобрать у них собственность. Простая и ясная взаимозависимость, одно без другого невозможно (а если возможно, то очень ненадолго).

Далее. Как справедливо отмечал Энгельс, «стоит только произвести первую радикальную атаку на частную собственность, и пролетариат будет вынужден (!) идти все дальше, все больше концентрировать в руках государства весь капитал, все сельское хозяйство, всю промышленность, весь транспорт и весь обмен» (4, 333). А сконцентрировав — как вести хозяйство? Совершенно естественно, что в отличие от частного предпринимательства, где все хозяйствуют на свой страх и риск и каждый сам себе голова, единая государственная собственность требует централизованного государственного управления экономикой — в виде единого плана производства в национальном масштабе и столь же единого централизованного распределения как произведенного продукта, так и всех видов ресурсов. Что, в свою очередь, требует соответствующей организации учета и контроля, в которых донэповский Ленин не зря видел суть социалистического преобразования.

И опять-таки: какой характер государственной власти в наибольшей мере отвечает подобной экономической организации? Вполне ясно: диктатура. Централизация хозяйственная и политическая взаимно обуславливают и взаимно усиливают одна другую, да, собственно, они и не существуют раздельно, сливаются воедино.

Ну, а теперь зададимся вопросом, которого ни Маркс, ни Энгельс не только не разрешили, но и не поставили перед собою в сколько-нибудь отчетливом виде: как будет работать означенная система, как будет осуществляться это централизованное государственное управление экономикой? И кто именно будет его осуществлять?

«Общество», «пролетариат, организованный как господствующий класс»? Прекрасно, но это слишком общий ответ. Ибо всякому понятно, что бесчисленные и повседневные вопросы организации и ведения народного хозяйства не могут решаться на некоем общенациональном (или хотя бы общепролетарском), изо дня в день, из года в год продолжающемся митинге. Значит, хочешь не хочешь, вопросами организации будет заниматься не все общество и даже не весь про-

¹ Здесь — переключка с тем местом в «Капитале», где Маркс говорит о «союзе свободных людей», в котором «общественно-плановое распределение» рабочего времени «устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми функциями и различными потребностями» (23, 89).

летариат, а только его представители, уполномоченные для выполнения организационных функций.

Маркс так и понимает дело, однако, к сожалению, здесь и останавливается, не делает следующего шага в глубь проблемы.

А следующий шаг мог бы состоять в уяснении того факта, что упомянутые представители должны быть более или менее постоянными, чтобы они смогли приобрести необходимые знания и опыт, стать специалистами управления. Как в медицине, юриспруденции или в гончарном производстве, тут тоже нужны профессионалы, и, как почти всякая иная деятельность, эта также должна быть определенным образом специализирована и институционализирована. Именно она, и только она, способна заместить регулирующую и стимулирующую роль упраздненного рынка, больше на такую роль претендовать некому.

Но что означает постоянное исполнение одним и тем же кругом институтов и лиц управленческих обязанностей и кто они такие, эти люди, профессионально занимающиеся государственно-управленческой деятельностью? Это — чиновничество, бюрократия, хотя бы и «пролетарская». Социальный слой, существующий в любом обществе и в принципе выполняющий вполне реальные и необходимые функции. Своеобразие социализма состоит в этом отношении «только» в том, что в условиях централизованного управления всем народным хозяйством и всей остальной жизнью общества в исключительном ведении государственной власти (а значит, и бюрократии) оказывается область, в десятки и сотни раз более обширная, чем та, на которую простирает свою власть даже современное капиталистическое государство.

Едва ли нужно объяснять, почему. Все по той же простой причине, что над владельцем фирмы нет никого, над директором же государственного предприятия — трест, главк, министерство, правительство. И может ли быть иначе? Ведь не в силах же правительство страны непосредственно управлять каждым отдельным предприятием, большая часть которых располагается к тому же «далеко от Москвы» (или, например, Лондона, Парижа, Вашингтона, если в согласии с убеждениями классиков марксизма и в соответствующих странах предположить социалистический строй). Значит, управление социалистическим государственным предприятием попросту не может не быть многоступенчатым, многозвенным. А поскольку само предприятие представляет собой достаточно сложный, многогранный организм, то от каждой из сторон его деятельности и организационной структуры — таких, как его производственный план, снабжение оборудованием, сырьем, комплектующими деталями, сбыт продукции, использование, обновление и усовершенствование производственных мощностей, кадры и пр., — не может не протягиваться вверх еще и своя, также многозвенная, цепочка управленческих связей. И в каждом звене этих связей сидит чиновник. Пусть даже — теоретически — только один, все равно в совокупности их будет целая армия, ибо современное народное хозяйство чрезвычайно разветвлено, отраслей в нем десятки, предприятий же сотни тысяч.

Взятое в целом, все это предопределяет, так сказать, сплошную бюрократизацию страны, требует создания разветвленного, всеохватывающего, строго иерархического аппарата, связанного отношениями команды и исполнения, начальствования и подчинения, которые как раз и составляют подлинные производственные отношения такого общества.

Истинный характер этих отношений проступает в том, как уже говорилось, единственном месте у Маркса, где прямо характеризуется «первая фаза коммунистического общества». И хотя проступает неявно (в том числе, конечно, неявно для самого автора) и речь там идет преимущественно о принципе распределения, здесь, в сущности, «закодирована» вся система общественных отношений, неизбежно складывающаяся в обществе, в котором «производители не обменивают своих продуктов», а государство «не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата».

Перечитаем внимательно это место — уже под другим углом зрения и взяв на себя смелость несколько «достроить» то, что непосредственно заложено в тексте.

Как помнит читатель, по мысли Маркса, в таком обществе «индивидуальное рабочее время каждого производителя — это доставленная им часть общего рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда ... и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда».

Самое важное, можно сказать, ключевое слово здесь — дважды повторенный глагол «получает». Почему? Потому что именно в нем и «закодирован» упомянутый тип общественных отношений.

Попытаемся представить себе описанный процесс несколько более детально.

Отметим в первую очередь, что пока «производитель» работает, тратя на эту работу свое «индивидуальное рабочее время», он существует, так сказать, сам по себе, наедине со своим станком (или чертежной доской, или баранкой грузовика и т. п.), но когда дело доходит до оценки и возмещения его трудовых затрат, то по самому смыслу глагола «получает» в этом действии участвуют (по аналогии с термином «юридическое лицо») уже не одно, а два экономических лица, выступающих притом в существенно разных ролях. Первое лицо — это «производитель», работник (назовем его А), тот, кто непосредственно создает те или иные полезные, материальные или духовные, и в удостоверение этого «получает» упомянутую «квитанцию». От кого? Марксом сказано: «От общества». Но тут поставлены на одну доску «лица» явно несопоставимые. Этот А, при всей обобщенности, совершенно конкретен (недаром речь у Маркса идет об «индивидуальном рабочем времени», «индивидуальном трудовом пае»), тогда как его контрагент — понятие коллективное, собирательное. Между тем ведь не все же общество в целом занимается учетом «индивидуального трудового пая» нашего А и выдает ему соответствующую квитанцию. Это точно так же делает какой-то определенный человек (назовем его Б). Может быть, даже не один: кто-то занимается только учетом, кто-то выписывает квитанцию, но это уже неважно, поэтому для простоты примем их за одно лицо.

Вот уже между этими А и Б устанавливается не просто разделение труда, но определенное общественное отношение: один работает, другой оценивает его работу; один создает общественный продукт, другой — выдачей «квитанции» — участвует в его распределении; один «получает», другой соответственно «дает».

Это отношение равных? В идеале, в абстракции — да. А на грешной земле во взаимоотношениях реальных людей, конечно, нет. И это не то неравенство, которое, как предусматривает автор «Критики Готской программы», вытекает из «неравного труда», имеет в своей основе «неравную индивидуальную одаренность», а следовательно, и «неравную работоспособность» разных людей (19, 19). Речь идет о неравенстве именно социальном. Ибо тот, кто оценивает работу (ну, скажем, закрывает наряды), может по самым различным мотивам как завысить, так и понизить свою оценку и тем самым непосредственно повлиять на процесс распределения. Таким образом, благосостояние А (и, значит, он сам) зависит от поведения Б (и, значит, от самого Б), который в этом отношении реально стоит на общественной лестнице ступенькой выше. При полном их формальном равенстве между собою.

Далее. Чтобы «отovarить» (кавычки здесь обязательны, так как экономика уже первой фазы коммунизма мыслится Марксом как нетоварная) свою квитанцию, А отправляется туда, где хранятся «общественные запасы», и там его снова встречает некий Б, выступающий, правда, в несколько иной ипостаси: он выдает уже непосредственно выдачей «предметов потребления» (назовем его Б₁). Ну, и опять-таки у этого Б₁ есть кое-какие особые возможности: за одну и ту же квитанцию он может дать предметы получше и похуже, одному А дать, а другому сказать: не завезли, приходите завтра (либо вовсе — после дождика в четверг). Замена «квитанции» деньгами (в подобных обстоятельствах это неизбежно деньги условные, в значительной мере утратившие свое значение всеобщего эквивалента) ничего в принципе не меняет.

Следовательно, и тут, как и в первом акте распределительного действия, перед нами отношения неравные, отношения односторонней зависимости одного

человека от другого. Притом эта зависимость (и возможность произвола) здесь, в сущности, больше, чем при капитализме, где, как мы помним из «Капитала», уровень заработной платы работника определяется в среднем стоимостью рабочей силы определенного качества — фактором меняющимся, но вполне объективным, а ситуация дефицита, ответ «приходите завтра» возможны разве что во время большой войны.

Далее. Если А зависит от Б и Б₁, то их собственные трудозатраты (по учету труда многочисленных А, выдаче им квитанций, а затем и предметов потребления) оценивает некто В, и они уже из его рук получают соответствующую квитанцию, а следовательно, точно так же от него зависят. В свою очередь, низовые распределители Б₁ получают то, что они должны распределять, от какого-нибудь В₁, который может поступить с ними точно так же, как они сами поступают с А₁, — одному дать, а другому сказать: срезали фонды. Таким образом, и здесь воспроизводится та же ситуация фактического неравенства: В и В₁ стоят на ступеньку выше, чем Б и Б₁, а Г и Г₁ — еще выше и т. д.

Сколько ступенек у этой лестницы? Их может быть очень много, не меньше, чем букв в нашем алфавите. И поскольку круг лиц, стоящих на каждой следующей по высоте ступеньке, естественно, все более сужается, то в совокупности они образуют этакую пирамиду распределения, верхнюю точку которой занимает некое Я. Оно существует уже в единственном числе и уже само себе выписывает квитанцию либо вовсе обходится без таковой, поскольку обе грани упомянутой пирамиды нераздельно сливаются в нем.

Добавим к сказанному, что, как показала практика, пирамида распределения существует не сама по себе: в условиях, когда «общество регулирует все производство», ей вполне, один к одному, адекватна пирамида государственного управления таким производством. И тут опять-таки повторяется та же схема: А работают, Б указывают, что им делать, сами же, в свою очередь, получают указания от В, те — от Г и т. д., — вплоть до того же Я, над которым нет уже никого и которое совмещает в себе функции главного распределителя и главным управляющего всем народным хозяйством страны.

Собственно говоря, это даже не две отдельные пирамиды, а две стороны одной общей пирамиды управления производством и распределением в масштабах всего общества, третью сторону которой составляет, в свою очередь, точно такая же пирамида политической власти. В вершине ее, по логике вещей, находится то же самое Я, и в данном отношении также наделенное особыми правами¹. В совокупности же все это образует нечто вполне целостное и законченное. Монолит. Система.

Скажут: у Маркса ничего этого нет. Правильно, нет. Но если додумать, если слегка конкретизировать то, что сказано им о принципе распределения в условиях первой фазы коммунизма, о централизованно управляемом бестоварном хозяйстве и диктатуре пролетариата, станет очевидно: ничего другого из такого сочетания исходных данных сложиться не могло.

Подобная перспектива, казалось бы, и должна была представиться — по крайней мере как достаточно вероятная и требующая тщательного осмысления — такому мощному аналитическому, последовательно логическому уму, как ум ав-

¹ В этой связи нелишне напомнить, что, когда придет время перейти от теории к практике, Ленин, обдумывая «очередные задачи Советской власти» (апрель 1918 г.), произнесет целую речь в обоснование личной диктатуры как формы осуществления диктатуры пролетариата: «Что диктатура отдельных лиц часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непрерываемый опыт истории. [...] Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет. [...] О значении именно единоличной диктаторской власти с точки зрения специфических задач данного момента, надо сказать, что всякая крупная машинная индустрия — т. е. именно материальный, производственный источник и фундамент социализма — требует безусловного и строжайшего единства воли, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей. [...] Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? — Подчинением воли тысяч воле одного. Это подчинение может, при идеальной сознательности и дисциплинированности участников общей работы, напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать резкие формы диктаторства, — если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. Но, так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле для успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии, безусловно необходимо» (Полн. собр. соч., т. 36, с. 199—200).

тора «Капитала». Тем не менее он не только сам к этому не приходит, но гневно обрушивается на тех, кто утверждает, что общественные отношения марксистского «государственного социализма» неизбежно окажутся весьма далекими от социального равенства, коммунистического коллективизма и товарищества. В этом смысл той резкой полемики, которую ведет он с Бакуниным, конспектируя книгу последнего «Государственность и анархия». В свете обретенного нами опыта этот старый теоретический диалог выглядит сегодня уже не как опровержение утопии наукой, а скорее как спор двух утопий, каждая из которых по-своему слаба в своей положительной программе, но весьма точно нащупывает уязвимые места другой. Это относится и к бакунинской критике Марксовой концепции пролетарского государства.

Бакунин: Мы уже высказывали наше глубокое отвращение к теории Лассаля и Маркса, рекомендующей работникам если не как последний идеал, то, по крайней мере, как ближайшую главную цель, — основание «народного государства», которое, по их объяснению, будет не что иное, как пролетариат, «возведенный на степень господствующего сословия». /.../ Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления?

Маркс: Неужели, например, в профессиональном союзе весь союз образует свой исполнительный комитет? Неужели на фабрике исчезнет всякое разделение труда и различные функции, из него вытекающие? А при бакунинском построении «снизу вверх» разве все будет «сверху»? Тогда ведь не будет никакого «внизу». /.../

Бакунин: Итак, в результате: управление огромного большинства народных масс привилегированным меньшинством. Но это меньшинство будет состоять из работников (то есть рабочих. — Ю. Б.), говорят марксисты. /.../ Да, пожалуй, из бывших работников, но которые, лишь только они сделаются представителями или правителями народа, перестанут быть работниками и..

Маркс: Не больше, чем теперь фабрикант, который не перестает быть капиталистом потому, что стал членом муниципального совета.

Бакунин: ...и станут смотреть на всех обыкновенных рабочих с высоты «государственной»: они будут представлять уже не народ, а себя и свои «притязания» на управление народом. Тот, кто усомнится в этом, совсем не знаком с природой человека.

Маркс: Если бы г-н Бакунин был знаком хотя бы с положением управляющего рабочей кооперативной фабрикой, то все его бредни о господстве полетели бы к черту. /.../

Бакунин: Марксисты чувствуют это противоречие и, сознавая, что управление ученых (то есть управление, базирующееся на идеях научного социализма. — Ю. Б.), самое тяжелое, обидное и презрительное в мире, будет, несмотря на все демократические формы, фактической диктатурой, — утешаются мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая.

Маркс: Non, mon cher! (Нет, мой дорогой! — фр.) Классовое господство рабочих над сопротивляющимися им прослойками старого мира должно длиться до тех пор, пока не будут уничтожены экономические основы существования классов (18, 611—618).

Слабы, слабы возражения Маркса! Сколько-нибудь убедительного ответа Бакунину, доказывающему (разумеется, тоже доопытно, а потому без такой строгой аргументации, оспаривать которую было бы невозможно), что осуществление Марксовых идей прямоком ведет к отвергаемому ими обоими «казарменному коммунизму», он представить не в силах. Вероятно, и в другом прав Бакунин: в том, что сами основоположники марксизма, похоже, смутно чувствуют эту слабость. Не потому ли, столь часто уносясь мыслью в «коммунистическое далекое», они так мало и неохотно думают о ближайшем, социалистическом будущем, то есть о том, за что как революционеры-практики несут непосредственную моральную ответственность. Если не считать приведенного уже в «Коммунистическом манифесте» перечня самых первых революционных преобразований, то это будущее, по-видимому, никак не вытанцовывается в их теоретических представлениях, и они — возможно, бессознательно — уходят от данной темы. А когда ув-

лониться становится трудно, не могут придумать ничего лучшего, как построить модель «низшей фазы» по принципу противопоставления, «отталкивания»: от капиталистической реальности, с одной стороны, и от коммунистического идеала — с другой. Научная ценность такой модели, понятно, весьма невысока, а ее практическое значение в основном отрицательно.

На этом можно бы поставить точку. Однако необходимо одно существенное дополнение, относящееся к тому, что можно считать у Маркса своего рода противовесом изложенному выше: то место в работе «Гражданская война во Франции», где он с одобрением перечисляет антибюрократические мероприятия Парижской Коммуны. И хотя это всего лишь страничка в многотомном собрании сочинений основоположников марксизма, ее нельзя оставить без внимания. Во-первых, она-таки есть. Во-вторых, ей придавали особое значение и Энгельс, специально обративший внимание читателя на отмеченное Марксом сознательное стремление Коммуны «обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников» (22, 199), и Ленин, который в книге «Государство и революция» чуть ли не каждую фразу отсюда возвел в ранг отдельного, самостоятельного принципа социалистической государственности. В-третьих, она имеет самое прямое отношение к нынешней реформе советской политической системы (и аналогичных ей в других социалистических странах), гарантиям демократизации и т. п.

«...Первым декретом Коммуны было уничтожение постоянного войска и замена его вооруженным народом», — отмечает Маркс и продолжает: «Коммуна образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по различным округам Парижа городских гласных. Они были ответственны и в любое время сменяемы. Большинство их состояло, само собой разумеется, из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Коммуна должна была быть не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы. Полиция, до сих пор бывшая орудием центрального правительства, была немедленно лишена всех своих политических функций и превращена в ответственный орган Коммуны, сменяемый в любое время. То же самое — чиновники всех остальных отраслей управления. Начиная с членов Коммуны, сверху донизу, общественная служба должна была исполняться за заработную плату рабочего. Всякие привилегии и выдачи денег на представительство высшим государственным чинам исчезли вместе с этими чинами. Общественные должности перестали быть частной собственностью ставленников центрального правительства» (17, 342).

«Итак, — горячо откликается Ленин, — разбитую государственную машину Коммуна заменила как будто бы «только» более полной демократией: уничтожение постоянной армии, полная выборность и сменяемость всех должностных лиц. Но на самом деле это «только» означает гигантскую замену одних учреждений учреждениями принципиально иного рода. /.../ Особенно замечательна в этом отношении подчеркиваемая Марксом мера Коммуны: отмена всяких выданных денег на представительство, ...сведение платы всем должностным лицам в государстве до уровня «заработной платы рабочего». Тут как раз всего нагляднее сказывается перелом — от демократии буржуазной к демократии пролетарской... /.../ Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалованья к обычной «заработной плате рабочего», эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму. Эти мероприятия касаются государственного, чисто политического переустройства общества, но они получают, разумеется, весь свой смысл и значение лишь в связи с... переходом капиталистической частной собственности... в общественную собственность»¹.

Прекрасные слова, еще и еще раз с несомненностью подтверждающие, что и Маркс и Ленин были истинными демократами (на свой пролетарско-классовый лад), что их революционные помыслы были чисты, свободны от какой-либо жаж-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 42—44.

ды власти, не говоря уже о чем-либо еще худшем. Поэтому — скажу свое мнение заранее, не углубляясь здесь в тему, требующую большого особого разговора, — когда кто-то сейчас, основываясь на тех или иных (часто вполне реальных) фактах и соображениях, однозначно выводит Сталина из Ленина (а далее и из Маркса), практически их отождествляя, то это ничуть не меньшая историческая неправда, чем жалкие попытки отделить их друг от друга китайской стеной.

Но... если бы ход истории определялся только лозунгами и степенью личной нравственной чистоты провозглашавших их деятелей! Разве, например, девиз «Свобода, равенство и братство!», под которым прошла Великая Французская революция, был хуже? И, однако же, разве реальное ее течение, а тем более исторические результаты определялись этим лозунгом? Нет, они определялись внутренней логикой существования и развития той системы, которую эта революция освободила (вернее, решительно начала освобождать) от феодальных пут.

То же и здесь. Опыт радикально-демократической власти, просуществовавшей два месяца в пределах одного осажденного города, — это еще не опыт. На целую страну, сколько-нибудь длительное время живущую в условиях революционной диктатуры и проведенного ею тотального огосударствления производства, он отнюдь не распространяется. Ибо здесь, также силою вещей, должна была сложиться своя, достаточно целостная система общественных отношений, со своей, объективно, независимо от чьих бы то ни было добрых намерений действующей логикой, по отношению к которой все перечисленное Марксом и с таким энтузиазмом поддержанное Лениным не значило почти что ничего.

В самом деле, если складывается упоминавшаяся многоэтажная, многоступенчатая пирамида, состоящая из учетчиков, надсмотрщиков, распределителей и распорядителей разного ранга — а она не может не складываться сама собой с «переходом капиталистической частной собственности в государственную собственность» и вытекающей отсюда централизацией управления (даже если вопреки законам психологии исключить чью-либо заинтересованность в том, чтобы занять в этой пирамиде местечко повыше и потеплее), — то от чего в подобных обстоятельствах может гарантировать выборность и пр.? Во всяком случае, не больше, чем в современной Марксу буржуазной республике, где, по его саркастическому замечанию, людям предоставлено право «один раз в три или в шесть лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять народ в парламенте» (17, 344).

Выборность, ответственность, сменяемость, отсутствие привилегий и пр. — замечательные вещи, без которых немислима последовательно проведенная демократия. Но ведь это, повторяю, только лозунги. А кто и как будет претворять их в жизнь, кто и каким образом застрахует от превращения их в «слова», в пустую форму, облакающую в действительности чисто авторитарную по своей сути власть тех, кто окажется «наверху»? Тем более в условиях жесткой диктатуры, волею которой как раз и формируется новая система управления. Что же реально может помешать людям, находящимся у власти и вынужденным отчаянно бороться за ее удержание и укрепление, сначала заменить — в интересах революции, разумеется, — выборность назначением, а сменяемость снизу сменяемостью сверху, создать взамен прежней политической полиции новую, собственную, в дальнейшем же — ну, скажем, с целью закрепления проверенных кадров — пожертвовать до наступления более благоприятных времен и какими-то другими столь же неоспоримыми, но, к сожалению, пока несвоевременными принципами (отказом от привилегий и пр.)? Институты старой буржуазной демократии, пусть урезанной и несовершенной: парламентаризм, независимость суда, свобода печати? Их нет, они сломаны вместе со всей «старой государственной машиной». «Всеобщее вооружение народа»? Но в мирное время и в масштабах большой страны это вообще фантастика, столь же мрачная, сколь и малоэффективная в качестве средства против бюрократизации и инструмента демократического контроля. Ведь не станете же вы, идя, допустим, к управдому с заявлением, что у вас засорилась канализация, прихватывать с собой пистолет, а записываясь на прием к члену правительства, запастись гранатой...

Что же касается «сведения платы всем (!) должностным лицам в государстве до уровня заработной платы рабочего», то даже если бы они — под дулом пистолета или из высокой сознательности, на которую столь же трудно рассчитывать всерьез, — согласились терпеть подобную уравниловку, как совместить ее с тем принципом распределения по труду, который Маркс и Ленин предусматривали для «первой фазы коммунизма»? Такая же неразрешимая задача.

Таким образом, если в «отрицательном» своем аспекте Марксова программа социалистической революции, будь она осуществлена, означала перерыв, слом естественно-исторического развития человеческого общества, то в «положительном» — наиболее вероятной перспективой имела не что иное, как создание той системы, которую мы сейчас обычно обозначаем не претендующим на научность, но зато общепонятным определением: «сталинская». И никаких реальных противовесов этому в ней не было.

Вот и получается: пока основоположники марксизма выступают в качестве аналитиков и критиков современного им капиталистического строя; пока вскрывают свойственный ему хитрый механизм эксплуатации человека человеком и все, что с этим связано в экономическом, политическом, правовом, нравственно-психологическом облике общества; пока во всех этих многообразных аспектах под демократическим, революционно-критическим углом зрения пишут живую и огненно-яркую публицистическую историю современности; пока (насколько позволял собранный к тому времени эмпирический материал) размышляют о предшествующих этапах человеческой истории и, вдумываясь в общую перспективу ее развития, высказывают свои догадки об отдаленном будущем человечества; наконец, пока, исходя из осмысления опыта своего века и прежней, в основном европейской, истории (насколько она, повторяю, могла быть им в то время известна) выводят, открывают некоторые общие закономерности исторического процесса (как процесса, прежде всего, развития производительных сил и производственных отношений — в их относительном и подвижном соответствии между собою), — пока они остаются в этих, и без того невероятно широких пределах, перед нами поистине великие умы человечества. С ними можно не соглашаться по тем или иным, даже многим, частным поводам, но в основном, главное, а именно — в последовательном теоретическом осмыслении доступного им опыта мировой истории они могущественны, как никто из их современников. Но стоит им, доведя свою критику капитализма до ее, казалось бы, логического завершения — до идеи пролетарской революции и диктатуры пролетариата, предпринять попытку нарисовать контуры общества, которое должно возникнуть непосредственно на этой основе, как они начинают говорить без обычной чеканной ясности и твердости в голосе, как-то бегло и отрывочно, противоречиво и невнятно. Вместо всегдашних трезвых реалистов мы вдруг видим перед собою утопистов, чей революционный романтизм, как это нередко бывает в истории при его переводе на язык общественной практики, невольно и незаметно для себя обращается в свою р е а к ц и о н н у ю противоположность.

Что за парадоксальная метаморфоза? В свете опыта нашего века разгадка ее уже не представляет большого труда. Это та роковая ошибка в диагнозе, поставленном Марксом и Энгельсом капитализму, о которой уже говорилось выше: они хоронят общественный строй, сотрясаемый экономическими кризисами и социальными конфликтами, но тем не менее жизнеспособный и обретающий возрастающую со временем возможность разрешать эти кризисы и конфликты мирным, эволюционным путем, с выгодой для своего саморазвития и прочности. Они пытаются заменить его строем, для которого нет — и еще по крайней мере столетия не будет — объективно-исторических оснований. Они безуспешно оспаривают ими же провозглашенную истину: «человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить» (13, 7), а теоретик или политик, пытающийся навязать человечеству исполнение задачи, не отвечающей (может быть, еще не отвечающей) объективному ходу вещей, обречен на поражение.

В заключение — некоторые соображения о том, как повлияла коренная философско-историческая ошибка Маркса на судьбу самого марксизма.

Суть этого воздействия можно, пожалуй, определить одной фразой: вытеснение классического марксизма ревизионизмом, победа реформизма над революционностью.

«Ревизионизм» — одно из самых бранных слов в нашем общественно-политическом словаре, а к отцу ревизионизма, немецкому социал-демократу Эдуарду Бернштейну, вскоре после смерти Энгельса выступившему с критикой ряда основных положений марксизма, нам со школьной скамьи прививалось примерно такое же отношение, какое в описанной Дж. Оруэллом стране «партия» культивирует к своему главному идейному врагу Эммануэлю Голдштейну. Вспомним сцену, когда во время ежедневной «двухминутки ненависти» в телекран, где появляется его отвратительное изображение, служащие Министерства правды с криками «Подлец! Подлец! Подлец!» швыряют что попадается под руку (см. «Новый мир», 1989, № 2, с. 137). В нашей стране не только внешность Бернштейна, но и действительное содержание его сочинений известны лишь редким специалистам, однако «двухминутка ненависти» к нему продолжалась все 70 лет Советской власти. В каталоге Ленинской библиотеки целый ящик заполнен карточками только коллективных монографий под почти (а нередко и полностью) одинаковыми заглавиями «Кригика буржуазных и ревизионистских концепций...», и едва ли хотя бы в одной из них обойдено вниманием трижды проклятое бернштейнианство. Сколько сотрудников нашего Министерства правды (то есть академических институтов и вузовских кафедр философии, политэкономии, истории, научного коммунизма и пр.) «остепенялось» и кормилось на этом! Особенно в недавние брежневские годы, когда в качестве заведующего Отделом науки ЦК КПСС советским обществоведением руководил С. П. Трапезников, самолично подававший пример партийной непримиримости к бернштейнианству.

Однако, если, минуя все эти «критики» (разоблачавшие наших идейных противников так, чтобы одновременно «не предоставлять им трибуну»), мы обратимся непосредственно к Бернштейну, то с изумлением обнаружим, что с ним сегодня почти не в чем спорить. Правда, когда он пытается возражать Марксу по некоторым общетеоретическим вопросам, в особенности когда берет под сомнение то, на чем стоит «Капитал». — двойственную природу товара и трудовую теорию стоимости, его попытки явно несостоятельны. Правда и то, что ни как мыслитель, ни как публицист он не идет ни в какое сравнение с опариваемыми им основоположниками марксизма, что он бывает и эклектичен, и сбивчив, и нестрог в аргументации и что, по-видимому, сам, опасаясь собственной смелости, нередко недоговаривает, а то и впадает в прямое противоречие с самим собою. Но сила его в том, что он — можно сказать, в зародыше — уловил в современном ему капиталистическом обществе совокупность таких явлений и тенденций, которым позднее, порой много десятилетий спустя, суждено будет стать преобладающими и увести почву из-под ног классического революционного марксизма. И не прошел мимо них, и не стал искать компромисс между новыми фактами и старыми выводами марксистской теории.

У меня перед глазами книга Карла Каутского «К критике теории и практики марксизма («Антибернштейн»)», Москва — Петроград, 1923. Впервые опубликованная в том же 1899 году, что и книга Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии», книга Каутского имеет двойкий интерес: давая подробное, с многочисленными и нередко обширными выписками, изложение этого и некоторых других сочинений Бернштейна, она вместе с тем содержит едва ли не исчерпывающую сводку тех фактов и соображений, которые тогда могла им противопоставить ортодоксально-марксистская мысль.

Итак, что же говорит Бернштейн?

Он в целом не отрицает той общей характеристики капитализма, которая дана основоположниками марксизма, но на вопрос, верно ли то, что «концентрация (капиталистического производства. — Ю. Б.) со всеми сопутствующими ей

явлениями происходит в указанных Марксом формах», отвечает: «И да, и нет. Оно верно прежде всего в тенденции. Изображенные силы живут и действуют в указанном направлении... Если же картина не соответствует действительности, то это происходит не от ложности, а от неполноты высказанного. Факторы, оказывающие ограничивающее действие на изображенные противоречия, Маркс или совершенно обходит, или, если обсуждает при случае, то позднее, при сводке или противопоставлении указанных фактов, он упускает их, так что социальное действие антагонизмов кажется более сильным и непосредственным, чем оно есть в действительности» (цит. по: «Антибернштейн», с. 97—98).

Восполняя эту «неполноту высказанного» своими учителями, Бернштейн преимущественно и указывает на «факторы, оказывающие ограничивающее действие» на изображенные Марксом противоречия, и это радикально меняет в его глазах всю картину происходящего, определяя существенно иной взгляд на настоящее и будущее капиталистического общества. В противовес убеждению, что неустрашимыми спутниками капитализма являются анархия производства и все более разрушительные, все более катастрофические экономические кризисы, постоянно увеличивающаяся пролетаризация трудящихся масс за счет «вымывания средних слоев» и уменьшения численности собственников, сам же пролетариат идет по пути (по крайней мере «относительного») обнищания, Бернштейн утверждает, что «в современном обществе... обнаруживается все растущее вмешательство разума в законы развития, и именно экономического развития... способность руководить экономическим развитием... При этом и здесь общий интерес берет верх над частным, и во всех областях, где это совершается, прекращается (лучше было бы сказать: ограничивается.— Ю. Б.) стихийное действие экономических сил» (там же, с. 9). Констатируя «расширение поля деятельности независимых идеологических и, в особенности, этических факторов», Бернштейн считает, что «благодаря этому причинная связь между технико-экономическим развитием и развитием других социальных элементов становится все менее непосредственной, а вместе с тем первое все более теряет свое влияние на второе» (там же, с. 11, 48). По его наблюдениям, «число собственников не уменьшилось, а увеличилось. Колоссальный рост общественного богатства сопровождается не образованием небольшой и все уменьшающейся кучки магнатов капитала, а увеличением числа капиталистов всех степеней. Средние слои изменяют свой характер, но не исчезают со ступеней общественной лестницы»; «Мы нигде не видим убыли этих последних; напротив, они почти повсюду сильно распространяются. Что отнимается у них сверху, то они пополняют, подкрепляя себя снизу...» (там же, с. 137, 142). В условиях экономической системы, для которой характерно постоянное увеличение «массового производства потребительных благ», никакое сверхпотребление господствующего класса не в состоянии их поглотить: «либо... увеличение благосостояния пролетариата, либо многочисленный средний класс — такова единственная альтернатива, которую допускает непрерывный рост производства» (там же, с. 169—170). Впрочем, по мнению Бернштейна, в действительности имеет место даже не альтернатива, а параллельное развитие обоих процессов, в том числе медленный, но неуклонный рост жизненного уровня рабочего класса. По словам Каутского, признавая, что эксплуатация рабочих капиталистами — «общезвестное явление», Бернштейн и его единомышленники заявляют: «Да,— все это верно, но тенденции к обнищанию пролетариата — только переходящее явление, присущее зачатному состоянию капиталистического способа производства, но преодолеваемое с течением времени» (там же, с. 185—186)¹.

Убежденный, что в современных ему условиях «движущую силу рабочего движения образует не крайняя материальная нужда, но растущие культурные требования рабочих... и прогрессирующее сознание своего равноправия» (там же, с. 244), Бернштейн, пишет Каутский, «указывает нам на значение кооперации, профессиональных союзов, так называемого «муниципального социализма»,

¹ Бернштейн: «Теория обнищания почти всеми оставлена; если не все ее выводы отвергнуты, то, по крайней мере, ее пытаются, по возможности, перетолковать на другой лад» (там же, с. 184).

«указывает на демократию, которая означает в принципе уничтожение классового господства», «хотя и не означает фактического уничтожения классов» (там же, с. 248, 258, 261). В противоположность коренному убеждению Маркса и Энгельса, «можно,— полагает он,— считать демократию... обозначением такого социального строя, при котором ни один класс не пользуется политическими привилегиями по отношению ко всему обществу» (там же, с. 261). В прямой связи с этим Бернштейн рекомендует «соблюдать до известной степени сдержанность при объявлении войны либерализму». «Правда,— говорит он,— великое либеральное движение нового времени прежде всего принесло выгоду капиталистической буржуазии, и партии, присвоившие себе имя либеральных, были и ли стали с течением времени простыми защитниками капитализма... Но что касается до либерализма как всемирно-исторического движения, то социализм является не только с хронологической точки зрения, но и по своему духовному содержанию его законным преемником» (там же, с. 265).

Все эти соображения, резюмирует Каутский, приводят Бернштейна к «оптимистическому представлению» о ходе развития буржуазного общества и, соответственно, к мысли о том, что Маркс и Энгельс совершили ошибку «в оценке продолжительности социальной и политической эволюции» капитализма (там же, с. 68). Не отрицая в нем классовой борьбы, он полагает, однако, что эта эволюция ведет не к обострению, а, наоборот, к смягчению социальных антагонизмов, то есть «совсем не следует направлению, указанному Марксом и принятому, вслед за Марксом, в социал-демократических программах» (там же, с. 242). Допуская возможность новых кризисов, он вместе с тем воспринимает удлинение периодов процветания как доказательство способности капиталистического хозяйства к саморегуляции и ставит вопрос: «не стал ли вследствие этого общий промышленный кризис, подобный предыдущим, невероятным по крайней мере в течение более или менее продолжительного времени?» (там же, с. 227). А поскольку именно с таким кризисом марксистская мысль не раз связывала предстоящее крушение буржуазного общества, то и сама эта «теория крушения» вызывает у него по меньшей мере сомнение: «Чтобы считаться «имманентной экономической необходимостью», триумф социализма должен быть обоснован доказательством неизбежности экономического крушения существующего общественного строя. Но такая неизбежность еще не была и не могла быть доказана. Общественное развитие в некоторых пунктах сошло с пути, по которому оно должно было бы направиться, чтобы крушение стало неизбежно по чисто экономическим причинам» (там же, с. 92).

Это не значит, что Бернштейн отрицает возможность социализма или не хочет его осуществления. Но, во-первых, среди необходимых предпосылок социализма он на первое место ставит не «экономическое принуждение», а «свободу воли» людей, «живущих обществами в цивилизованных странах», прошедших длительную школу воспитания в условиях демократии, полагая, что «и в социалистическом движении правовое сознание, стремление к более справедливому общественному строю является по меньшей мере столь же важным и сильным фактором, как материальная необходимость» (там же, с. 92). А поскольку вызревание этих факторов — дело длительное, поскольку «несмотря на большие успехи, которые сделал рабочий класс в интеллектуальном, политическом и экономическом отношении с того момента, когда писали Маркс и Энгельс», его и теперь еще нельзя считать «достаточно развитым, чтобы взять в свои руки политическую власть» (там же, с. 281—282) и «изъять из частных рук руководство сконцентрированными средствами производства» (там же, с. 140), то и социализм для Бернштейна — весьма отдаленная перспектива («Если бы общество конструировалось или развивалось согласно прежней доктрине, тогда экономический переворот был бы только вопросом очень короткого времени. Но этого, как мы видели, нет», — там же, с. 19). Во-вторых, его страшит революционный путь перехода к социализму, «революционные народные волнения», стремящиеся «главным образом к разрушению» (там же, с. 71) и безусловно отвращает идея диктатуры пролетариата. Не соглашаясь с тем, что преобразование общества может быть делом только рабочего класса, он, по словам Каутского, ужа-

сается мыслью о классовом господстве пролетариата и ищет в демократии такого средства, которое «принципиально» уничтожает возможность диктаторской власти одного класса над другими, даже если таковой составляет большинство. Признавая «подавление личности обществом» безусловно противным «современному сознанию», он пишет: «Опыт показал, что чем дальше существовали в современном государстве демократические учреждения, тем больше признавались и уважались права меньшинства, а партийная борьба становилась все менее ожесточенной» (там же, с. 263).

Альтернатива разрушительной революционности состоит для Бернштейна в своего рода политике «малых дел», в постепенном изменении общественного уклада в социалистическом направлении, что, в пересказе Каутского, предполагает «медленное, но верное прогрессивное движение по пути демократизма и социальных реформ» (там же, с. 255). Принципиальный реформизм Бернштейна — оборотная («положительная», программная) сторона его «ревизионизма», естественное продолжение последнего. В этом — смысл и его известного афоризма: «движение — все, конечная цель — ничто», и его настоятельных рекомендаций социал-демократии в интересах успеха ее деятельности превратиться из партии рабочего класса в широкую народную партию «демократически-социалистических реформ» (там же, с. 269, 274, 281 и др.).

Такова была в основных пунктах позиция Бернштейна. Не стану пересказывать, что отвечал ему Каутский. Поскольку моя задача — отнюдь не в том, чтобы предложить свой вариант описания идейной борьбы в марксизме, а лишь в пунктирном обозначении общего направления этой борьбы и в констатации ее современного исхода, ограничусь просьбой к читателю поверить мне на слово (а желающих — удостовериться самолично), что ни одно из приведенных утверждений и сомнений Бернштейна не осталось без немедленной критики и развернутых контраргументов со стороны Каутского, а также Плеханова (еще в 1898 г. одним из первых, давшего бой бернштейнианству), Ленина, да и вообще большинства тогдашней социал-демократии. При этом противники Бернштейна в борьбе с ним опирались не только на авторитет Маркса и Энгельса, но и на собственный анализ обширного новейшего статистического и иного материала.

Однако и бернштейнианство всей этой критикой отнюдь не было убито, и, таким образом, в послемарксовском марксизме совершился первый глубокий теоретический раскол (в России это был раскол с так называемыми «легальным марксизмом» и «экономизмом»). Второй, не менее глубокий раскол, совершившийся вскоре после первого, также имевший международный характер, но раньше всего и с особой резкостью разделивший именно русскую социал-демократию, связан был ближайшим образом с именем Ленина, с появлением того, что принято у нас называть ленинизмом.

Почему я говорю отстраненно: «принято называть»? Потому что этот термин, на мой взгляд, неудачен. Усиленно внедрявшийся Сталиным, уже в год смерти Ленина выпустившим брошюру под названием «Об основах ленинизма», он заключает в себе некую презумпцию того, что Ленин как мыслитель един, что в своем оригинальном содержании его теоретические взгляды (а соответственно и политическая деятельность) представляют собой нечто более или менее целостное. Между тем это не так. Не в том смысле не так, что с течением времени взгляды Ленина развивались, обогащались новыми идеями, — это естественная черта всякой живой целостности. Возражать против термина «ленинизм» меня заставляет одно, но в высшей степени важное обстоятельство, на которое уже не раз обращалось внимание выше, — тот крутой поворот, который вызвал и сопровождал переход к нэпу и который сам Ленин обозначил чрезвычайно вескими словами: «перемена всей точки зрения нашей на социализм». Поворот, конечно, как извне, так и изнутри многим подготовленный, а с другой стороны, ни в какой мере не завершённый, оборванный смертью на самых первых шагах, но тем не менее настолько глубокий и радикальный, что Ленин эпохи «военного коммунизма» и Ленин своих последних работ — это во многом два разных человека, об одних и тех же вещах (ну, допустим, о торговле) высказывавшихся не просто

неодинаково, но часто диаметрально противоположным образом. Как же все это обнять одним понятием «ленинизма»?

Любопытная вещь: в упомянутой брошюре Сталин ни единым словом не касается указанного поворота; Ленин периода нэп для него как бы не существует (да и самое слово «нэп» не употребляется там ни разу!). Всего через пять лет станет понятно, что такая забывчивость (или выборочность по отношению к ленинскому наследию) отнюдь не была случайной.

Вернемся, однако, к вышеназванному второму расколу в марксизме.

Если бернштейнианство было ревизией марксизма и программы социал-демократии (как его партийного выражения) справа, то возглавляемый Лениным большевизм представлял собой отход от социал-демократического «центра» влево. Отход этот, внешним проявлением которого стало размежевание только что оформившейся РСДРП на меньшевиков (отечественный сектор того ортодоксального социал-демократизма, или центризма, который считал себя наиболее прямым престолонаследником марксистского учения и одним из ведущих представителей которого был Каутский) и большевиков (также, вместе с радикальным крылом в западноевропейской социал-демократии, претендовавших на это престолонаследие), обнаружился уже в самом начале XX века и довольно быстро превратил различие между названными течениями во все более непримиримое противоборство. При этом, в то время как «центр», храня верность марксистской классике и нередко с блеском ее защищая, искал в новых фактах действительности главным образом подтверждение старых истин и не предлагал сколько-нибудь существенного «нового слова», большевизм с течением времени все в большей степени приобретал самостоятельное идейное содержание, противостоящее не только бернштейнианству, но и центризму. В наиболее отчетливом виде оно проявилось, как известно, в ленинской концепции социалистической революции.

Не ограничивая свое значение национальными рамками, концепция эта все-таки имела в виду прежде всего Россию, что уже само по себе было более чем нетривиально.

В самом деле, если верно, что любая социалистическая революция, произойди она в прошлом или в нынешнем веке даже в странах капиталистически наиболее развитых, убивает общественный строй развивающийся и перспективный и вынуждена создавать самый базис будущего общества, систему его производственных отношений, то что же тогда сказать о самодержавной России, где капитализм имел за плечами всего полвека, где пролетариат, сосредоточенный в немногих промышленных центрах, составлял незначительное меньшинство населения, а огромное его большинство жило в деревне, лишь начинавшей — правда, все быстрее, особенно благодаря революции 1905 года и столыпинской реформе, — выходить из патриархального состояния? Ни о какой, даже минимальной, зрелости предпосылок для пролетарской революции, — если понимать их так, как понимали основоположники марксизма: ни экономических (общий уровень развития производительных сил и буржуазных производственных отношений), ни политических (рабочий класс, прошедший достаточно длительную школу классово-вой борьбы в условиях демократической республики), — в данном случае не приходилось и говорить. Допуская такую возможность, что «русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга» (19, 305), Маркс и Энгельс имели в виду русскую буржуазную революцию и удивлялись тем, кто мог в обозримый исторический период ждать какой-то другой.

Между тем общий смысл ленинских поправок и добавок к Марксу заключался преимущественно в том, чтобы мотивировать возможность и необходимость социалистической революции именно в такой, именно в этой стране.

Неравномерность экономического и политического развития как «безусловный закон капитализма»¹ и следующий отсюда «непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах»², он победит «первоначально

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 354.

² Там же, т. 30, с. 133.

в немногих или даже в одной, отдельно взятой капиталистической стране»¹, при этом необязательно в самой развитой, так как революционная ситуация может в определенных обстоятельствах возникнуть и там, где «нет, как выражаются разные «ученые» господа... объективных экономических предпосылок для социализма»²;

— характеристика России как страны, где все противоречия империализма, отягощенные неизжитым наследием крепостничества и политической реакцией, оказались особенно обострены, благодаря чему (а также «краху II Интернационала») центр мирового революционного движения переместился в Россию;

— лозунги превращения империалистической войны в гражданскую и непосредственного перерастания русской буржуазно-демократической революции в социалистическую, социальной базой которой является союз рабочего класса с беднейшим крестьянством, а руководящей силой — «партия нового типа», пусть немногочисленная, но монолитная, спаянная единством воли, целеустремленно и решительно действующая, — эти и другие положения Ленина в совокупности своей подводили теоретическую базу под невозможную для Маркса и Энгельса и их ортодоксальных учеников идею немедленной пролетарской революции в России. Вопрос об объективно-исторических предпосылках такой революции как формы перехода от капитализма к коммунизму при этом действительно уходил в тень. Если Бернштейн по сравнению с ортодоксальным марксизмом значительно превышал порог требований, осуществление которых могло сделать указанный переход возможным и оправданным, то Ленин, напротив, резко его понизил. На первый же план выдвигались вопросы практической осуществимости и условий успеха революционного переворота, совершаемого при благоприятном стечении обстоятельств хорошо организованным, сплоченным, ни перед чем не останавливающимся меньшинством.

Сумеют ли большевики взять, а взявши, удержать государственную власть, сумеют ли они силою этой власти подавить всех своих противников и начать строительство социалистического общества? — суть проблемы пролетарской революции состояла для Ленина именно в этом и едва ли не только в этом. В противоположность принципиальному реформисту Бернштейну, считавшему революционность злым духом марксизма (см. «Антибернштейн», с. 72) и в отличие от «центристов», которым слова Энгельса: «Маркс был прежде всего революционер» (19,351) — должны были бы казаться полемически односторонними, Ленин был, так сказать, революционер в квадрате. Недаром он вслед за Марксом не раз повторял девиз «мастера революционной тактики Дантона»: «смелость, смелость и еще раз смелость»³. А в заметках «О нашей революции» говорил: «Помните, Наполеон писал: «On s'engage et puis... on voit». В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет». Вот мы и ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой... И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу. Нашим Сухановым (то есть меньшевикам. — Ю. Б.), не говоря уже о правее их стоящих социал-демократах, и не снится, что иначе вообще не могут делаться революции»⁴.

Не нужно слишком сильного воображения, чтобы представить себе, что не только бернштейнцам, но и ортодоксально-марксистскому «центру» эти слова должны были прозвучать прямо-таки как манифест самого крайнего авантюристического революционаризма⁵.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 354.

² Там же, т. 45, с. 380.

³ См., например, Полн. собр. соч., т. 33, с. 307.

⁴ В. И. Ленин. Там же, т. 45, с. 381.

⁵ Я здесь не останавливаюсь на том, что в 1923 году, когда, с одной стороны, дело было сделано, а с другой — на Ленина надвинулись до мучительности трудные вопросы, как быть дальше, подобная ретроспективная оценка Октября имела в его устах существенно иной смысл, чем, скажем, могла бы иметь тремя-четырьмя годами раньше. Ленин с удовлетворением говорит о победе революции и даже, с определенными оговорками, ставит ее в пример будущим революциям Востока, но само то он при этом мало похож на торжествующего победителя. Общий тон заметок — это скорее тон самооправдания и тревоги. «Самооправдания» — не перед Сухановым, конечно, ибо ясно, что не для полемики с ним Ленин воспользовался трудно добытым разрешением Политбюро не более 10 минут в день что-то диктовать секретарю! — но перед своими учителями, в заочном диалоге с которыми он как бы просит принять во внимание вину и жестокость октябрьской победы: «Что если полная безвыходность положения, удесятерять тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию

Впрочем, к тому моменту, когда писались заметки «О нашей революции», взаимные отношения трех основных течений в марксизме были уже сформированы давно и прочно. Последняя точка в этом отношении была поставлена еще в 1918 году, когда несколько абстрактно звучащий тезис Маркса о диктатуре пролетариата предстал перед европейскими социал-демократами в конкретной ленинской расшифровке — как «власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами»¹, а главное — в такой «общественной практике», что им оставалось лишь молить бога, чтобы по крайней мере в их цивилизованных странах не наступило что-либо подобное. В тот год автор «Антибернштейна» выпустил брошюру «Диктатура пролетариата», прямо обращенную против большевиков как узурпаторов власти и душителей демократии, и тотчас получил в ответ гневную отповедь Ленина в виде книги «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Круг, таким образом, замкнулся. Горький упрек в ренегатстве («видный марксист, один из «наиболее ярких ортодоксов», пишет книгу, в которой торжественно сжигает все, чему до сих пор поклонялся, и поклоняется всему, что сжигал»), адресованный в свое время Бернштейну Каутским («Антибернштейн», с. 25), с удешевленной резкостью брошен был теперь ему самому. Каутский, внушавший Бернштейну, что «лишить марксизм его революционности равносильно лишению его жизни» (там же, с. 72), уже по собственному адресу слышал, что он и ему подобные «из марксизма... выхолащивают его революционную живую душу...»². Каутский, характеризовавший эволюцию Бернштейна как превращение марксиста в либерала, буржуазного демократа, имел теперь возможность прочесть о себе как о человеке, который «дошел до виртуозности в... искусстве быть марксистом на словах, лакеем буржуазии на деле»³. Ну и, разумеется, тоже не остался в долгу.

Кто был более прав в этих спорах — рассудит история. А пока просто констатируем факт: два глубочайших раскола и в результате — три основных течения в марксизме начала XX века, различающихся между собой прежде всего по одному главному признаку — по степени своей революционности, по своему отношению к идее пролетарской революции. А соответственно — и по своему отношению к наследию основоположников марксизма.

Первое — «бернштейнианство» (в разных его национальных и индивидуальных вариациях). Это марксизм минус революция (а тем более диктатура пролетариата), марксизм, освобожденный от своей уже устаревшей, немодной, ограниченной (хотя еще продолжающей оставаться опасной) классовой непримиримости; это исторически наиболее ранняя попытка создать симбиоз марксизма с либерализмом.

Второе — «каутскианство». Это марксизм, свято верный заветам основоположников... «но воин скромный среди мечей». Он теоретически за пролетарскую революцию и при определенном стечении условий не исключает диктатуру пролетариата, но его революционность, уравновешенная парламентаризмом, охлаждена скепсисом в отношении «зрелости предпосылок» и многими другими вполне резонными соображениями, в совокупности сводящимися к щедринскому «надобно погодить».

Третье — «ленинизм» (со сделанной выше оговоркой насчет условности использования этого термина: ленинизм без Ленина того периода, который нам как раз сегодня близок). Это марксизм, целиком сохраняющий, даже в усилен-

основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западно-европейских государствах? Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории?» (там же, с. 380).

Нет, конечно, — можно было бы ответить автору, — общая линия мировой истории от этого не изменилась, но мы-то, к сожалению, выпали из нее. Ведь революция как раз и занималась тем, что на захваченной ею территории пресекала, сметала важнейшие общемировые «посылки цивилизации», чем, в свою очередь, предопределяла (хотя и не без альтернатив) путь развития, уводящий далеко в сторону от «общей линии мировой истории». Что касается тревоги, то она здесь дает себя знать обильнее не по-ленински неуверенных, вопросительных интонаций. Как и во всех последних выступлениях Ленина (статья «О кооперации», лихорадочные попытки найти способ противостоять наступлению партийно-советского бюрократизма, великодержавности, бесконтрольной узурпаторской власти и пр.), внутренней темой заметок являются его тяготеющие предсмертные раздумья о перспективах страны и революции.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 245.

² Там же. т. 37, с. 238.

³ Там же. с. 242.

ном виде, а главное, претворяющий в жизнь свою изначальную пламенную революционность, но по необходимости делающий это ценой отказа от ряда важнейших постулатов марксистской философии истории. В том числе — и главное — от представления о развитии общества как об объективном естественно-историческом процессе, где социальная революция лишь доделывает работу, уже в основном выполненную предшествующим эволюционным процессом (а не наоборот), где переход от одной общественной формации к другой, в том числе от капитализма к коммунизму, наступает как реализация революционным классом исторически назревшего и неизбежного, а отнюдь не по произволению той или иной радикальной партии, уловившей благоприятный момент для своей дерзкой попытки. То есть хотя это по многим позициям тоже марксизм, но, если вдуматься, настолько далеко ушедший от первооснов учения, что никаким «своеобразием» и никаким «творческим развитием марксистской теории» тут не обидешься. Поэтому, к стати сказать, мне не кажется оправданным и другой общепринятый у нас термин — «марксизм-ленинизм». По причинам, изложенным выше, он имеет, на мой взгляд, не больше прав на существование, чем, например, «марксизм-бернштейнство» или «марксизм-маоизм».

Вернемся, однако, к основной нити нашего рассуждения. Неизбежный вопрос: чем объясняются как множественность модификаций марксизма в XX веке, так и почти изначальная удаленность их друг от друга, быстро перешедшая в яростную взаимную борьбу?

Поиски ответа естественно начать с самого марксизма, в первоначальном, классическом его содержании. И тут не нужно никакого специального анализа, чтобы заметить, что при всей своей монолитной целостности это явление весьма многогранное. Революционер сосуществует в Марксе с ученым, и хотя эти начала в целом, в основном питают и усиливают друг друга, их взаимные отношения не полностью бесконфликтны. Остро чувствуя страдания трудящихся масс, бесчеловечие такого порядка вещей, который не только обрекал рабочего человека на пожизненную изнурительную и безнадежную борьбу за существование, но и убивал его личность, превращал в некое сугубо функциональное, «частичное» существо, а по использованию выбрасывал как ненужную ветвь¹, посвящая борьбе с этим порядком все свои душевные силы, Маркс и Энгельс всегда² оставались вместе с тем реальными политиками, трезвыми и объективными аналитиками происходящего. Пронеся через всю свою жизнь убеждение в близкой гибели капиталистической формации и даже подчас называя вероятные сроки³, они, однако же, столь же часто указывали на то, что путь к победе тернист и, быть может, долог⁴, и предостерегали рабочий класс от преждевременных, недостаточных подготовленных выступлений⁵. Известно, с каким восхищением писал Маркс о Парижской Коммуне как первом опыте социалистической революции, но ему же принадлежит и, например, такое замечание в письме к Ф. Д. Ньювенгейсу (1882): «...Обладея некоторой долей здравого смысла, она могла бы добиться выгодного для всей народной массы компромисса с Версалем, — единственно, что тогда было достижимо» (35, 132). С одной стороны, через все творчество Маркса и Энгельса проходит идея насильственного свержения буржуаз-

¹ Здесь главная точка пересечения марксизма и с Диккенсом, и с Гюго, и с Некрасовым, и с Достоевским, и со всей вообще нашей классикой — печальницей за народ.

² С теми оговорками, которые вытекают из изложенного в предыдущих главах.

³ Энгельс 90-е годы: «Речь идет лишь о том, чтобы подождать каких-либо десяти лет» (22, 256); «...возможно, что к 1898 г. мы придем к власти» (38, 163).

⁴ Энгельс — Э. Бернштейну (1883): «...Существует... убеждение, что если будет свергнут нынешний режим, то мы придем к власти. Это чепуха. Революция — длительный процесс, сравни 1642—1646 и 1789—1793 гг., и для того, чтобы условия созрели для нас, а мы для них, все промежуточные партии должны поочередно прийти к власти и обанкротиться. Тогда придет наша очередь, и возможно, что мы еще раз временно потерпим поражение, хотя при нормальном ходе вещей я считаю это маловероятным» (36, 33).

⁵ Маркс (1850): «Мы посвящаем себя партии, которая, к счастью для нее, как раз не может еще прийти к власти. Пролетариат, если бы он пришел к власти, проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобуржуазные меры. Наша партия может прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят проводить в жизнь ее взгляды» (8, 584). Энгельс (1884): «...Меня радует, что наши еще не достаточно сильны в Париже... чтобы позволить спародировать себя при помощи революционной фразы на какой-нибудь путч» (36, 139).

ного строя. С другой — допущение Маркса, что «Англия является единственной страной, где неизбежная социальная революция может быть осуществлена всецело мирными и легальными средствами» (23, 34) и идущее еще дальше предположение Энгельса (1891): «Можно себе представить, что старое общество могло бы мирно врати в новое в таких странах, где народное представительство сосредоточивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать все, что угодно, если только имеешь за собой большинство народа: в демократических республиках, как Франция и Америка, в таких монархиях, как Англия, где... династия бессильна против воли народа» (22, 236—237).

Не ясно ли, сколь различными могли быть «продолжения» такой живой, подвижной, диалектически сложной позиции в качественно новых исторических условиях и какую различную расстановку акцентов она в этом смысле не то что допускала, но как бы даже предопределяла?

И все же главное-то, конечно, не в этом. Не в свойствах классического марксизма, каковы бы они ни были, а в свойствах самой действительности конца XIX — первой четверти (трети) XX века. В ее кризисном состоянии, в ее глубокой противоречивости, в одновременном развитии таких социально-экономических тенденций, которые, казалось бы, с равной силой толкали тогдашнее капиталистическое общество в прямо противоположных направлениях. Гигантские концерны, вызванные к жизни новой промышленной революцией (электричество, двигатель внутреннего сгорания, химия), многомиллиардные состояния всяческих Рокфеллеров в вызывающем контрасте с положением трудящихся, из которых, несмотря на сокращение рабочего дня, конвейер и другие потогонные системы организации труда выжимали все жизненные соки, а повышение заработной платы, поднимая до уровня «средних слоев» одних, большинству рабочих и мелких служащих все еще не позволяло оторваться от черты полуголодного прожиточного минимума. Их недовольство, злое отчаяние — бомба, готовая взорваться в любую минуту. Капиталистический мир, на глазах богачей, переживает вместе с тем неустойчивое, двойственное состояние, в равной мере характеризующееся возрастающей возможностью как самостабилизации и мирного прогресса, так и глобальных революционных потрясений, вероятность которых вдруг оказывается во много раз увеличена бедствиями, принесенными чудовищной по своей нелепости мировой империалистической войной.

Разумеется, социальная действительность никогда не бывает одноцветна, никогда не укладывается ни в какие схемы. Противоречивость — ее всегдашнее состояние. Но все же при этом в ней обычно можно выделить какую-то доминанту, какую-то достаточно явную для всех равнодействующую противоборствующих общественных сил. Такова была и действительность XIX века, отраженная и теоретически осмысленная в «Капитале», ставшая почвой мировоззрения Маркса и Энгельса, источником их неслабеющей убежденности в правоте своих идей, равно как и быстро расширяющегося влияния последних на демократическую интеллигенцию и рабочий класс. Начало, даже только начало, века, до которого они не дожили, — это было уже совсем другое время. Это был один из тех переломных, кризисных моментов мировой истории, когда доминирующая тенденция (а соответственно и перспектива) общественного развития отнюдь не была очевидна, в том числе и для самых умных, внимательных глаз, не ослепленных партийными страстями. Знаменательно, что именно к 1917 году относятся известные, часто цитируемые слова Ленина о том, что любая социальная концепция может при желании найти себе в подтверждение достаточное число подходящих фактов...

Сказанное, пожалуй, объясняет (лучше сказать, дает направление для объяснения), почему в XX веке марксизм не мог сохранить своей прежней целостности, — не отменяемой ни ее внутренней сложностью, ни наличием у него своих слабых сторон, — не мог не распасться на резко различные и враждующие между собой течения. И почему среди множественности таких течений не оказалось ни одного «настоящего», вполне аутентичного марксистской классике. Наконец, почему между ними довольно долгое время поддерживалось, так сказать, рав-

новесие сил, не позволявшее ни одному из этих течений одержать решающую победу над остальными.

Десятилетиями шла острейшая «борьба идей». Казалось, враждующие стороны никогда не примирятся, даже не сядут за стол переговоров. Достаточно вспомнить взаимоотношения между II (Социалистическим) и III (Коммунистическим) Интернационалами в 20-е, а особенно в 30-е годы, когда уже это стало вопросом жизни и смерти для тех и других, когда за свою неспособность прийти к компромиссу хотя бы перед лицом фашистской угрозы немецкие коммунисты и социал-демократы вскоре расплатились собственной кровью, а затем и кровью тех народов, на земли которых наступил гитлеровский сапог. Если наши, советские отношения с тем же Гитлером знали и моменты нежной дружбы, то социалисты, социал-демократы на протяжении жизни целого поколения людей оставались для нас не иначе как «социал-предателями» и «прихвостнями буржуазии».

И все же чего только не делает в конце концов неумолимое время!..

Повторяю, я далек от мысли писать историю идейной борьбы в марксизме XX века и потому от «эпохи империализма» позволю себе перешагнуть сразу в наш сегодняшний день, чтобы посмотреть, что же за истекшие полвека произошло в положении основных участников турнира. Речь, понятно, не о лицах. В 1924 г. умер Ленин, в 1932-м — Бернштейн, в 1938-м — Каутский. Речь о судьбе их идей, о тенденциях, которые они представляли.

Бернштейнианство (правое крыло в социал-демократии). Я не без умысла начал эту главу сравнительно подробным изложением позиций Бернштейна. Полагаю, что если непредубежденный читатель заново перелистает ее первые страницы, то согласится с тем, что едва ли не все на них представленное — на сегодняшний взгляд уже просто-напросто общее место. Что сейчас можно этому противопоставить всерьез? Как «ревизионизм» Бернштейна (критика ряда положений Маркса с опорой на некоторые новые тенденции, забрезжившие в тогдашнем капиталистическом обществе), так и его «реформизм» (программа действия, вытекавшая из установки на эволюционное развитие этих тенденций, подталкиваемое борьбой рабочего класса и других демократических сил) — это то, к чему сегодня в той или иной форме пришли все его сколько-нибудь серьезные, умственно честные оппоненты слева. Одни открыто, другие смущаясь и пряча глаза, но все они вернулись к тому, от чего в свое время решительно и даже с отвращением оттолкнулись. Не потому, что оказались менее сильными интеллектуально или нестойкими в борьбе, а потому, что так распорядилось время. По той же причине современные бернштейнианцы, опираясь на успехи особенно послевоенного Запада, пошли гораздо дальше своего учителя и, вероятно, подчас снисходительно критикуют его за половичатость, излишнюю осторожность. Если так, то это было бы одним из проявлений, увы, обычной несправедливости младших поколений к старшим: ведь, решаясь поставить под сомнение некоторые из своих прежних убеждений, Бернштейн видел перед собою мир, еще как земля от неба далекий от нынешнего.

Каутсканство, а точнее, вся остальная часть социал-демократии, ее большинство. За 90 лет после выхода «Антибернштейна» и особенно за последние 40—50 лет оно становилось все терпимее к своему изначальному противнику, все более сближалось с ним, уступая ему одну позицию за другой. Его ортодоксально-марксистская революционность становилась с течением времени все более ритуальной, словесной, постепенно вытесняясь оппортунизмом, как — в зачаточном виде — определил эту тенденцию еще Энгельс (см. 22, 237). Тезисы о пролетарской революции и диктатуре пролетариата довольно долго держались в программных документах социал-демократии, но все больше как дань священной традиции, а не как реальный ориентир в повседневной политической деятельности. Претворение их в жизнь по вполне почтенным соображениям политического реализма откладывалось на все более отдаленное будущее. А со временем они и вовсе выпали из социал-демократических программ, перешли на положение сначала «забытых слов марксизма» (Ленин), а затем и вовсе таких, которыми не принято пользоваться в хорошем обществе. Реально же как в про-

граммных установках, так и в практической деятельности (в том числе все чаще в качестве правящей партии, формирующей правительство либо входящей в правительственную коалицию) социал-демократия в возрастающей степени превращалась из партии рабочего класса в общедемократическую (обычно левоцентристскую) партию, из партии революционных преобразований в партию постепенных и умеренных социальных реформ.

Конечно, в каждой стране подобные превращения совершались в разные сроки и в несколько различных формах, где с большей, где с меньшей внутренней борьбой, но направление процесса и его результаты повсеместно были примерно одинаковыми, а суть его можно определить одним словом: «бернштейнизация». К настоящему времени этот процесс в развитых странах давно уже завершился. 60 лет тому назад, когда Ленин писал, что «рenegат Бернштейн оказался щенком по сравнению с ренегатом Каутским», который совершил «такое полное отречение от марксизма, что... далеко опередил Бернштейна»¹, — это было, конечно, сказано в ярости и представляло собой явное полемическое преувеличение, рассчитанное лишь на то, чтобы побольнее задеть противника. Но столь же очевидно, что нынешние «каутскианцы» (имея в виду теперешний социал-демократический «центр») в громадной степени больше бернштейнианцы, чем сам Бернштейн.

«Ленинизм» («марксизм-ленинизм»), официальная идеология социалистических стран, а также коммунистических партий в капиталистическом мире. Он, как известно, дольше всего противился искушениям не только бернштейнианства, но и социал-демократизма вообще, вел с ними чуть ли не столетнюю войну, в ходе которой не раз объявлял о своей победе. Так, в статье «Международный характер Октябрьской революции», написанной к десятилетию Октября, Сталин торжественно провозглашал: «Отныне единственным носителем и оплотом марксизма является ленинизм, коммунизм. /.../ Нынешний социал-демократизм есть идейная опора капитализма. /.../ Невозможно покончить с капитализмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении. Поэтому эра умирания капитализма является вместе с тем эрой умирания социал-демократизма в рабочем движении. Великое значение Октябрьской революции состоит, между прочим, в том, что она знаменует собой неизбежную победу ленинизма над социал-демократизмом в мировом рабочем движении. Эра господства II Интернационала и социал-демократизма в рабочем движении кончилась. Наступила эра господства ленинизма и III Интернационала»².

Увы, товарищу Сталину гораздо лучше удавалось «покончить» с людьми, чем с эрами. Все получилось совсем не так, как он указал. «Эра умирания капитализма», а вместе с ней и «эра умирания социал-демократизма в рабочем движении» по крайней мере сильно затянулись, и ничто нынче не свидетельствует о близости их конца. Зато «эра господства (!) ленинизма» (не говоря уже о III Интернационале, просуществовавшем после этого всего 16 лет) оказалась намного короче. В этой связи стоит вспомнить еще одно сталинское изречение; теперь уже обычно без имени автора, оно имеет хождение и поныне: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции»³. Связь ленинизм с «эпохой империализма и пролетарской революции», — а она оказалась как раз недолгой, — Сталин, сам того не желая, обозначил не только «нижнюю», но и «верхнюю» временную границу непосредственной исторической значимости ленинизма (напомню: ленинизма в его толковании, ленинизма без нэпа), его временный, переходящий характер.

В самом деле, что наблюдаем мы сегодня, прежде всего в капиталистическом мире? Какое уж там «господство»! Неуклонное падение значимости коммунистических партий — даже там, где еще лет двадцать назад они могли претендовать на вхождение в правительство (Франция, Италия). В подавляющем же большинстве стран это и вовсе маленькие группки, мало кому известные, не ока-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 250, 240.

² И. Сталин. Соч., т. 10, с. 249—250.

³ Там же, т. 6, с. 71.

зывающие почти никакого влияния на общественную жизнь. Но это все же внешняя сторона дела. А внутренняя состоит в том, что в условиях западного «богатого общества» и коммунистическим партиям не осталось ничего другого, как вслед за социалистическими постепенно превратиться из классовых, пролетарских, революционных в партии «демократического социализма», демократических социальных реформ, отличающиеся от партий Социнтерна лишь несколько более радикальной окраской.

Выражением такого превращения явилось выпадение из все большего числа партийных программ святая святых «марксизма-ленинизма» — лозунга диктатуры пролетариата, а также идея никоим образом не насильственной социалистической революции, не предполагающей ни отмены частной собственности, ни ломки институтов «буржуазной демократии» — практически ничего, кроме расширения государственного сектора, более активной социальной политики, более энергичных антимонополистических мероприятий. В 60-е годы, когда эта тенденция была еще вновь, его окрестили словом «еврокоммунизм» (в нашей печати писавшимся только в кавычках), как бы подчеркивая тем самым его сугубо локальный характер. Рассуждали, видимо, так: ну что ж, вошла, дескать, им в голову некая блажь, как вошла, так и выйдет, проявим терпение. Блажь, однако, получила все большее распространение; реформизм постепенно стал в коммунистических партиях (о «коммунистическом движении» сейчас уже почти не упоминают) нормой, так что сегодня «средний» западный коммунист — это человек по крайней мере не более радикальный, чем «средний» же социал-демократ полвека назад и чем тот же Бернштейн в 1899 году.

Таким образом, вместо обещанного Сталиным «господства» ленинизма и базировавшегося на нем коммунистического движения мы повсеместно наблюдаем глубокий кризис этого движения, его «социал-демократизацию», «бернштейнизацию». Разумеется, еще с сохранением между коммунистическими и социалистическими партиями известной дистанции — как в отношении тех и других к Марксу и Ленину, так и в политической тактике, — но не более того.

Ну а официальный ленинизм социалистических стран? Может быть, хотя бы он продолжает оставаться «оплотом марксизма»? Куда там! Возведенный в ранг официальной идеологии, не подлежащей не то что критике — самым лояльным и осторожным сомнениям, он пережил худшее, что ему могло угрожать. Не просто «выхолащивание» и «засилье догматизма», как стали говорить с некоторых времен. Полностью утратив свою духовную самостоятельность, он превращен был в лакея, идеологически обслуживающего (и, конечно, во всем оправдывающего) антинародный диктаторский режим, начисто освобожденного своим господином как от мысли, так и от совести. Воистину, это было хуже, чем смерть. А когда ему наконец позволили выйти из этого жалкого состояния, то первыми же его словами стали «конкуренция», «допущение частной собственности», «правовое государство», «парламент», «стачечный комитет», «многопартийность», «приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми» и т. д. и т. п. Словом, весь лексикон трижды проклятого «демократического социализма», в порядке дискуссии с которым в Венгрии в 1956-м и в Чехословакии в 1968 году пришлось пускать в ход наши танки, в Польше в 1980 году вводить военное положение, а в Китае в 1989 году расстреливать студентов. И который тем не менее с силой травы лезет и лезет из всех пор «социалистической системы». Что делать! Гони природу в дверь — она войдет в окно. Объективный ход вещей сильнее любых благих намерений, любых обетов, запретов и заклинаний. В этом смысле XX век лишь подтвердил правоту Маркса. От Нью-Йорка до Токио, от Стокгольма до Мадрида и от Будапешта до Москвы мы все теперь, с теми или иными оттенками, социал-реформисты, а значит, в известном смысле все бернштейнианцы. Притом это почти в равной степени относится не только к тем, кто когда-то был левее Бернштейна, но — и правее его. Ибо и сегодняшний христианский демократ или английский консерватор, если они ориентированы на реальную и ответственную социальную политику, не могут не быть в своем роде социал-реформистами. Совершенно независимо от того, как они относятся

к идеям «демократического социализма» и говорит ли им что-нибудь имя Эдуарда Бернштейна.

Просто-напросто таков дух времени. Таков современный мир.

Итак, старый марксизм принадлежит истории, уже далеко от нас отошедшей. Возможен ли новый, обновленный марксизм?

Для многих тут нет и вопроса. Разве и в настоящее время миллионы людей не считают себя марксистами, и в то же время разве они обязательно догматики? Разве не внесли они в свои марксистские представления большее или меньшее число существенных коррективов? Кто от Вебера и Белла, кто от Вл. Соловьева и Бердяева — вариаций много, на любой вкус. И не эти ли люди составляют сейчас интеллектуальную элиту марксистской мысли?

Да, конечно. Однако я полагаю, что в свете изложенного существуют веские основания усомниться в качестве их марксизма. Они не догматики, это верно, но они эклектики. Более или менее беззаботно они соединяют в своих головах, сочинениях, а порой и в руководящих речах вещи, логически взаимоисключающие: обрывки действительно марксистских представлений с тем, что к марксизму не только не имеет ровно никакого отношения, но находится в прямом противоречии с ним. И не дают себе серьезного труда как-то примирить эти противоречия, сопрячь надерганное отсюда и отсюда в рамках какой-то новой духовной целостности.

Ибо плох или хорош марксизм, но он целостен. Он не машина, в которой можно оставить одни, хорошо работающие части, а другие, устаревшие, отвинтить, заменить улучшенными, современными и ехать на ней дальше. Марксизм нельзя освободить от таких невыгодных на сегодняшний взгляд «деталей», как убеждение в близкой гибели капиталистического строя в результате неразрешимого обострения его коренных экономических и социальных противоречий, как классовый подход при рассмотрении любых общественных явлений, как идеи социалистической революции и диктатуры пролетариата, — освободить и при этом считать, что имеешь дело все-таки с марксизмом. Ведь это примерно то же самое, как, освободив человека от сердца, легких и печени, продолжать как ни в чем не бывало обращаться к нему за советами и указаниями.

Конечно, позиция эклектика — всегда самая выигрышная и подчас весьма респектабельная, но по бесплодности своей она ничуть не уступает самому замшелому догматизму. Те, кто сегодня выступает от имени «современного марксизма» («современного марксизма-ленинизма» тож), либо морочат нам голову, либо в лучшем случае сами не ведают, что творят. Ибо «современный марксизм» — это жареный лед.

Всякому овощу свое время. Марксизм — продукт своего времени, и с этим ничего нельзя поделать. Никакая даже самая глубокая социальная теория, родившаяся полтора столетия тому назад, не может служить «руководством к действию» в обстоятельствах, изменившихся столь сильно, что в пору — в другом, не предвиденном Марксом смысле — вспомнить его слова насчет предыстории и истории человеческого рода. Либо уж это, вправду, должна быть тогда не просто теория, а нечто вроде религии, некая, по его же словам, «универсальная отмычка в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности» (19, 121)...

Значит ли все это, что марксизм уже сыграл свою роль и больше не нужен? Мне представляется, что думать так было бы не меньшим заблуждением, чем жить с головой, повернутой назад либо набитой кашей из Маркса и Вебера, Бердяева и Конст. Леонтьева. Просто надо взглянуть на него совершенно по-иному. Ленин перед смертью сказал о необходимости «перемены всей точки зрения нашей на социализм». Примерно такая же по глубине перемена нужна нам сегодня в отношении к марксизму. Суть ее — перестать относиться к нему, во-первых, как к истине в последней инстанции, во-вторых, как к явлению современной жизни, перестать видеть в нем «идеологию современности». И тогда все сразу станет на свои места: и марксизм (в открытом, корректном, сближающем диалоге с любыми другими общественно-историческими идеями и теориями) еще

послужит человечеству, и для ревизионизма, между прочим, исчезнет всякая почва.

Сейчас мы все (включая и тех, кто не подозревает об этом) ревизионисты в большой мере поневоле только потому, что в качестве вечных истин нам и через сто лет после смерти Маркса продолжают навязывать то, что отчасти успело устареть уже в эпоху Бернштейна. Стоит вернуть марксизм в его реальные временные рамки, стоит из разряда господствующей идеологии и «руководства к действию» «переквалифицировать» его в теоретическое обобщение исторически ограниченного социального опыта прошлого и начала нынешнего века, как тотчас на свете не останется ни одного ревизиониста.

Это не значит, что марксизм перестанут критиковать. Напротив, можно надеяться на то, что критическое осмысление марксизма в его взаимоотношениях с меняющейся действительностью поднимется на более высокую ступень, станет более глубоким, системным, историчным, конструктивным. Но поскольку это будет уже не война, а именно критика, смысл и тон ее станут совершенно другими. А главное, при таком изменении взгляда и самый марксизм сразу же повернется к нам не столько слабыми, сколько сильными своими сторонами.

Действительно, многое зависит от взгляда. Перемените угол зрения, посмотрите на Маркса и Ленина не как на окаменевшее в своем величии «начальство», которому можно только отдавать честь и кланяться, а как на людей, которые жили когда-то в ином, уже далеко от нас и не без усилия понимаемом нами мире и умерли раньше, чем большинство из нас появилось на свет,— можно предположить, что в таком случае их заблуждения покажутся вам хотя бы отчасти извинительными, а их обретениям и прозрениям вы сами по доброй воле дадите справедливо высокую цену. Иными словами, вместо «ахиллесовой пяты», сейчас поневоле приковывающей ваше повышенное внимание, вы в полный рост увидите самого Ахиллеса — самого могучего из героев Гомера.

Скажут, пожалуй: это будет мертвый Ахиллес.

Да, разумеется. Но, во-первых, мертвый не становится живым оттого, что мы условимся не считать его мертвым. А во-вторых, не мертвы ли, например, и Толстой, Достоевский, Шекспир, Гете, Кант? Разве их мысль, их гений, их значение для нашего духовного существования умерли вместе с ними? Стоит марксизму сбросить мундир официальной идеологии, давно уже истлевший на его плечах, как он станет интересен сам по себе, а не для стола под красной материей и не для зачетной книжки. В самом деле, разве не интересно сейчас в свете опыта нашего века (опыта «реального социализма» в том числе) заново и всерьез обдумать такие, например, «истматовские» темы, как соотношение общественного бытия и общественного сознания, базиса и надстройки, личности и общества, стихийности и сознательности, исторической необходимости и свободы,— тем более, что в каждой из них, если слегка копнуть, гнездится нечто остро актуальное для сегодняшнего дня, для судеб той же перестройки, например.

А возьмите столь жгучую сегодня проблему национальных отношений и свободно, не робея перед Владимиром Ильичем, не теряясь перед категоричностью его суждений, взвесьте как сильные, так и слабые стороны его позиции в этом вопросе. Его лозунг «права наций на самоопределение», его яростная борьба против великодержавного шовинизма как основа демократических взаимоотношений в многонациональном государстве покажутся вам, пожалуй, более «перестроечными», чем многое из того, что предлагается сегодня, а с другой стороны, решительное неприятие им лозунга «культурно-национальной автономии», возможно, вызовет большие споры. То же и с нэпом. Противоречивость этой наиболее светлой страницы советской истории, противоречивость самих ленинских работ, относящихся к этому, последнему и лучшему, периоду его политической биографии,— как непосредственно важно для наших ближайших перспектив обсудить их совершенно свободно, не ежась заранее от обвинения, что посягаешь на святыню. И опять-таки как интересно!

Те, кто противится десакрализации фигур Маркса, Энгельса, Ленина, забываются не о них, а единственно о самих себе. О своих нынешних постах и завтрашних пенсиях, о привычном комфорте своего существования. И это как раз

тот случай, когда усердие жрецов лишь разрушает веру в бога. Официальное почитание классиков марксизма, тем большее, чем дальше многие из их идей расходились с действительным ходом истории, совершало с ними то, чего не пожелаешь и лютому врагу: убивало их вторично. Напротив, сойдя с пьедесталов, они обретают способность вновь реально войти в нашу жизнь. Не в качестве непогрешимых учителей или — еще меньше — «наших современников», как принято льстить выдающимся покойникам (возможно, и не захотевшим бы принять подобной чести), но в качестве полномочных, хотя и не единственных, представителей именно своего времени, чей опыт — и по сходству, и по контрасту с нашим собственным — весьма ценен для наших сегодняшних размышлений и выбора, для выработки действительно современного миропонимания.

Какие очертания оно примет — этого, пожалуй, сегодня не скажет никто. Можно лишь предполагать, что в противоположность прежней непримиримости люди постепенно научатся видеть в добросовестном инакомыслящем не врага, а партнера, что, признавая естественным и полезным плюрализм мнений, будут в каждом из них, даже самом экстравагантном, искать присущую ему крупницу истины, то есть человечности. И пытаться сблизить, сращивать эти крупницы между собою. Иными словами, основанное на широко понятом критерии человечности, современное миропонимание будет, мне кажется, в возрастающей степени включать в себя сознательное стремление к синтезу, в равной мере далекое как от сектантской односторонности, так и от эклектического смешения всего и вся. Признаки такого стремления, подкрепляемого и стимулируемого объективным ходом вещей, все отчетливее прорисовываются в наше время. Если это предположение верно, то можно надеяться, что складывающееся современное миропонимание, не будучи ни исключительно, ни хотя бы доминантно марксистским, не сможет не вобрать в себя многого из марксистской традиции — на равных правах с тем, что дали или дадут другие течения человеческой мысли.

Так или иначе, каждая новая эпоха вырабатывает свое, адекватное ей миропонимание заново и самостоятельно. Нынешняя — тоже. Как и отдельный человек, она имеет право сказать словами Твардовского:

Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму.
Только за мной остается решенье,
Что не принять за меня никому.

Да, да, надо думать и решать самим. Хватит строить наше настоящее и будущее на формулах столетней давности, хватит прятаться за спину классиков марксизма, равно как и перекладывать на них всю ответственность за нашу судьбу. Они в ней изрядно поучаствовали, это верно, но все же, что ни говори, их давным-давно нет на свете. Так что главная-то ответственность нынче не на них, а на нас с вами. В особенности на тех, кто сегодня у власти. Применительно к нашей стране, это ответственность и за Афганистан, и за Чернобыль, и за неспособность преодолеть прогрессирующий хозяйственный развал, и за эпидемию межнациональных страстей, и за попытки обуздать процесс демократизации — единственную надежду нашего общества.

Конечно, удобно и покойно с новыми словами на устах, но вполне по-старому, как и десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад, сидеть за упомянутыми красными столами на фоне высокой мраморной фигуры с протянутой рукой и словно бы у нее под защитой. Однако если и дальше намерены мы находиться в таком положении, то как бы не превратилась она в ту статую Командора, вместе с которой мы все, и теперь уже окончательно, провалимся в тартарары.

Продолжение знакомства

Много лет двенадцатый номер журнала, последний в году, редакция «отдает» молодым писателям, новым для литературы именам. И все это время у нас возникал вопрос: а нужно ли это делать? Ведь писатель должен быть прежде всего писателем, и никому нет дела до того, молодой он или не молодой. В такой постановке вопроса, конечно же, был резон. Но тем не менее рубрика «Новые имена» выжила. Иногда до предела уменьшаясь в объеме, она все же продолжала существовать даже в период ошеломляющих журнальных публикаций, когда каждый номер буквально трещал от обилия первоклассных материалов. Сколько же авторов обязаны этой рубрике своим появлением на свет! От «всемирно известной» Т. Толстой до незаметно пишущих хорошую прозу «во глубине России» А. Будникова, А. Ягодкина, В. Бушняка и других.

В этот раз над подборкой рассказов молодых писателей вместо традиционной шапки «Новые имена» нам пришлось поставить другую. Дело в том, что имена этих авторов для «Октября» не новы и уже знакомы нашим постоянным читателям: в разное время писатели эти дебютировали на страницах нашего журнала.

Увы, далеко не всем из них удалось с тех пор пробить по-прежнему крепкие стены других изданий. Таким образом, не востребовавшим молодым и уже не очень молодым авторам не оставалось ничего другого, как опять стучаться туда, где им однажды повезло.

В свою очередь, редакция пошла им навстречу и решила открыть новую рубрику — «Продолжение знакомства», которая будет представлена также и в следующих номерах журнала.

А. МИХАЙЛОВ.

Дмитрий БАКИН

Листья

Мальчишкой двенадцати лет он пришел в поселок со стороны поля, так что река была у него по левую сторону, а лес по правую, и прежде чем попасть в поселок, прошел через кладбище без ограды по тропинке, усыпанной речным песком, и его босые ноги, нечувствительные к острым камням и битому стеклу, чувствовали неизменный холод земли. Он пересек пустырь, миновал дом на отшибе, не постучавшись, потому что знал — на отшибе живут угрюмые, жесткие люди, готовые к бегству, — миновал второй дом, потому что тот был слишком велик, миновал обломки третьего дома, а в четвертом был принят грязным одноруким мужчиной и крепкой подслеповатой женщиной, семнадцать лет бездетности ожидавшими прихода Иисуса Христа. Некоторое время они молча смотрели на него, потом ушли в соседнюю комнату и о чем-то тихо говорили, потом вернулись. Однорукий мужчина сел за стол, а женщина стояла сбоку и смотрела в стену. Мужчина спросил — ты откуда?; он молчал, глядя мужчине в грудь; женщина сказала — ты родился в этом доме до войны; глядя мужчине в грудь, он сказал — нет; мужчина поднял руку и указательным пальцем ткнул в сторону незастеленной кровати — вот здесь; он сказал — нет; мужчина хмуро сказал — ты родился двенадцать лет назад, тебе двенадцать лет, ты родился в августе; женщина, по-прежнему глядя в стену, сказала — в первое воскресенье сентября; мужчина повернул к ней застывшее, сосре-

доточенное лицо, челюсть его задвигалась, потом отвернулся и сказал — в сентябре; он сказал — нет; мужчина встал и сказал — точка.

Наутро он был умыт, подстрижен, накормлен супом из крапивы и приборг гвоздями к фамилии Бедолагин. Три раза он пытался бежать из дома однорукого мужчины и подслеповатой женщины и три раза был пойман — два раза в лесу, где ел улиток после дождя, отыскивая их под камнями или отдирая от намокших коряг, и один раз на железнодорожной станции, где ждал поезда, не заметив, что рельсы разобраны. После этого он больше не пытался бежать, молча делал все, что просили, старательно избегая смотреть на людей. Однорукий мужчина как-то сказал — ему стыдно за нас. Но женщина сказала, что это — смирение.

Когда военнопленные немцы уложили рельсы на новые деревянные шпалы и укрепили насыпь там, где она была разрушена взрывами бомб, и путь к бегству был открыт для каждого, умер однорукий мужчина. Перед тем, как умереть, он две недели не вставал с кровати, если не считать тех редких случаев, когда выходил на улицу по нужде, что случалось все реже, по мере приближения смерти, потому что он ничего не ел и не пил. Под двумя одеялами и рыжей от сырости шинелью, под туго натянутым чехлом высохшей кожи его кости не чувствовали ни жары, ни холода — как раз тогда он сказал женщине, что человек чувствует жару и холод костями и голод и жажду костями. Больше он ничего не сказал, потому что имел полное право забыть значение всех слов. Руководимый теми, кто давно умер, он подчинил каждую клетку своего организма стремлению к смерти, отказываясь от лекарств и целебных настоек, которые пыталась влить в него женщина в минуты забвения.

Сидя в глу и все еще чувствуя себя чужим, Бедолагин-младший впервые с тех пор, как пришел в поселок со стороны поля и попал в этот дом, открыто, не пряча глаз, разглядывал подслеповатую женщину и однорукого мужчину, который умирал. Женщина говорила что-то мужчине глухим, мрачным голосом, звучащим неторопливо и размеренно, точно бой часов, а потом поняла, что он ничего не ответит, потому что не понимает больше человеческих слов. Она выпрямилась, медленно отошла от кровати и посмотрела на Бедолагина-младшего. Он смотрел ей в лицо и в глаза, не отводя взгляда, ибо знал уже, что останется в этом доме навсегда и займет место однорукого мужчины по неписаному земному закону, когда жизнь занимает место, освобожденное смертью, и на нее обрушивается наследство.

Бедолагин-младший, который стал просто Бедолагиным и открыто смотрел на людей, не пошел на кладбище, куда понесли однорукого мужчину, подняв на гребень волны одинокого плача, после того, как бабка, проживавшая на отшибе, обмыла его и побрила, припудрив синие щеки пыльной красной цветка. Но те, которые несли однорукого мужчину, и те, которые сопровождали гроб, не могли избавиться от уверенности, что Бедолагин-младший следует за ними, прячась в подворотнях, перебегая от дерева к дереву, от дома к дому, а потом, спрятавшись за могилами, следит, как они его хоронят. Сидя за столом в доме Бедолагиных в день поминок, пьяная от самогона и недоедания бабка, проживавшая на отшибе, пела хвалебные гимны однорукому, вертясь на стуле, точно маленький смерч пуха и праха, едва сохраняя равновесие и глядя на Бедолагина-младшего, который сидел напротив, обезвоженными коричневыми глазами, блестящими, как полированное дерево, сказала — вот плод — и сказала — мертвого семени. Первой встала и начала прощаться. В движениях ее не было и тени обреченности, какая появляется в движениях людей задолго до старости. Однако никто не решался прикоснуться к ней, опасаясь, что она рассыплется пылью, подобно старинной вазе, пролежавшей века на дне океана в неподвижном растворе воды, соли и времени, и прощались с ней только глазами, как прощаются с миражем.

Летом того года, когда умер однорукий мужчина и когда стало известно, что война окончена на западе, но не окончена на востоке, и через всю страну в длинных эшелонах провезли тела и души солдат, еще способных воевать, а также уцелевшую в боях военную технику, погруженную на стальные платформы, а в санитарных эшелонах провезли глаза оглохших, уши ослепших, мычание онемевших, жажду раненных в живот, война для которых была окончена раз и навсегда, женщины поселка, гонимые голо-

дом, прихватив котомки, узелки и сумки, ушли в сторону Херсона, где надеялись на пожитки, не тронутые немцами, выменять семена, патрубки, домашнюю птицу и скотину. Несколько калек, демобилизованных в начале войны, несколько контуженных, а также женатый дурак, имевший военную бронь, предписывавшую ему не трогаться с места, стояли посреди мертвого поля и смотрели, как нагруженные женщины идут по белой пыльной дороге, минуют сосновый бор и церковь на холме, а потом скрываются за поворотом, и ни один из них не верил, что они вернуться, пребывая в убеждении, что белая пыльная дорога и есть та дорога, по которой можно идти вечно и бесследно исчезнуть, растворившись в воздухе. В поселке мужчины разошлись по домам, проклиная свою немощь, запирая двери на все замки, щеколды и засовы в надежде отгородиться от мира, где, растворившись в воздухе, бесследно исчезли женщины; обставились бутылками, бутылками, ведрами и канистрами с самогоном, очертив ими круг своих владений, и погрузились в тяжелые волны опьянения, засыпая в поисках ответа, убежденные в том, что всему, что снится, предначертано верить, ибо реальность — половина правды и негде людям искать вторую половину правды, кроме как во сне. Таким образом, выстроив себе турьмы, казематы и темницы, чего требовали поиски правды, они прожили за решеткой своей немощи две недели, в течение которых погрязли в бесплодных раздумьях, валяясь под столом в собственной блевотине, среди плевков, замусоленных окурков и кусков глины от сапог; среди сгущавшейся мглы, на ничейной земле; забыв название того, на поиски чего шли.

Между тем дети, получившие полную свободу, с рассвета и до заката долгих летних дней пропадали в лесу, где искали разрушенные, засыпанные блиндажи и брошенные землянки, возились в тесноте земли, рискуя быть заваленными прогнившими бревнами, натываясь на рваные осколки, ржавые тросы для буксировки, полустлевшие куски резины, хомуты, рассчитывая найти оружие и боеприпасы, чтобы взорвать их в огне костра.

В начале третьей недели женщины вернулись, впряженные в лямки котомок и сумок, застав во дворах сдыхающих от голода собак, одичавших кошек и взъерошенных ворон на крышах домов. Жена дурака вошла во двор, затачив туда же тощую, грязную козу, глядя на которую можно было твердо сказать, что она мертва, если бы та не перебирала ногами, привязала ее к изгороди и устало двинулась к дому, но входная дверь оказалась закрытой изнутри. Она колотила в дверь руками, ногами, деревком лопаты, обухом топора, камнями, с разбегу налетала на дверь плечом и надтреснутым, жутким голосом выкрикивала ругательства, собираясь высаживать оконные стекла, как дверь со скрипом отворилась и показалось желтое, как песок, небритое, перекошенное удивлением лицо и на нее уставились неподвижные, безумные глаза, какими провожали ее одичавшие коты, когда она шла по поселку к дому, а поверх желтого лица шевелились скатавшиеся волосы, а по бокам топырились уши, забитые серой сукровицей. Прошло много времени, прежде чем в этом потустороннем существе она узнала своего ненормального мужа, который рухнул на пороге, обхватив ее руками, и, уткнувшись в юбку, пускал слюни и бормотал о святой нерасторжимости брака. Тогда она утробно застонала и сказала — боже — и сказала — чтоб ты сдох, сукин ты сын, — и опять сказала — боже. Она помогла ему подняться и завела в дом, где над сломанными табуретами, битыми бутылками, затоптанными старыми дагерротипами умерших в прошлом веке родственников, с гулом носились сотни зеленых и черных мух. Она сказала — боже, ой, боже — и сказала — боже, сделай меня вдовой — и сказала — чтоб ты сдох, сукин ты, сукин ты сын. Примерно то же происходило в других домах поселка, где мужчин, вытащенных за уши из миазматического тумана, отмывали и одевали в чистое, забрасывали камнями проклятый и били по рожам, а все способное помутить рассудок, вплоть до прокисших яблок, было немедленно спрятано или беспощадно уничтожено, и по мере того как катились черные шары дней, женщины, вытеснившие хмельное зелье или заменившие его, заставили мужчин поверить, что они и есть та правда, которую мужчины упорно искали, валяясь под столом в собственной блевотине, среди плевков и замусоленных окурков; среди сгущавшейся мглы на ничейной земле.

Бедолагин, не принимавший участия в играх, которые устраивали его сверстники, желавшие испытать судьбу, все более замыкался в себе, пред-

почитая внешней жизни внутреннюю, но все дороги, по которым он шел к призрачным целям, способным утолить жажду познания, были дорогами прочь. Они позвали его, когда он стоял в длинной голодной очереди перед одноэтажным дощатым бараком, куда завезли хлеб и мыло, и он пошел за ними. Они остановились у задней стены барака и, усмехаясь, указали на щель между покоробившимися досками и сказали ему — ну-ка, смотри. Он нагнулся и посмотрел в щель и увидел пыльный сумрачный магазинный склад, мешки с мукой, мешки с хлебом, а на мешках директор магазина задирает юбку продавщицы, опрокинув ее на спину, и ее сопротивление было равно сопротивлению воды по отношению к пловцу, который хочет плыть слишком быстро. Бедолагин не видел ее лица, но по содроганиям тела понял, что она смеется, а потом директор магазина растегнул штаны и полез на нее. Бедолагин выпрямился, а они смотрели на него усмехаясь. Один сказал — во подлюга, а?; другой сказал — если б их сейчас напугать, они б так и не расцепились, как собаки; третий сказал — как вагоны; вожак сказал — пусть он идет — и сказал Бедолагину — ты иди, а то он скоро с нее слезет, и она магазин откроет; другой сказал — еще насмотришься, они всегда так.

Его привели в школу, пахнущую лошадьми, где между газетных строк он записывал то, что ему диктовали, а также пел в хоре под огромным портретом мужчины с прищуренными властными глазами. Учитель пения стучал линейкой, тяжелой, как шлагбаум, по черепам тех, кто не успевал захлопнуть пасть одновременно с теми, кто успевал.

Осенью их водили в палисадник, и они собирали павшую листву самодельными деревянными граблями и метлами, сгребая в большие, рыхлые кучи, которые изо дня в день становились все больше и темней, а потом, когда деревья облетали и стояли голые, они поджигали листья, и до зимы их одежда пахла дымом и горечью.

В туманные дни подслеповатая женщина уходила в поле собирать колоски, рискуя попасть за решетку сроком на десять лет, и, в то время как она ползала на четвереньках по черной пашне, тронутой изморозью, Бедолагин прятался за железнодорожной насыпью и следил, чтобы не нагрязнул объездчик. Потом она подавала ему знак, и он шел вдоль насыпи до моста, и страх не давал ему замерзнуть, а под мостом они встречались, бледные и грязные, и она говорила — эх, гады, он говорил — ладно, она говорила — эх, гады — и говорила это до самого дома.

И всегда, где бы он ни был, в нем главенствовало стремление неподвижно стоять в стороне от мутного потока лет, где среди ила, обломанных веток, изношенной одежды, исковерканного оружия и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди, — неподвижно стоять в стороне и давать им советы, обманув тень закона, которая падает на голову каждого с момента рождения.

Со временем его мысли и желания изменились, наполнив голову женщинами всех цветов — они любили его и звали, но дороги к ним он не знал. В надежде найти дорогу он слушал бабку, проживавшую на отшибе, которая нередко приходила к ним вечерами и, сидя за столом, раскачивалась на стуле, едва сохраняя равновесие, как пять лет назад на поминках однорукого мужчины, — и ему давно было ясно, что она пребывает на земле как оружие мертвых, и мертвые говорят ее устами, чтобы предостеречь живых в том, что при жизни остается неясным, — и она вещала сиплым, надломленным, ледяным голосом, сквозь хрипы в груди и в горле, сквозь кашель, чихание и насморк — как поступить, чтобы недохнуть с голоду — на ведро воды — говорила она — одну ложку отрубей, две кильки и лебеду — как не забеременеть, как принимать роды, чем кормить коз зимой, чем лечиться от туберкулеза и дизентерии. Бедолагин притворился спящим в тот вечер, когда Анну, двадцати пяти лет от роду, выгнали из дома за все безумные ночи, которые она проводила в коллекции своих мужчин, и она пришла к ним, застав бабку, подслеповатую женщину и французскую маркизу, эмигрировавшую из Франции в начале века, за разговором. Несколько позже бабка сказала ей — женщина, которая идет от меньшего к большему, а от большего к еще большему, в конце концов удовлетворяется самым малым, потому что всегда найдется много такого, чего она не сможет встать; Анна сказала — нет; подслеповатая женщина сказала — тише; бабка сказала — он спит; Анна сказала — он не спит; маркиза

сказала — все женщины в двадцать пять лет падшие; бабка сказала — тот, кто велел нам быть, не простит; Анна сказала — никто нам быть не велел. Мы порождение взрыва.

Он спал, когда поздно вечером к ним в дом пришел вершить судьбу полковник теневых войск, рослый, угрюмый, немолодой мужчина, освобожденный поселок от немцев за год до того, как Бедолагин-младший был провозглашен Бедолагиным и узнал тяжесть фамильных и наследственных проклятий. Но это был уже не тот артиллерийский полковник, квартировавший в доме Бедолагиных, каким его помнили в поселке, и не тот, что выскочил на крыльцо с посережним от бессонной ярости лицом, когда в результате неправильной наводки три истребителя с красными точками звезд расстреливали освобожденный поселок и колонну его солдат вместе с лошадьми, повозками и пушками, и не тот, что протягивал огромные руки с растопыренными, скрюченными пальцами к небу и самолетам, точно хотел дотянуться, достать, стащить их оттуда и сломать об колено, — тот голосом, выворачивающим внутренности, орал — куда! Не стрелять! Ведь мы здесь! Это мы! Махать им флагом! — тот плакал, но продолжал орать и хрипеть, точно расстроенный инструмент во время настройки, и многие видели, как у того кровь хлынула горлом и он падал с крыльца, цепляясь за перила. Солдаты подняли того, положили в повозку, укрыли мешковиной и повезли воевать. Этот вернулся поздно вечером, через шесть лет и два месяца, оставив того в повозке, укрытого мешковиной, пропитанной трупной вонью, или на одном из витков спирали, которая вела его вверх и в тень, — больше проститутка, чем солдат, не видящий иного выхода, кроме женитьбы, не предсказуемый в поступках, с лицом, застывшим в параличе ответственности, — зашел в дом, когда Бедолагин спал, и сказал подслеповатой женщине, чтобы она собиралась, и сказал многое другое. Утром подслеповатая женщина сказала Бедолагину, что уезжает. Она говорила долго, глухим, мрачным голосом, звучащим неторопливо и размеренно, точно бой часов, тем самым голосом, которым обращалась к однорукому мужчине, сбросившему с себя бремя понимания. Бедолагин спросил — как он узнал, что ваш муж помер?; глядя в стену, она сказала — я писала ему — и сказала — он говорит, чтобы ты ехал с нами; он спросил — куда?; она сказала — в Москву; он сказал — я не поеду; она сказала — я так и знала. Вошел полковник и сказал, что пора ехать в город к нотариусу. Бедолагин сказал — уйдите. Полковник молча вышел. Подслеповатая женщина сказала — ты сопляк; он сказал — это мой дом. Они поехали в город, купили водки и пошли к нотариусу, где подслеповатая женщина оформила дарственную и кое-какие документы, согласно которым Бедолагин по достижении совершеннолетия вступал в права домовладельца, что должно было произойти через три месяца. Перед отъездом полковник сказал ему — что есть, рано или поздно перестает быть, и тогда на смену приходит что-то другое, но не всегда лучшее. Потом они уехали. И Бедолагин сделал то, что сделали калек и контуженные, когда женщины, гонимые голодом, ушли по белой пыльной дороге, и бесследно исчезли, растворившись в воздухе. В течение часа он сидел перед пустой пол-литровой бутылкой, думая об избавлении и тоскуя по теплу материнской утробы, потом, шатаясь и икая, вышел во двор, вознамерившись осмотреть самую легковесную и незначительную часть наследства, состоявшую из трех строений — дома с прилегающей к нему летней кухней, черного от дождей сарая, который, строго говоря, не был сараем, а был скорее навесом для дров и погребя; бродил между яблонь и слив, считал грядки, засаженные свеклой и картофелем. Шатнувшись в летнюю кухню на крысиный писк и перевернув там кастрюли, миски и жаровни, он увидел два вещмешка, оставленных полковником, в которых нашел десяток темно-зеленых жестяных банок с паштетом, плитки шоколада, галеты, банки с тушенкой, покрытые толстым слоем солидола, а кроме того, солдатское нижнее белье, офицерский бушлат, офицерские сапоги и новые обмотки.

Утром ему было плохо, как никогда, если не считать момента рождения. К нему пристала кошка, которая прожила в доме один день и одну ночь и жила, оставив блох и кошачий запах. Он пошел к бабке, проживавшей на отшибе, и спросил — что делать, если в доме завелись блохи?; она сказала — нарви полыни и выложи ею пол — а потом сказала — не пускай в дом кошек. Он нарвал полыни и выложил ею пол.

Неделю спустя к нему пришла Анна и вошла в комнату, где среди высохшей полыни, противотанковых рвов, маскировочных сеток и баррикад, созданных его пьяным воображением, чтобы оградить дом от проникновения кошек, Бедолагин добирал предпоследнюю бутылку самогона из тех, что были в кладовке подслеповатой женщины и предназначались для бабки, проживавшей на отшибе, и для французской маркизы, эмигрировавшей из Франции в начале века. Он поднял голову и сквозь прозрачную непрошибаемую стену пьяного отчуждения увидел двадцатипятилетнюю женщину, которая подошла к нему по хрустящей полыни и, глядя в глаза, щелкнула пальцем по больному месту так, что он отскочил в угол. И тогда он почувствовал, что непрошибаемая, прозрачная стена, способная выдержать метеоритный дождь, трещит, рушится и рассыпается прахом от одного щелчка женских пальцев, оставив его, голого, незащищенного и жалкого, рухнувшего в грязный поток времени, где среди ила, обломанных веток, изношенной одежды, исковерканного оружия и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди. Она сказала — меня выгнали из дома, — так она сказала, и погибельная, демоническая улыбка играла у нее на губах; он сказал — ну; она сказала — хотела переночевать здесь — так она сказала; он сказал — послушай, шла бы...; она сказала — мне, ей-богу, негде ночевать — так она сказала; он сказал — ладно; она сказала — спасибо — так она сказала и захохотала; он посмотрел на нее и сказал — если ты еще раз засмеешься, я набью тебе морду, если ты полезешь ко мне ночью, я набью тебе морду, если в семь часов утра ты еще будешь в моем доме, я набью тебе морду — так он сказал, потому что ему не терпелось взяться за восстановление прозрачной непрошибаемой стены, которая рассыпалась от одного щелчка ее пальцев.

Разумеется, она пришла к нему ночью — он слышал, как хрустела полынь под ее босыми ногами, и вместо того чтобы набить ей морду, сказал — здесь блохи; она сказала — если блохи здесь, они везде; он сказал — они везде; она сказала — не беда — и спросила — сколько тебе лет? семнадцать?; он сказал — может, и пятьдесят, но они сказали, что семнадцать; она сказала нараспев — ну, хватит болтать. И она обрушила на него шквалы огня и вспышки беззвучных взрывов, каким не подвергался ни один новобранец, попавший на передовую, и ни один мертвец, попавший в печь крематория; ее губы, руки, грудь и ноги били током; она вызвала землетрясение и жгучий ветер, превратив тела в текущую раскаленную лаву, и слепящий свет чередовался с душной, липкой тьмой — она вертела им, как вздумается, а он решил, что так сотворялась вселенная.

Утром она ушла, а он смотрел ей вслед и думал — она вернется. Месяц он не убирал с пола высохшую полынь, рассчитывая проснуться ночью и услышать хрустящие шаги и увидеть погибельную улыбку в темноте ожидания. Потом полынь превратилась в труху, и он вынужден был ее вымести, потому что в доме завелись мыши, и мышиный шорох по ночам он часто принимал за легкую поступь босых женских ног. Вскоре со всем поселком он узнал, что Анна уехала в город с высоким, красивым мужчиной. Однако новость эта лишь в малой степени пошатнула веру Бедолагина в ее возвращение. Пропалывая запущенный огород и удобряя грядки сухим навозом, он бормотал себе под нос — что такое город, и какая сволочь его построила. Но через полтора года, в течение которых он сохранял надежду, настал день, когда, стоя в саду с топором в руках и глядя на свой дом, согретый теплом пепельной веры, он испытал желание изуродовать, изничтожить, сокрушить, и в тот день, выронив из рук гвозди, он сказал — я просто дурак, а она поганая б...

Стремясь к неподвижности и безмолвию, он начертил неукоснительно прямую линию к кресту, исключавшую всякие заходы в светлые гавани, и, как следствие этого, вновь возникла стена между ним и миром. Обманчивая иллюзия непричастности ко времени завладела его воображением, и та же сила, которая вела каждую клетку организма однорукого мужчины к уничтожению и смерти, бродила в его крови, двигала руками, ногами и шеей, сушила глотку и питала зрение беспросветной ясностью. Если он напивался дома, его никто не видел, но, если он напивался в саду, многие видели его и видели неукоснительно прямую линию его пути, которая только со стороны казалась кривой и запутанной, и видели, как он валялся в лужах под откосом или пахал головой грязь в сточных канавах, откуда тор-

чала его напряженная задница. Беременная кошка, перескочив противотанковые рвы, преодолев баррикады, разгадав назначение маскировочных сеток, явилась ему во сне, вцепившись иглами зубов в мошонку, и весь путь, который был проделан к пустырю пробуждения, он околачивал ею столбы; следующей ночью змея укусила его в ладонь, которую он поднял над толпой людей, повелевая встать на колени, и ладонь пала на толпу, раздавив ее тяжестью внезапной опухоли.

Бабка, проживавшая на отшибе, собрав в горстку отказывающиеся по-виноваться пальцы, написала письмо подслеповатой женщине, в котором настаивала на ее приезде, однако подслеповатая женщина не смогла приехать по причине какой-то болезни.

Приехал полковник. Но это был уже не тот полковник, который когда-то воевал, и не тот, что приезжал в поселок, чтобы увезти подслеповатую женщину и водрузить ей на голову свадебный венок, пригнувший ее к земле. Окончательно отяжелевший, точно наполовину связанный, с трудом тащивший тело, как лошадь, тащившая повозку с тем, другим, укрытым мешковиной, пропитанной трупной вонью, он двигался по комнате, и его лицо, темное, как тайна, изредка раскалывала надвое резкая улыбка, что случалось каждый раз, когда он неожиданно вспоминал об этикете. Полковник достал из чемодана бутылку водки и несколько банок консервов; полковник откупорил водку и консервы; они выпили водку, полковник дал своему шоферу денег, и шофер привез еще три бутылки; они сидели за столом, а шофер спал в машине; полковник курил, стряхивая пепел в зеленевшую гильзу от патрона крупнокалиберного пулемета. Полковник сказал, что подслеповатая женщина придет, как только поднимется на ноги, и сказал — она очень скучает; Бедолагин сказал — передайте ей, что я тоже очень скучаю. Бедолагин смотрел на полковника и чувствовал, как свет и рисунок мира рассыпаются на атомы, и звуки рассыпаются в воздухе, и голос полковника был точно шорох песка. А потом полковник встал, надел шинель, а Бедолагин сидел за столом, и полковник сказал, чтобы он его не провожал и чтобы ложился спать, и грузно, прилагая, казалось, немомверные усилия, двинулся из дома, не задерживаясь ни в дверях, ни на крыльце, откуда падал семь лет назад, изрыгая глоткой хрип и кровь.

Учитывая то, что говорил полковник тeneвых войск о прожиточном минимуме, а также то, что внезапное и одиночество стоит денег, Бедолагин после некоторых раздумий устроился на работу в родильное отделение красной кирпичной больницы неподалеку от леса, где два месяца и четыре дня, стиснув зубы и залепив оконной замазкой ноздри, молча таскал через затененный двор скрипящую, гнилую тележку с простынями и наволочками из-под рожениц, поощряемых послевоенным правительством. В прачечной, расположенной в подвале невысокого серого строения в пятидесяти метрах от морга, он выкладывал на пол тюк грязного белья, развязывал пододеяльник, поднимал каждую простыню двумя пальцами, вслух считал и бросал к ногам сухощавого, гнутаго в позвоночнике мужчины, который настолько равнодушно относился к разъедающей сознание вони, точно изо дня в день лазал жить туда, откуда появился на свет. Вечером сестра-хозяйка наливала Бедолагину полстакана спирта, а он говорил ей — жить надо не так и не там. В конце июля, считая простыни перед равнодушным гнутым мужчиной, он сказал — это моя последняя тележка; гнутый мужчина ухмыльнулся, захихнул простыни и наволочки в пододеяльник, взвалил на плечо и потащил к прачке. Бедолагин вышел на улицу и долго шел по поселку, стиснув зубы, с замазкой в ноздрях, потом вытащил замазку, перелез забор чужого сада и молча упал в клумбу роз.

Его пребывание в качестве проводника железнодорожного товарного состава продлилось еще меньше, чем пребывание в качестве разнорабочего при родильном отделении красной кирпичной больницы, и исчислялось теми семнадцатью сутками, которые потребовались на езду до Ростова и обратно, потому что в первую же ночь его напарник предложил ему стать женщиной, только задом наперед, и семнадцать суток он не расставался с разводным ключом, задаулав убийство, не желая быть ни мужчиной, ни женщиной, костеня в безмолвной ярости, точно ракушка, все еще преследуемый неумолимым запахом зарождающейся жизни.

И он вернулся в холодный дом, твердо решив избавиться от свидетелей своей жизни, запершись в четырех стенах, к двадцати годам потерпев-

ший и осознавший поражение, картины которого, по словам бабки, проживавшей на отшибе, являлись ей по утрам, заштрихованные оранжевой паутиной спазмов, но сливались воедино и таяли благодаря молитвам, причитаниям и ворожбе, и он увидел, что сарай для дров почти пуст, а те щепки, что разбросаны по углам, и сучковатые поленья, не поддававшиеся топору, насквозь пропитаны влагой осенних дождей, издолбивших старый, тонкий толь крыши, смывших с навеса водостойкую смолу, и, стоя в саду под черной яблоней, чьи корни оплели могилу его надежд, он почувствовал, что и через сто лет снова и снова будет приходиться в поселок двенадцатилетним мальчишкой, бесконечный в своем повторении, стремящийся истереться в порошок в своем движении по желобу внутреннего пояса, холодной осенью со стороны поля, так что река всегда будет по левую сторону, а лес по правую, и босые ноги, нечувствительные к острым камням и битому стеклу, будут чувствовать неизменный холод земли.

И он пошел к бабке, проживавшей на отшибе, и спросил — как и кем жить? Но каждую осень мозг бабки превращался в сухой лед, сердце билось раз в день, язык не ворочался, забытый мертвыми, и ручки света из окна вливались в душу через сетки глаз, и все, кроме света, было для этих глаз сором. Маркиза, эмигрировавшая из Франции в начале века, так же, как бабка, проживавшая на отшибе, не давала советы осенью, но подсказала ему устроиться истопником при школе — потому что — сказала она — скоро зима — и сказала — время жечь деревья; то же самое сказал ему отец Анны, которому он помог спилить разросшуюся вербу в палисаднике, и он сказал — хорошо — а потом спросил — пишет ли домой Анна?; отец Анны косо посмотрел на него и сказал, что пишет, и спросил — а что?; он сказал — ничего — и спросил — придет она в поселок?; отец Анны сказал — нет; он спросил — почему?; отец Анны сказал — потому что я ее убью.

В конце сентября он пришел к директору школы и сказал, что готов работать истопником в котельной; директор школы спросил, согласен ли он работать ночью; он сказал, что согласен. Посланный директором в северное крыло здания, он спустился по ступенькам в подвал и, оказавшись в тесном, удушливом помещении, увидел длинную, прокопченную лавку, покосившийся черный стол, открытую чугунную топку и заслонку, державшуюся на одной петле, большой котел и ржавые трубы, по которым циркулировал горячий пар; один угол котельной был отгорожен тремя широкими досками, державшимися за счет вбитых в землю кольев, а за ними на куче угля валялись совковые лопаты и черные измятые ведра, а в стене на уровне головы был вбит железнодорожный костыль, на котором висела керосиновая лампа, опутанная медной проволокой, позеленевшей от сырости, и на короткий миг, глядя в огонь, он почувствовал, что достиг конечной цели своего пути. На лавке сидел рыжеволосый чумазый мужчина. Его могучие плечи занимали все пространство от чугунной топки до противоположной стены и выглядели гораздо шире длины стола, и казалось, что здание, слившись с окаменевшей темнотой за его спиной, лежит у него на плечах, и, если ему вздумается подняться, вместе с ним поднимется вся школа, сорванная с фундамента; когда в котельную вошел Бедолагин, лицо с крупным носом, сжатыми тисками губ и массивным подбородком, выпирающим, точно у жующего быка, не нарушило ни одно движение, словно кора угольной пыли и копоти намертво сковала мышечные нервы лба, щек и губ. Глаза на долю секунды уперлись в Бедолагина, а потом взор потек вдаль, как если бы в реку бросили булыжник, надеясь преградить ей путь в океан. Бедолагин долго стоял перед ним не в состоянии определить, то ли он смертельно пьян, то ли поражен крайней летаргией, и уже намеревался уйти, как вдруг подбородок рыжеволосого мужчины дрогнул, точно отслоился пласт породы, под воздействием внутреннего толчка с лица исчезла неподвижность, и казалось, оно неминуемо рассыплется черными камнями, как стена дома от удара изнутри, и сквозь отчетливый гул крови в ушах Бедолагин улышал голос, исполненный ненавистью к самому себе — видал ты когда-нибудь шесть пальцев на одной ноге?

И впоследствии, когда осенними вечерами они сидели на длинной прокопченной лавке, цветные в бликах огня перед открытой чугунной топкой, он так и не сказал Бедолагину, что испытывает боль или страдает от неполноценности, что было бы вполне естественно, будь у него четыре паль-

да вместо положенных богом пяти; обладая звериной непримиримостью и чудовищной силой, часто служившей доказательством его правоты, он наотрез отказывался принимать себя за уродливое порождение мира, в глупине души сознавая, что это унижает человека, а вовсе не оправдывает его, как полагал Бедолагин. Год назад, в то время как шестой палец лишь намечался бледным бугорком сбоку от большого пальца левой ноги, а доктор из красной кирпичной больницы сказал, что это мозоль, и прописал обувь посвободней, бабка, проживавшая на отшибе, посоветовала вспомнить ему все свои грехи и покаяться — а если это не поможет — сказала она язвительно — возблагодари господа бога за то, что рог вырос у тебя на ноге, а не на лбу — намекнув, таким образом, что ему изменяли женщины, чем привела его в страшную ярость, под воздействием которой он снял перед ней штаны и попросил объяснить, что еще нужно треклятым бабам, после чего бабка смогла закрыть рот лишь три часа спустя, предварительно уколотив себя иголкой в ухо, чтобы унять судорогу в скулах. Однако слова бабки, несмотря на очевидную их нелепость, прочно засели у него в голове, и с тем же угрюмым остервенением, с каким он искал способы избавиться от шестого пальца, он принялся искать причину его появления.

Движимый сочувствием и страхом, Бедолагин ходил в больницу, где просил, чтобы Клишину отрезали палец, который являлся лишним по законам божественным и социалистическим, пока тот не свихнулся и не начал убивать докторов, но ему сказали, что, раз на одной ноге вырос шестой палец, того требовал организм и что ни один доктор не ампутирует здоровый палец, будь он хоть девятый. Для Клишина все это оказалось последней каплей, испив которую он окончательно замкнулся в себе, вынашивая в голове бомбу, и его лицо под корой угольной пыли и копоты стало похоже на лицо полковника теневых войск, как похожи лица людей, обремененных тайной. В один из пасмурных холодных дней октября Бедолагин пришел в котельную раньше и столкнулся с Клишиным на ступеньках в подвал. Они вышли на улицу, и по его глазам, застанным дымом, Бедолагин понял, что бомба взорвалась. Сжимая в кулаке отточенную стамеску и кувалду, Клишин размеренно зашагал по направлению к больнице, кратчайшим путем, по компасу мести, стрелка которого маячила у него перед глазами долгий бессонный год. И за весь путь от школы до больницы он не проронил ни слова, молча зашел в больницу, прошел по коридору между скамеек перед кабинетом хирурга и так же молча зашел в кабинет, оставив дверь открытой. Не глядя на хирурга, молодую сестру и вечно смеющегося старика, наступившего на гвоздь, он придвинул к себе деревянный табурет, снял с левой ноги ботинок, размотал обмотки, поставил ногу на табурет, быстрым, размеренным движением приставил отточенный конец стамески к основанию шестого пальца и, прежде чем раздался истошный крик хирурга, прежде чем молодую сестру сорвало с места и вынесло в коридор, коротко размахнулся и с силой ударил кувалдой по черенку стамески. Тогда он медленно опустился на табурет, выронив из рук инструменты, победивший себя, потому что воевал с собой, как с врагом, превратив свою послевоенную жизнь в неумолимое, целеустремленное саморазрушение, вызванное отсутствием врага, все еще не понимая причин появления шестого пальца, но уже смутно чувствуя, что наточил стамеску для того, чтобы отрубить смысл своей жизни последнего года.

Отрубленный шестой палец явился в поселке самым наглым и безбожным событием года и, несмотря на то, что бабка, проживавшая на отшибе, крайне отрицательно отнеслась к поступку Клишина, чем основательно подорвала свой авторитет, который считала непререкаемым, несмотря на то, что многие женщины запретили своим детям подходить к Клишину, дабы он не посоветовал им вырезать желудок, когда нечего будет есть, большинство людей усмотрели в его поступке торжество человеческого духа над физической болью, а слова бабки о том, что подобный взгляд на вещи неминуемо приведет к восхищению членовредителем и самоубийцей, были утоплены в глубоком море недоверия, на дне которого покоились проекты полетов на Луну, физико-математические формулы расщепления атома, а также материалы, касающиеся генетической наследственности; кроме того, прошел слух, что в далеком городе, где полковник водил в атаку теневые войска против носителей идеи Кесаря, отец внематочной экономики, олицетворявший собой умытую и почистившую зубы Россию, с трибуны ве-

шал, что именно при помощи стамески и кувалды следует расправляться с неугодными пальцами на плоскостопых ногах государственных долгов.

Между тем художник Пал, пустивший этот слух, стоял на базаре в потрепанной широкополой коричневой шляпе, из-под которой торчали редкие, давно не стриженные русые волосы, среди пронзительного ветра людских голосов, заматавшего поднятой пылью безмолвие аккуратно разложенных кукурузных початков, носков, ниток и патефонных игл, выставив на фанере маленькие яркие натюрморты с нежными весенними цветами, красочные рисунки коленопреклоненных кавалеров и стройных дам в белых бальных платьях, и укоризненный взгляд его влажных, бархатных глаз скользил по толпе, а бледное худое лицо, оставшееся лицом обиженного пятнадцатилетнего мальчишка, готового в любую секунду расплакаться, даже тогда, когда ему стукнуло тридцать, было запрокинуто в немом уворе полуторговому росту, так что гладкий, острый, безволосый подбородок торчал, точно карниз над тонкой белой шеей, исчезавшей за поднятым воротником длинного, изъеденного молью пальто, полы которого почти тащились по земле, когда он шел, придавая неприкаянный, беспризорный, слезно-обиженный вид его тоненькой, угловатой фигуре. Он не слышал людей, которые здоровались с ним, не имея намерения купить его рисунки, слышал, но не понимал и не мог бы повторить призывных и возмущенных криков, присутствовавших в его сознании тем вечным, протяжным гулом, с каким в мире, лишенном абсолютной тишины, ветер метет сор и грехи, не замечал, как поднятая пыль оседает на голубые цветы его натюрмортов, погруженный в глубокие раздумья, осторожно ступая в зыбких песках коммерческих расчетов, выискивая путь к обогащению, единый с путем растра- ты, немо обратив взгляд поверх прыгающих, плывущих, кивающих голов. Но в какое-то мгновение все это кончилось, и никто не увидел, как его бледное худое лицо исказила гримаса ярости, а в следующую секунду фанера, на которой были выставлены рисунки, с треском опрокинулась от удара ноги, стремительно вылетевшей из-под взметнувшегося пальто. Торговец слева неловко, грузно отшатнулся в сторону, ожидая увидеть блеск ножа, который неизменно появлялся в руке художника Пала в минуты неукротимого бешенства, а крупная, большегрудая женщина тяжело присела, расставив огромные колени, чтобы подобрать рисунок, упавший у ее ног, но художник Пал сдавленным, шипящим голосом сказал — не трожь — и сказал — не трожь, говорю, сука драная, — а потом сказал — еще успеешь, как уйду, а час не трожь. Потом его губы обиженно изогнулись, лицо запрокинулось, и они смотрели, как он повернулся к ним спиной и молча побрел в поселок, путаясь худыми ногами в пыльных, потрепанных полах длинного пальто, все так же запрокинув голову, точно нес на лбу чашу со своим сердцем.

Художник Пал никому ничего не сказал в тот день, когда, спустившись в школьную котельную, чтобы не брести бесконечно, увидел в Бедолагине источник обогащения, и в голове у него зародились некие мысли, и никому ничего не говорил очень долго, даже когда эти мысли обрели достаточно твердую основу вследствие расчетов и проверок, которые он произвел, отчасти чтобы увериться в своих художественных способностях, отчасти чтобы его труды не пропали даром. Он пошел в соседний поселок, где находилась действующая церковь, пострадавшая во время войны и мало-помалу восстановленная людьми, оглохшими от ночного рева совести, отчаянно нуждающимися в прощении и в обретении родства. Но если люди смогли забыть пробыины от снарядов камнями и кирпичом, укрепить оползни, засыпать близкие воронки, замазать глиной северную стену, искрошенную пулями, а также привести в порядок небольшой зал и прихожую, где торговали маленькими крестами и нашейными иконами величиной со спичечный коробок, то они не могли написать полотно с ликами святых, увезенных, сожженных и просто простреленных солдатами обеих армий. Таким образом, все, что делает церковь церковью внутри, отсутствовало почти начисто, а если не отсутствовало, то было заменено грубыми поделками, которые среди нескольких уцелевших икон с ликами, простреленными пулями, внушали тревогу и опасения тем, кто шел в надежде примириться с совестью и обрести бога. И они останавливались посреди холодной, аккуратно прибранной церковной залы, мельчайшие частицы пыли которой хранили призрачную картину смертельного боя многолетней давности, слы-

шали стрельбу и крики, все еще звучащие в звоне колоколов сверху, видели не тронутые сквозняком сгустки времени по темным углам, хранившие сам миг убийства, чувствовали сухой запах пороха и мышинного помета в неподвижном воздухе, при том, что всем им было известно, что каждый запах в церкви имеет свой тайный смысл, определяющий смысл самого бытия, — и молились, обращая свои молитвы тому, у кого был продырявлен высокий белый лоб, или тому, кто смотрел на них одним глазом и дырой на месте второго. И тогда художник Пал, не умевший и не желавший уметь изображать на бумаге человеческие лица, которые стоили, по его мнению, гораздо дешевле затраченных трудов, но увидевший в лице Бедолагина некую мертвенную, церковную покорность, всепрощающее смирение и знамение неизбежного краха в глазах, доставшееся тому в наследство вместе с домом, сараем для дров и погребом у черной яблони, вместе с женщиной, пришедшей один раз, и снами, в которых беременная кошка висит на нем, вцепившись иглами зубов в мошонку, наконец, вместе с самим лицом, притягивающим, точно магнит, ложь и грехи мира, предложил свои услуги церкви. Прежде чем установить цену, он договорился с церковниками насчет холстов и красок, а также попросил временно забрать уцелевшие рамы икон, покрытые потрескавшимся лаком, с тем чтобы самому вставлять в них готовые холсты, потому что понимал — как бы хорошо ни разрисовать холст, он всегда будет выглядеть лучше в старинной раме, чем свернутым, а затем развернутым для обозрения. Получив согласие, он установил цену, которая была ни малой и ни большой, а скорее пробной. Потом он притащил холсты, рамы и краски к себе домой и, сидя в комнате спиной к окну и свету, марал бумагу в течение трех дней, перво-наперво изображая на очередном листе желтый нимб, который, по его мнению, должен был заранее придать загадочную, покорную мудрость лицу, испокон веков существовавшему под нимбом, а также заранее пресечь черты порока и суеты в его живописи. И когда на исходе третьего дня, разглядывая последнее свое творение, остался доволен, он сделал то, что не должен был делать и никогда не сделал бы, будь он историком или политиком, а именно — замазал, убрал нимб и, первый раз взглянув на изображенное лицо, лишенное золотого нимба, почувствовал, как мозг наливаясь густым соком ярости, а руки точно распадаются от бессилия в тщетном нашаривании ножа. Но потом, когда приступ бешенства прошел, он понял, что это неважно. и на четвертый день, явившись в школьную котельную, выложил Клишину и Бедолагину все, что было у него на уме, пообещав им половину от всей выручки на двоих. А потом, сидя в комнате спиной к окну и свету, поставив перед собой мольберт, сколоченный из кривых реек, он сказал Бедолагину — думай о том, что у тебя было, а сейчас нет — и Бедолагин думал о той могиле надежд, которую оплели корни черной яблони и над которой он стоял в преддверии осени, уже после того, как ему предложили стать женщиной задом наперед, подвинув на убийство, которое так и не было совершено, но до того, как он избавился от запаха зарождающейся жизни, вытеснив его запахом гаря.

Потом стемнело, художник Пал закончил работу, и Бедолагин пошел домой. И как только среди домов поселка показался его дом, он увидел сквозь стены тень и подумал, что в доме кто-то есть. Почти уверенный в своей способности видеть сквозь стены, он вошел во двор, поднялся по ступенькам крыльца, открыл дверь, прошел сени, пахнувшие кирзовыми сапогами, потом и плесенью, и в комнате у окна увидел Анну. Он молча стоял в дверном проеме, непобедимо мертвый, и его тяжелые, безвольные руки болтались где-то внизу, утратившие силу, кровь и крепость костей, точно мокрые канаты, и она казалась ему более нереальной, чем та, что шла ночами по высохшей полыни в желаниях и снах, но теперь она была ему не нужна. И как только он понял, что она действительно вернулась и что ее тень он видел сквозь стены дома, точно сквозь тонкие занавески на свету, и что именно она стоит сейчас у окна, все такая же, только похудевшая, осунувшаяся, болезненно красивая, но, как всегда, готовая завоевывать крепости, крушить бастионы силой своей слабости, разбивать ворота, взламывать замки, выжигать мозги своей хрупкой художой, готовая взорвать мир, чтобы воссоздать все с самого начала и вновь начать жить, но мудро и безошибочно, он сказал — проваливай — и сказал еще раз — проваливай — твердо зная, что будет помнить об ее приезде лишь до тех пор,

пока не заснет, а назавтра забудет, так что ему заново придется увидеть ее утром и сказать то, что он сказал сегодня. Но, проснувшись, он отчетливо помнил, что Анна была в доме, помнил в первую секунду пробуждения, еще не заметив, что она стянула с него грязные сапоги и рабочую куртку, провонявшую гарью. Она сидела за столом и смотрела на него, а потом, когда он встал, надел вычищенные сапоги и куртку, она без всякого выражения сказала — к тебе приходили твои друзья — и сказала — того художника я знаю — он сумасшедший — потом, медленно, не обращая внимания на его угрюмое молчание, проговорила — я сказала им, что здесь нечего делать всяким подонкам. Он посмотрел на нее хмурым, отсутствующим взглядом, догадываясь, что она сказала это неспроста, видимо, рассчитывая на вспышку злости, приготовившись выдержать проклятье и побои, и вдруг, глядя на ее белое, напряженное лицо, застывшее в больших, широко раскрытых глазах желание быть наказанной, но не за последние свои слова, а за то, что ушла от него когда-то с другим мужчиной, он подумал, что не нужно ему поднимать на нее руку, потому что рука ее отца давно вознесена и ждет лишь появления, чтобы вышибить из нее дух.

Но отец Анны даже не поднялся с полена, когда Бедолагин сказал ему о ее возвращении, сидел, сгорбившись, свирело лузгая большие семечки, подобрав под себя кривые, короткие ноги, предназначенные не для того, чтобы ходить, а для того, чтобы сжимать бока лошади, а потом холодно сказал — ну и что? — и сказал — ну вернулась — а потом невозмутимо сказал — ну дай ей в морду, скажи, отец велел. Бедолагин повернулся, чтобы уйти, но отец Анны сказал — стой — и сказал — погоди — а потом сказал — пойдем в дом выпьем водки. Они выпили водки и выпили подкрашенного линияющей травой самогона, и тогда отец Анны сказал — сделай ей ребенку — и сказал — сделай, говорю; Бедолагин сказал — ладно; отец Анны нахмурил густые, выгоревшие брови и сказал — сделай; Бедолагин сказал — да — и сказал — сделаю — и сказал — обязательно — а потом сказал — одного, двух, трех, четырех ребенков; отец Анны спросил — ты что мелешь?; Бедолагин сказал — двадцать, тридцать, сорок ребенков, сто ребенков, пока она не заорет, что хватит; отец Анны усмехнулся и сказал — не заорет; Бедолагин сказал — заорет; отец Анны сказал — нет — и спросил — знаешь почему? Бедолагин сказал — почему?; отец Анны сказал — не будет у нее детей — и сказал — совсем; Бедолагин спросил — почему?; отец Анны сказал — спроси у нее — и сказал — она тебе скажет; Бедолагин сказал — ладно — и сказал — хорошо — а потом сказал — знаешь, зачем я к тебе пришел?; отец Анны сказал — знаю; Бедолагин сказал — нет, не знаешь; отец Анны спросил — зачем?; Бедолагин встал и сказал — чтобы ты пошел и убил ее. Потом он ушел.

И Анна взялась за него, отбросив женские ужимки, подходы исподволь, зондирования почвы, взялась не постепенно, не незаметно, а сразу, точно иначе и быть не могло, точно уезжала в город по обоюдному соглашению, с тем чтобы вернуться в назначенное время, и это время пришло — не стараясь сказать лишнее, не стараясь умолчать, когда это было необходимо, — появилась в доме наперсницей судьбы; ввела нечто вроде ритуальных разговоров за завтраком, обедом и ужином, если Бедолагин был дома, словно все было давно решено и обговорено еще тогда, когда они были детьми, и говорить больше не о чем. Она написала письмо подслеповатой женщине, поинтересовавшись ее здоровьем, и послала ей поздравительную открытку к Нобрьским праздникам, подписав именем Бедолагина и своим; она не пускала на порог Клишина и художника Пала, определив источник зла, и говорила, чтобы они катились к чертовой матери; она устроила на работу в местное отделение связи и разносила письма и газеты, а когда ее отец сказал, что она нанялась почтальоном только затем, чтобы перехватывать письма, адресованные ей городским кобелем, она сказала, чтобы он не лез не в свое дело. Она запаслась несокрушимым терпением и упрямством, перед которым упрямство Клишина выглядело как упрямство капризного ребенка, не желавшего мочиться на горшке; приняв панцирь смерти за панцирь льда, вооружилась подобием бура, вознамерившись просверлить дорогу к сердцу любой ценой, даже если придется сломать ребра. И была обманута — обманута тем молчаливым, спокойным согласием, с каким он делил с ней постель, той молчаливой невозмутимостью, с какой он воспринимал все, что бы она ни сказала, тем голосом, каким он здоровался с ней

и прощался, потому что прошло слишком мало времени, чтобы она могла понять, а затем поверить бесповоротно, что нет и не было средства прошибить глухую тишину его сердца. А пока она жила, отказываясь верить, что времена переменились, не стараясь оправдать, обелить себя, похоронив свое прошлое так глубоко, как не хоронили ни одного мертвеца, но и не делая вид, что родилась неделю назад, потому что должна была пускаться в ход опыт, накопленный в жизни; не скрывала от людей своих намерений и дерзко, с угрозой говорила — да — говорила она — мне нужен муж — и говорила — попробуйте отберите его у меня — и глаза ее на тонком, красивом лице блестели так, точно она уже шла против всего мира, сжав ху-дыми, почти прозрачными руками испачканные навозом вилы.

Художник Пал написал три холста за очень короткий срок; он давал Бедолагину осколок зеркала, и Бедолагин смотрел в осколок, а потом смотрел на холст и видел удивительное, а порой удручающее сходство; запомнил свое лицо, которое видел в зеркале лишь единственный раз, сразу после войны, когда ему едва минуло четырнадцать лет, и давно забыл. Художник Пал, однако, понимал, что холсты написаны плохо, но говорил, что они написаны лучше тех, что висят в церкви. Он отнес холсты в церковь один за другим, с интервалом в пять дней, а когда церковники, крайне удивленные, спросили, сколько времени он тратит на один холст, он ответил, что над эскизами работал в течение года, а холсты пишет при помощи логарифмической линейки, чем основательно сбил их с толку. Потом он начал писать четвертый и последний из заказанных холстов, но так и не закончил, а причиной тому был Бедолагин, чья неспособность совладать с темной силой наследственно отравленной крови, полностью подчинившей его мозг, делала его невменяемым в часы пьяного одурения, толкала на поступки, пагубные последствия которых он мог бы предугадать ребенком, но не сейчас, когда ему было запрещено предугадывать, а было велено действовать. И через два дня, после того как художник Пал продал церкви третий холст, вставленный в старинную раму, и работал над четвертым, Бедолагин, пьяный как свинья, вышел из котельной и пошел в церковь соседнего поселка по широкой размытой дождями дороге; падал и вставал, не чувствуя ног, но чувствуя медленные плавные падения и мягкую, скользкую землю, а тело, утратившее способность к боли, переворачивалось, поднималось и выпрямлялось вновь, подчиняясь той же силе, которая вела каждую клетку организма однорукого мужчины к уничтожению и смерти. И он зашел в церковь среди бела дня, мертвецки пьяный, в грязной, мокрой куртке и в хлюпающих сапогах, покрытых жидкой грязью. Тяжело волоча ноги, он прошел в церковную залу и остановился там, придерживаясь рукой за стену, и смотрел на холсты художника Пала в старых рамках мутными, мертвыми, немигающими глазами, узнавая себя, и лишь через пять минут, ни разу не сморгнув, он посмотрел вокруг себя, потому что услышал, казалось, далекий, мерно нарастающий шум, и шум стих, и увидел людей, скованных оцепенением. Он молча смотрел на них, и губы их беззвучно шевелились, произнося слова, но можно было кричать, биться в истерике, буйствовать — все это без следа, не дав сложиться в живой звук, поглотило бы безмолвие, всего этого никто бы не заметил, потому что нечто, замеченное прежде, погрузило людей в спасительное забытьё, единственно способное сохранить им разум. И тогда Бедолагин медленно поднял руку с вытянутым указательным пальцем, и рука замерла в воздухе, когда палец был направлен на одну из икон, а потом рука двинулась в сторону, указывая на две следующие, и он спокойно, негромко, но отчетливо сказал — снимите это — все так же придерживаясь стенки, сказал — снимите, — а потом, тяжело передвигая ноги, вышел из церкви, а рука все еще висела в церкви и висела до тех пор, пока иконы, на которые она указывала, не были сняты.

По той же размытой дороге, падая и поднимаясь, он добрался домой и, не глядя на Анну, повалился на кровать в мокрой грязной куртке и в сапогах и проспал остаток дня и всю ночь, а проснулся уже без куртки и без сапог. Надел еще сырые вычищенные сапоги и вышел на порог.

Анна стояла посреди двора, поставив на землю облезлую немецкую канистру, наполненную керосином, с палкой в худой, почти прозрачной руке, и ее глаза на бледном тонком лице блестели отчаянием и злостью, и с порога дома Бедолагин услышал, как она кричит — катитесь отсюда к

чертовой матери, сволочи проклятые, катитесь отсюда — и он увидел, что они стоят у калитки забора уже во дворе, и увидел, как художник Пал знакомым всему поселку движением, которое невозможно уловить, как невозможно уловить разлет концов туго натянутого и вдруг разрубленного каната, выхватил нож из кармана длинного, узкого пальто, когда Анна подняла палку над головой и пошла на них, решив, видно, умереть или отдохнуть от всего этого, лежа в больнице с распоротым животом, который она не берегла с тех пор, как узнала, что не сможет иметь детей. И тогда художник Пал встал перед необходимостью убить человека; растерянность, вызванную неверием в то, что кто-либо рискнет пойти на него при ноже, ему, однако, удалось быстро преодолеть, потому что он понял, что именно так, а не иначе совершалось убийство со времен зарождения жизни, и понял, что если уж он взял в привычку при каждом неверном слове со стороны выхватывать нож в тщетном стремлении быть выше ростом, то рано или поздно его придется пустить в ход. Анна все видела, и все поняла по его глазам, и, приостановившись на секунду, вновь пошла на него; и хотела что-то сказать, но не смогла, испытывая отчаяние и любопытство, как перед первой физической близостью с мужчиной, очень давно, в тот единственный раз, когда это действительно что-то значило. И тогда Бедолагин бросился к ним с крыльца, разинув рот в беззвучном крике, и, споткнувшись, растянувшись посреди двора. Тогда Клишин шагнул навстречу Анне, и она с размаху ударила его, но он подставил руку и, вырвав у нее палку, отбросил в сторону. Потом он медленно повернулся к художнику Палу, который молча ждал Анну, то и дело перехватывая тонкими пальцами рукоятку ножа, сощурил один глаз и глухо, спокойно сказал — ты и вправду решил ее прикончить — и помолчав, вкрадчиво спросил — да?; тихим, шипящим голосом Пал сказал — да, решил — и сказал — ни одной стерве не позволю на меня орать — а потом сказал — не суйся. Он упрямо посмотрел в лицо Клишина и вдруг увидел то, что всегда было скрыто под корой угольной пыли и копоти, увидел не лицо, а застывшую на полпути лавину черных камней, остановленную и замороженную силой воли, увидел человека, которому не может что-то нравиться или не нравиться, раздражать или оставлять равнодушным, огорчать или веселить, увидел человека, способного лишь любить или ненавидеть без исключения, душу, сотканную из двух, а не из сотни чувств, жизнь, состоящую единственно из молчаливой любви и молчаливой ненависти, — цельную, без какой-либо цели, бесповоротную даже в поворотах, созданную в крайности и питаемую крайностью. И в оцепенении он позволил жестким пальцам Клишина вырвать у него нож и металась в душе не в силах пошевелиться, и наконец, когда подвижность вернулась к нему, он хотел ударить Клишина, но даже не достал до его лица, а потом он с яростью бросился на него, но это было все равно, что таранить соломинкой чугунные ворота, и, когда кулак Клишина с хрустом столкнулся с его головой, как если бы пролетающий самолет задел его крылом, Пал, предугадав этот миг, успел подумать, что лучше уж так, чем снова и снова бросаться на него без всякой надежды. И тогда Клишин, не проронив ни слова, ни на кого не глядя, нагнулся, поднял, взвалил на плечо художника Пала и молча, ни на кого не глядя, пронес его через весь поселок, даже не хромя, шагая так же легко и сосредоточенно, как в тот раз, когда шел в больницу, чтобы отрубить шестой палец, и бросил его лишь в доме, в углу комнаты, где стоял мольберт, сколоченный из кривых реек, с недоконченным лицом Бедолагина на холсте, которое уже не нужно было заканчивать, потому что невозможно было продать.

В конце ноября у Анны не пришли месячные. В течение двух недель она ходила по дому и делала все, что делала всегда, словно ничего не произошло. Она говорила себе — я не изменилась — говорила себе — ничего не изменилось. Она говорила себе — почему они сказали, что это невозможно — говорила — почему он, не способный ни на что, сделал то, что никто не мог сделать. А потом говорила — мало ли почему они могли пропасть — выискивая причины тайного предупреждения, суеверно отгоняя надежду, точно одно ее появление сулило безнадежность и неверие до земли. И две недели прошли словно глубоко под водой, притупив прежнюю быстроту ее движений, но наделив слухом летучей мыши не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы слышать шорох жизни даже в падении листа.

Она сидела на кровати и, твердо уверенная в обратном, говорила себе — не могло это произойти — глядя, как Бедолагин надевает рабочую

куртку, надевает сапоги, а потом спокойно, невозмутимо смотрит на нее, засунув руки в карманы, и говорит — я сегодня не приду — говорит, как говорил всегда, если она была в пределах досягаемости его голоса, а может, и тогда, когда она не могла его слышать, потом поворачивается и выходит; она смотрела ему вслед, уже твердо зная, что именно сегодня увидит его во сне; сидела, не замечая, как длится ночь, сложив худые руки на коленях, погасив свет, думала в сумрачной тишине; за два часа до расвета легла не раздеваясь и, едва закрыв глаза, уснула.

И сразу, ниоткуда, он пошел в грязной куртке и тяжелых сапогах, бесшумно ступая по земле, неживой, бесплотный, вбирая в себя темную пустоту ночи, точно освеженная шкура убитого зверя, не подчиняясь никому и ничему, истребив в себе все чувства вплоть до животных инстинктов, прошел по палисаднику и упал в кучу листвы, аккуратно собранную детьми перед тем, как поджечь, и ее сон пропитался запахом осени, наполнился громким шорохом сухой листвы, когда он зарывался в нее всем телом, чтобы замереть, лишь пальцы коснутся земли. А они уже бежали, маленькие, темные, худые, справедливые, чтобы поджечь листву, которую собирали в течение всей осени, от начала сентября до начала декабря, и в руках у них вспыхивали огни.

И, проснувшись, Анна вскочила с кровати, и выбежала из дома не обуваясь, и бежала по поселку во тьме нового дня, едва касаясь босыми ногами холодной, подмерзшей земли, а когда наконец показалось здание школы и палисадник справа от него, над черными деревьями она увидела белый лиственный дым, который медленно уходил в небо. Тогда она остановилась и стояла, глядя на белый дым, а потом сказала — господи — и сказала — господи — а потом сказала — храни.

Денис ДРАГУНСКИЙ

В гостях и дома

Старик умирал долго, но без особых страданий и болезней — просто умирал. Сердце уже работало плохо, и почки тоже, и он то резко худел, а то, наоборот, весь отекал, и левый глаз заволакивало, и мигало в нем красной ниточкой, но голова все равно была ясная.

За стариком ухаживали внук и внучка, потому что жена старика давно умерла, и единственный сын тоже умер, и сноха — то есть жена сына — тоже умерла, остались только внуки, вот они и дежурили подле него. Ну, дежурили — это уж сильно сказано. Так, пыль вытереть, разобраться с бельем, принести газеты, сообразить насчет обеда. Внук приносил обеда в судках, а внучка готовила прямо тут. Вот и все дежурство. Старик, слава богу, до отхожих мест сам добирался и даже в ванне купался, представьте себе, сам, так что не слишком-то он обременял своих ближних. Вполне могли бы и не каждый день к нему ходить. Даже через день — и то многовато. Раза два в неделю — и больше не надо. Так, поведать, жив ли еще. А если они приезжают каждый день, то это их дело. Он не неволит каждый день приезжать, но и не гонит, разумеется. Интересно, что ни муж внучки, ни жена внука не приходили. Ну и черт с ними, очень надо! Но при этом непременно сообщалось, что они неважно себя чувствуют. Старик хмыкал и неодобрительно спрашивал, сколько ж этим болящим гражданам лет, что они такие хворые. Старик не то чтобы гордился своим здоровьем, а скорее презирал окружающих за их слабосилие и чахлость. Он брезгливо глядел на лысеющего внука, курящего, с тяжелым, нездоровым кашлем. Бросал бы курить, раз такой дохлый, ей-богу... — раздраженно думал старик. Сам он теперь уже почти не курил, так, одну папироску в неделю, три затяжки под чашечку кофе — кофе он теперь тоже пил раз в неделю, не чаще. А вообще-то он курил с семнадцати лет крепкие папиросы, по пачке в день высаживал, и хоть бы что, грудь бочкой, и в легких — хо! Сквозняк! Ни разу не кашлял, не то что этот задох-

лик. И внучка не лучше, тоже сутулая, курящая, кашлючая, кожа серая, под глазами круги. Она иногда приходила с детьми — два мальчика и девочка, и старик с неудовольствием смотрел на правнуков, как они стараются не шуметь за стеклянной дверью. Он не мог запомнить, как их зовут. Какие-то одинаковые имена — Лёсик? Тосик? Стасик? — и тоже бледные, малокровные. Внучка все время разговаривала по телефону насчет детских врачей. Бесконечные консультации, институты, кафедры... «Все им не так! — мысленно возмущался старик. — Простой доктор не годится, подавай консультанта, профессора, господи, и это с пяти лет, что ж эти детки потом делать будут, когда вырастут? У академиков лечиться?» Старик вспоминал, что впервые обратился к доктору лет в пятьдесят, и очень гордился собой. И с тоской думал, что внук может умереть раньше него и ему придется вставать, советовать с врачом, вызывать медсестру, долго одеваться, нанимать такси, ехать за цветами и все такое. Вспомнилось, как он хоронил сына. Врач не велел ехать на похороны, не велел расстраиваться. Бред какой-то! Ну, пусть он с сыном последние годы почти не виделся, так только, по праздникам, и большой радости эти встречи не приносили — ну и что? Не вмешивайтесь! И все расступились, а он стоял у гроба, смотрел и удивлялся, что этот мертвый пожилой человек с тяжелыми, оползающими к шее складками вокруг плоского рта, что это и есть его сын. Надо было, конечно, заплакать, но не с кем было плакать, жену он давно схоронил, и поэтому старик так и простоял всю панихиду, темнея лицом и сильно опираясь на палку, на тяжелую трость с пупырчатым роговым набалдашником. А рядом, слева и чуть сзади, стояла медсестричка, тревожно вглядываясь в него и держа наготове клеенчатый чемоданчик, а в дверях стоял шофер и еще один человек по имени Аркадий Павлович, широкоплечий и вежливый.

Уже лет двадцать старику не полагался ни шофер, ни тем более Аркадий Павлович, поскольку то, чем старик занимался, уже лет двадцать как перестало быть предметом особой государственной заботы и охраны. Но медсестру старик мог вызвать в любой день и час и хорошего врача тоже. Уже спасибо...

Трость стояла, прислоненная к подоконнику рядом с письменным столом, а сам старик лежал на диване, в ежедневно свежей светлой сорочке и мягких фланелевых брюках, прикрытый легким шерстяным пледом. Он высовывал из-под пледа свои большие ноги в теплых носках, тихо шевелил пальцами и благодарил судьбу, что так хорошо умирает. Во-первых, в глубокой старости. Во-вторых, в здравом уме и твердой памяти. И главное, как ни смешно звучит, — умирает здоровым человеком. Просто — пора. Старик даже знал, как это будет: в один прекрасный день — может, нынче утром, а может, через год — он просто ахнет, вздрогнет — и все. Хорошая смерть, но старик немножко устал ее дожидаться.

Он стал капризничать. Он усаживал внука или внучку в кресло подле своего дивана и обиженно говорил, что подзадержался на этом свете и что ему самому такое положение, правду сказать, надоело. И вообще он сознает себя гостем на земле. Он гость в этой юдоли скорбей и что-то загостился. Домой, домой, к лучшей половине человечества! Старик вспомнил знаменитую могильную надпись — «я дома, а ты в гостях» — и пожелал, чтоб у него надгробие было именно с такой вот надписью. Кроме того, он решил взять на себя все неизбежно предстоящие погребальные заботы. Он знал, что его должны хоронить официально, за счет соответствующих ведомств, но он знал также, как это на деле бывает. Он сам не раз был председателем комиссий по похоронам разных полусредних деятелей. Да, да, именно полусредних — старик точно знал свою ступеньку на всеобщей лестнице. Только счета оплачивали, а так все сваливали на родню, а сами являлись постоять в почетном карауле. А там уж у кого какая родня... Глядя на внука, старик прямо наяву видел, как тот сутуло лезет к окошечку похоронного бюро, как запинаясь, подбирая слова, как его шлют куда подальше, как он все делает неумело, нелепо, не так, при этом потяя от стыда и страха, — и старику прямо тошно делалось. Поэтому старик все сам организовал и оформил, включая оплату автобуса. Нужен был отдельный памятник: не подтюкивать же его имя на памятнике жены или сына со снохой, — еще глупее. Небольшой, но отдельный, с этими самыми словами — «я дома, а ты в гостях». Старик вызывал

к себе разных скульпторов и архитекторов, выбирал проект памятника. Приходили кладбищенские халтурщики, приходили и настоящие мастера, но старику ничего не нравилось, все проекты были пошлы, вульгарны, безвкусны, он требовал себе других художников, молодых, оригинальных. Смелых!

Внук и внучка все его капризы выполняли безупречно, но в этой безропотности старик видел скрытый укор и прямо из себя выходил. Он собрался было позировать скульптору для бронзового барельефа, а потом ему пришло в голову этакое — вообще безо всякого портрета, а вделать туда зеркало. Вот такой многозначительный намек прохожему, который остановится. По ком звонит колокол? Он звонит по тебе!.. Но потом старик решил, что это выйдет слишком затейливо, никто не поймет, и зеркало может расколоться, или какая-нибудь дамочка, пришедшая на людные похороны, подойдет к его памятнику подкрасит губы и причесается, а то и целая очередь таких дамочек образуется, как в ресторанном гардеробе девицы толкнутся у зеркала, вытянув шеи. Старик любил рестораны. Любил этот вольный, чуть взвинченный настрой, любил усесться за лучший столик и первым делом развернуть и распластать сложенную корабликом салфетку. И, отстранив протянутую официантом карточку меню, сказать: «Значит, так... — На секунду задуматься, глядя сквозь почтительную фигуру официанта, и решить наконец: — Так! А принесите-ка нам...» Помнится, когда они с сыном еще дружили и вместе заезжали пообедать в «Савой» или «к татарам», — старик любил называть рестораны по-старому, — так вот, в те прекрасные времена сын бывало удивлялся: «Ты опять заказал без меню, а вдруг у них не окажется?» Окажется, окажется. Ни разу такого не было, чтоб вдруг не оказалось, если он просит. И даже в последнее время, когда у ресторанов толпились очереди, когда вечное «мест нет» висело на всех дверях, — старика все равно пропускали. Для него место всегда находилось. Только тростью, набалдашником, в стеклянную дверь постучать — и швейцар тут же открывал с улыбкой и полупоклоном. Иные удивлялись, думали, что его во всех кабаках знают. Ну, где-то знают, где-то нет, да не в этом же дело! Швейцар уже через стекло двери догадывался, по контуру, по осанке видел, что пришел хозяин, завсегдатай, человек сильный и щедрый, и поэтому надо дверь отворить, и шубочку принять, и метрдотеля позвать, и потом номерочек от шубочки протянуть, — и все с улыбкой, с пришепыванием и готовыми ладонями, куда старик не глядя толкал мелкую бумажку.

Как мало надо, чтоб перед тобой расшаркивались! — с тихим презрением думал старик. Как мало — хозяйская осанка, крепкий голос, взгляд насквозь и беспрекословная речь после краткого раздумья — «значит, так!» И он не любил людей за эту готовность уступить, утереться, смолчать, угодливо улыбнуться, и вообще он чувствовал себя чужим среди этого задерганного, напуганного племени. Одним словом, в гостях. Да, да, именно в гостях! Он всю жизнь прожил как в гостях, и добро бы в гостях веселых и приятных, так нет же — его как будто бы назло заставили высидывать унылое застолье в пошлом мещанском доме, где все сладенько улыбаются и заглядывают в глазки. Бррр! Домой, домой... И сына своего старик возненавидел именно за мягкость и уступчивость, за то, что тот не смог в положенное время стукнуть кулаком по столу и заорать: «Значит, так, папаша!» — как он в свое время заорал своему отцу. И отец выделил ему законную долю из их торгового дела и отпустил в Гамбург учиться к профессору фон Штауфенбергу. Страшно подумать, что было бы с ним, если б он тогда не настоял на своем. И поэтому старик терпеть не мог визитов сына с женой — сын появлялся на пороге заранее смущенный, весь извиняющийся, лез целоваться и обнимал за плечи мягкими влажными руками. А сноха, наоборот, разговаривала очень независимо и в кресле тоже сидела этак независимо, нога на ногу, покачивая носком модненькой туфельки, и столько жалкой заученности было в ее вроде бы дерзких словечках и вроде бы вольной посадке, что старик готов был заплакать от омерзения. Сын был полным ничтожеством. И в двадцать, и в тридцать, и в сорок пять лет он был только сыном своего отца и более никем. Старик своими ушами слышал разговор в мистическом коридоре: «Умер такой-то...» «Кто-кто?» «Ну, сын такого-то». «А... да, да...» Ну, братец, если ты и за смертной гранью остаешься сы-

ном такого-то и более никем, значит, туда тебе и дорога, и нечего скорбеть, что, мол, ах, рано умер. Знаете, если человек к пятидесяти двум годам не сумел ничего, фигурально выражаясь, извлечь, то вряд ли что-нибудь сумеет и в дальнейшем. Природа мудрее, жаль только, никто этого не понимает.

И старик подумал, что его тоже никто не поймет. Не поймут высокого презренья, с которым он отверг официальное погребение за казенный счет и решил воздвигнуть себе надгробие со столь дерзкой эпитафией. Конечно же, все подумают, что он капризничает, причём капризничает зло: имея право на государственные похороны, раскидывает деньги скульпторам и гранитчикам, меж тем как у него внук с ребенком и внучка с тремя детьми. А ведь действительно, у него двое внуков и четверо правнуков, и они не так чтобы очень прочно устроены в этой жизни. Вот внук и внучка приносят ему обеды, а он спросил: на какие деньги? Конечно, он примерно раз в месяц спрашивал, есть ли у них деньги, а они отвечали, естественно, что все в порядке. Нехорошо... А может быть, здесь действительно нет никакого высокого презренья, а просто очередной тяжелый старческий каприз? Старик думал об этом, временами задремывая, часа два, а потом позвал внучку, велел ей сесть и сообщил, что отменяет все свои решения насчет похорон. Велел ей взять квитанции и самодельный договор со скульптором, вытребовать назад все авансовые суммы и забрать деньги себе на любые надобности. Внучка слушала, вежливо кивая и вздыхая про себя, потому что все это тоже было очередным тяжелым старческим капризом, и старик это понял, и замолчал, и скоро заснул.

Ему приснился долгожданный сон, как будто он домой из гостей возвращается, как будто он стоит на маленькой круглой сцене, а вокруг громадный амфитеатр, это и есть дом, обитель большей и лучшей половины человечества. И все его зовут, и машут руками, и он идет, подымается, и все ему указывают на его место, и он садится, его обнимают, пожимают руки, хлопают по плечу, перегнувшись через ряд, через кресло, и все это похоже на большую аудиторию в старом университетском здании. А перед каждым, и перед ним тоже, лежит раскрытая, но непочатая коробка папирос, спички, пепельница и еще блокнот и острый карандаш, как будто все собрались на совещание. А внизу круглая сцена превратилась в землю, с городами и полями, с синими, как на карте, морями и реками, но при этом видны люди, как они суетятся там, бедные и неловкие, а все сверху смотрят на них и быстро пишут в своих блокнотах. Что они пишут, зачем? Ах, да, ведь это еще мама говорила про покойного дедушку: дедушка с неба на нас смотрит, он с неба все видит... Вот они и смотрят сверху на своих родных и тут же записывают все их ошибки и огрехи. Старик обернулся, поискал глазами деда, отца, жену, заодно и сына со снохой, но никого не увидел—столько народу, куда там! Амфитеатр высоко-высоко вверх уходил, терялся в дымке, и тогда старик снова взглянул вниз, на землю, и увидел дачное место Каменку и свою соседку Таню Садовскую. Он был тогда гимназист, ему было пятнадцать лет, и Тане тоже было пятнадцать, и они жили рядом на даче. Таня была в белых чулочках и туфельках, она только что приехала из города и вся была совершенно не дачная, с ровным пробором и аккуратным лучком на затылке, в маленьких круглых очках с золотыми дужками. А он, наоборот, только что из лесу вышел, в смазных сапогах и ватной куртке, с дробовиком и двумя рябчиками на поясе. И они столкнулись на аллейке. И он вдруг протянул к ней руки и стал ее целовать, а она стояла, закрыв глаза и опустив голову, и он бормотал ее имя и целовал, и все время под губы попадались ему холодные дужки очков, и он целовал эти очки тоже и, наверное, сделал ей больно, потому что она вдруг мотнула головой и посмотрела ему прямо в глаза. У нее были серые глаза и тонкий нос, она смотрела сквозь очки, и он понял, что умирает от любви, он раньше только в книжках читал, что кто-то умирает от любви, а теперь он умирает от любви сам, и, глядя в ее чуть двоящиеся из-за очков глаза, он едва выговорил: «Таня, я тебя люблю, давай поженимся... Хочешь?» И она прикрыла глаза и медленно кивнула, и тогда он снял с нее очки и поцеловал ее в губы, как жених свою невесту. И она обняла его и ответила на поцелуй, но потом вдруг отпрянула, вырвала у него свои очки и убжала. А когда он бросился следом, то было уже поздно—она уже

взбегала на крыльцо своей дачи. Он подергал калитку, было заперто, тогда он просунул руку, нащупал шпингалет, но тут из-за дома вылетели, захлебываясь лаем, Архар и Мастак — знаменитые гончаки Коли Садовского, Таниного старшего брата, а там и Коля закричал с крыльца: «Тубо! Тубо! Кто там?!»

Старик проснулся. Собачий лай еще звенел в его ушах, и он немножко задышался от бега, и во всем теле была легкость пятнадцатилетнего мальчишки, но тут же это схлынуло, и он окончательно очнулся древним стариком, лежащим на диване в ожидании смерти.

Сквозь стеклянную дверь старик увидел внучку. Она стоя разговаривала по телефону. Опершись о стол, она носком левой ноги некрасиво почесывала правую икру. Она краем глаза заметила, что он проснулся, но продолжала говорить про анализы, про хорошего консультанта, про путевку в Евпаторию и прочую дребедень. Наверное, внучка не любила его. И внук тоже не любил. Например, за квартиру — конечно, им было обидно, что они живут у черта на рогах в панельных домах, а он тут пребывает в роскошном одиночестве на улице Неждановой. А главное, после его смерти квартира уйдет, то есть никому не достанется, и это, конечно, жаль. Но не менее жаль, желчно думал старик, что человек умирает, а ближайшие родственники ходят вокруг и окусываются, жилплощадь высчитывают. Тьфу!.. А, впрочем, пусть. Пусть быстренько к нему пропишываются. Но кто именно? Внук или внучка? Да кто угодно, неужели и это за них решать придется? Передерутся, вздохнул старик. Господи, конечно же, передерутся... И во всем обвинят его. Старик знал: многие считали, что он жену, и сына, и сноху заодно свел в могилу своими капризами, обедами в ресторанах, преферансом и железным здоровьем. Несправедливо! Что они, не знают, как он работал? Над чем он работал? В какие годы он работал? Да он неделями дома не бывал, спал в лаборатории! Да ему как воздух нужен был ресторан, шум, оркестр — это его отдых, и зарядка, и зарядка на будущую работу, да, представьте себе, одни рыбу удят, другие на велосипеде гоняют, а он, уж извините, в ресторане обедает! Уж извините, с шампанским! Уж извините, в обществе милых дам! И вообще в конце концов разве он обязан давать отчет?! И насчет преферанса тоже — это, если угодно, были неофициальные совещания. Многие серьезнейшие вещи вот так, за пулечкой, обсуждались... Ну, хорошо, хорошо, возможно, он вправду был тяжел, требователен, даже капризен, но ведь работал-то он для них, ради своей семьи! Да он, ученик фон Штауфенберга, вполне мог быть тихим университетским профессором, тихо двигать теорию, и ему бы хватило и денег и славы. Но у него же была красавица жена! У них же сразу родился сын! И все его труды и достижения, все чины и звания, ордена и премии — это же все для них, только для них... А потом выясняется, что он самодур, эгоист и всех в могилу свел.

Старик вдруг снова вспомнил про Таню Садовскую и снова почувствовал, что умирает от любви к ней, как тогда, на дачной аллейке. Господи, ну почему все так получилось? Если бы он женился на Тане, он бы не стал ее сводить в могилу ресторанами, изменами и скандалами. Он бы любил ее, лелеял и берег, и сын бы у них получился хороший, сильный и умный, уважающий отца и вместе с тем самостоятельный человек. И внуки были бы здоровые и веселые, не то что эти кисляи. Господи, как все неправильно получилось, какая ужасная ошибка, вся жизнь — одна ошибка, и ничего нельзя исправить. Но почему?! За что?!

Старик медленно перевернулся на бок и зло всмотрелся в портрет жены, висящий против окна. Этот портрет написал в двадцать восьмом году в Париже знаменитый русско-французский авангардист Саул Фишман. Кубы и разводы, бледная рука, золотое пенсне на точеном носу. И старик вспомнил, что его супруга Татьяна Анатольевна и есть та самая приснившаяся ему Таня Садовская из дачного места Каменки.

Но почему нельзя прожить жизнь сначала начерно, приблизительно, приспособившись и примеряясь, а уж потом, поумнев и поняв что к чему, прожить ее по-настоящему, достойно, красиво и весело? Но если так нельзя, то почему нельзя хотя бы в последние годы, в последние дни исправить все ошибки, попросить прощения, обласкать, полюбить снова? Нельзя, нельзя, потому что нет уж никого, в отчаянии думал старик.

Хотя бы рассказать — и этого нельзя, потому что не поверят, смеяться будут. Ничего нельзя... Но почему так? Как это несправедливо, глупо, нелогично — значит, новые люди тоже будут мучиться и тосковать, а перед смертью поймут, где и как ошибались, но ничего не смогут поделать, даже предупредить других, и то не сумеют.

Он снова перевернулся на спину, посмотрел сквозь стеклянную дверь. Внучка все еще говорила по телефону. Вот она взяла сигареты, нашарила спичечный коробок, закурила, прижав трубку плечом к уху. Закашлялась, прикрыв трубку ладонью. Какая некрасивая, сочувственно подумал старик. Впалая грудь, тяжелые ноги, непородистая какая-то. В кого? Уж не в деда с бабкой, наверное... Но все равно ее было жалко почти до слез, старик и не думал, что он может так жалеть почти чужую некрасивую женщину, но ему очень захотелось подойти к ней, сказать что-нибудь особенно ласковое, погладить по голове. Он с трудом сбросил плед, вцепился в обшитую кожей пуговицу на диванной спинке — больше ухватиться было не за что, — поднялся, спустил с дивана ноги и стал шаривать тапочки.

Внучка обернулась на шорох и уронила телефонную трубку. Старик увидел, что она смотрит на него, странно меняясь в лице, и тут только он понял, что все его недавние разговоры про то, кто в гостях, а кто дома, — все это ерунда и собачья чушь, дурацкое ломанье, здесь его дом, здесь, здесь, здесь, и родные люди тоже здесь, в родном, любимом доме, и он не хочет отсюда никуда, ни в какие гости, ибо там обитель холодная и незнаемая и как его там встретят — бог весть.

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

Хвост селедки

Начало этой истории — год 1918-й, февраль. Москва промерзла, голодно. На рыбные склады Бугреева, как заяц, прискакал трясущийся парнишка в драной кацавейке. Дыхнув на пальцы, он постучался в дверь каптерки, вошел. Внутри сидит старик, он подгребаёт кочергой золу в печурке, пьет с блюдца чай.

— Чего тебе?

— Направлен к вам работать.

Старик протер очки: решением московского совдепа Иван Петрович Кожупан назначен на работу в рыбные склады. Подписано: продкомиссар Чубаев.

— Посмотрим, чего ты стоишь, помощник. На, ешь. — Завскладом положил перед Иваном осьмушку хлеба и хвост селедки.

Пока парнишка урчал, давился, он записал огрызком карандаша, когда и кем назначен новый человек: «А ну-ка, распишись!» Иван поставил крест вместо подписи.

— Теперь пойдем, посмотрим. — Взяв связку ключей и длинный шест с крюком, старик повел Ивана на склады.

Акакий Нилыч Куманьков, когда-то въедливый приказчик, за годы мировой войны дорос до интенданта рыбных складов всей первопрестольной. Сухой, косматый мужичонка в валенках, с мохнатыми ноздрями и ушами, он знал все хозяйство как свои пять пальцев. Склады Бугреева с 16-го года в подчинении правительства, и вот уже два месяца — в руках Советской власти.

Акакий Нилыч снимает пудовый замок, скрипит окованная дверь, и вот они в холодном полумраке: в безукоризненном порядке стоят бочонки с сельдями: ряды, ряды, ряды...

— Наука такова, — прокашлялся Акакий Нилыч, — я занимаюсь накладными и отпускаю гражданам продукт. Твоя задача — разделявать селедку. Смотри! — Старик снял крышку с ближайшего бочонка, достал за хвост селедку и положил на деревянный стол. — Селедочку делить — искус-

ство. Головку отрубай поближе к телу, кишки тащи легонько, чтоб не порвать молоку, а ежели икра — то отложи и дай просохнуть. Но главное по важности — селедкин хвост! Весь смысл разделки — кому же он достанется. Хвост не гниет, не пачкается, легко хранится и перевозится. Не нарушая смысла продрозверстки, ты можешь выделять и головы, и тушки, и молоки. Но вот хвосты — попридержи. Это резерв на крайний случай... Вот видишь, — показал Акакий Нилыч на взъерошенную крысу, которая украдкой подползла лакать селедочную жижу, — таким не место в наших складах.

Уверенным, стремительным движением он подцепил ее крюком, насаженным на длинный шест, и тут же швырнул в корзину с дохлыми собратьями: «Добро надо беречь! Таперича оно народное».

...К концу гражданской Ваня Кожупан освоил силу этого учения. Надевши кожаный пиджак, воткнув в петлицу красный бант, он вел учет и расфасовку всех сельдей, которые имелись на складах Москвы и Подмосковья. Иван заматерел, заметно округлился, стал грамотным. Пока матросы-анархисты погибали на фронтах, а горлопаны драли глотки на трибунах, он незаметно делал свое дело: разверстывал, разделявал и вел учет. Мусоля карандаш, он отмечал: «Получено, отпущено, направлено в резерв».

Прошли годы. Иван Петрович Кожупан стал хозяйственником крупного масштаба. Он пережил коварный нэп, поскольку твердо помнил принцип Куманькова: дело в том — кому достанутся хвосты.

И вот — финал. Февраль 38-го. Колонный зал. Иван Петрович Кожупан, начрыбнадзора, влезает на трибуну. Обритый наголо, в пикежном белом френче, он выпивает стакан воды и говорит: «Товарищи! В отчетном переломном мы заготовили сверх плана пятнадцать тонн икры и лососевых. Когда я вдумываюсь в эти цифры, то помню, с чего пришлось начать. В огне гражданской мы делили старую селедку и осьмушки хлеба, теперь же — заботимся, чтобы у каждого был ломоть осетра, белужий бок и баночка икры. Жить стало радостно, жить стало хорошо!»

Аплодисменты. Иван Петрович возвращается в президиум, где на сукне лежит записка: «Товарищ Кожупан — на выход».

В фойе его уж ждут. Массивный капитан НКВД ведет его к машине. Проезд по улицам Москвы, и наконец — Лубянка. Они проходят по бесконечным коридорам, пока не попадают в кабинет майора Головки. Он сразу обвиняет Кожупана: «Вредительски и расточительно вы относились к рыбресурсам Родины, вы отогнали поголовье сельди иваси от Сахалина к берегам Японии. Вы, вы... троцкист!»

Начрыбнадзора пытался возражать: «Послушайте, ведь я всю жизнь... я беззаветно, честно...» «Да, вы всю жизнь, но не на тех хозяев!»

Допрос продлился больше суток. Иван Петрович не получал ни пить, ни есть, но отрицал вину упорно. Махнув рукой, майор нажал на кнопку. Вошел охранник с большой выцветшей тарелкой, на которой распласталась жирная тихоокеанская сельдь с заржавленным хвостом и мутными глазами.

— Кушайте, Иван Петрович, а я покамест отлучусь. — С этими словами следователь покинул кабинет.

С минуту Кожупан сидел неподвижно и глядел на селедку. Потом он недоверчиво дотронулся до скользкой тушки: действительно, она. Тогда он взял селедку обеими руками и начал уплетать с хвоста, давясь и урча, как в дни далекой юности. От тихоокеанской молчуньи не осталось даже косточки. Иван Петрович вытер руки о некогда белый френч и тяжело задумался: что он здесь делает?

Через полчаса пересохло в глотке. Он начал барабанить в дверь — нет ответа!

Всю ночь его преследовали сельди с головой Акакия Нилыча. Наконец одна из них изловчилась и вонзила ему зубы под правое ребро.

Вошедший рано утром в кабинет следователь нашел Ивана Петровича лежащим на полу в печеночных коликах. Не приходя в рассудок, Кожупан подписал все протоколы: ему дали напиток, отволокли в подвал и расстреляли.

Вл. АБРОСИМОВ

Из жизни Достоевского

Был дом как дом: скрипучи лестницы, и в звонких балках пели сверчки. Был дом как дом — настолько деревянный, что гвозди рассосала древесина. Но дом держался на людях, как гвозди, вбитых в задеревеневшие свои квартиры. Здесь жили учителя и сумасшедшая старуха Марина. На первом этаже была библиотека. Однажды меня отвели в этот дом. Я стал самым маленьким читателем города. Добрые женщины встречали меня на пороге, их руки пахли канцелярским клеем. Они гладили меня по голове и отводили к стеллажам, где было темно, тихо и грустно. Это был заловедник списанных книг. Женщины топили ими печь, оставляя лишь переплеты.

В сентябре дом парил в синем прозрачном дыму, который наплывал с огородов, где сжигали сухую картофельную ботву. В такие сентябрьские дни во дворе бродила Марина. Она собирала пестрые лоскутки, пучки травы, желтой и хрупкой, увядшие георгины и развешивала все это по деревьям. Она играла в «Новый год», но, когда наступал Новый год, Марина забивалась в свою комнатку на втором этаже. Она боялась этого дня. В конце осени учитель рисования Орлов колот для всего дома дрова. Топор летал в его руках, березовые поленья плакали и смеялись от синего звона стали. Желтая, как подсолнух, голова Орлова поворачивалась за солнцем. Только к вечеру Орлов выбирался из-под груды изрубленной березы.

Тогда он шел слушать Наташу, учительницу пения. Она жила в угловой комнате и по вечерам пела странные песни, от которых все стихало: женщины не гремели посудой, мужчины отрывались от газет, у кошек открывались сытые глаза. «Мужа ей надо, хорошего мужа, мужика», — говорила Инесса Порфирьевна. Она учила детей литературе и выражала мнение дома. У нее был один враг — физик Пенкин. Он побывал в оккупации, а от таких людей, говорила Инесса Порфирьевна, всего можно ожидать. Но Пенкина это мало трогало. Он всегда защищался от нее первым законом Ньютона.

В конце декабря дом задыхался от веселья. Все были беспечны и пьяны, по лестницам разгуливали ряженые, пахло хвоей и терпкой смолой. Все желали друг другу счастья. Лишь Марина у новогодней елки билась в припадке, предчувствуя свой последний февраль. С крыш уже капало, словно дом простудился, и капли летели, крупные, как фасоль. Марину похоронили на средства, собранные обитателями. Ее исчезновение из списка жильцов было сметено несчастьем, которое потрясло всех. Был март. В школе был включен репродуктор. Он произнес одно слово, одно имя — и учителя зарыдали. Они заставляли плакать учеников. Но у детей это не получалось. От стыда они незаметно исчезали. Потом ушел физик Пенкин. Он вытирал глаза и шептал: «Так храм оставленный — все храм, кумир поверженный — все бог».

Я выбежал на улицу. Косое белое солнце било в глаза. Сосед вез из деревень кожи. «Садись!» — крикнул он. Я бросился в сани. Под полозьями визжал снег. На кожах скрипела сухая кровь. Мы промчались мимо Пенкина: он шел с непокрытой, лысой, как желудь, головой.

В полдень загрохотала река. Трецины рванулись от середины к берегам и захлебнулись в черной кипящей воде. Из скользких перекручивающихся струй вылетали льдины. «Весна, Орлов!» — кричала Наташа, распахивая окно в бездонное небо. «Весна, Наташа!» — кричал Орлов, прыгая на лед, и его соломенные волосы трещали под солнцем. «Орлов, сумасшедший, утонете!» — смеялась Наташа. А он весело метался по взмыленным льдинам. Вода кружила дом, ворочалась на мостовой; голубой воронкой вверх уходило небо, свистела пронзительная высь с загнанными под облака птицами. В доме все что-то переносили, перекладывали, хотели сбежать от подступающей к горлу воды. На нижнем этаже, как железы, вспухали доски. Только Орлов прыгал на сверкающих брызгах, Ната-

ша кричала: «Сумасшедший, утонете!», но он хохотал, лез по водосточной трубе к ней, дразнившей его яблочными зубами. А вокруг разрывались почки, в купоросе стояли темные леса и выпрыгивали русаками из воды деревни.

Когда кончался учебный год, зацветала сирень. Вечер пришел под ее потрясающий запах. Наташа сидела под старой вишней с книгой в руках. К ней подошел Орлов, сел рядом и стал говорить: он лучший рисовальщик города, но должен работать во всех школах, потому что у него большая мать и окаменевшая во вдовстве сестра. Он забыл про краски, но теперь он понял, если... «Вы — безнадежно хороший человек, Орлов, — сказала Наташа. — Не мучьте себя. Я покидаю этот дом навсегда». Она встала и ушла к себе. Орлов взял книгу и прочел название: «Бедные люди». Ошпаренные луной грозды осыпали нежные лепестки, река скользила в берегах, сладко пахли липы, дом угрюмо нависал над раскаленной сиренью, а под звездами сидел Орлов и шептал: «Бедные люди».

В июне Наташа съехала. В ее комнату поселили пенсионера Гаврилу Никандрину с верной, как затвор, женой. Но вскоре его возненавидела вся улица: это был склочник-профессионал. Его опиумные зрачки горели фанатическим огнем истины, и люди терпели это зло. Только однажды квартальный милиционер, устав от доносов, посоветовал ему: «Отдохните. У вас была трудная жизнь». Но он уже не мог остановиться, оставить дело своей жизни. Его задушил июльский полдень, потный и желтый. Вода в реке выгорала. У берегов она была похожа на спитой чай. Воздух, шершавый, как наждак, царापал небо. Все обещало грозу. Она пришла и наполнила город запахом рыбы, молока и укропа. Дома дымились от теплой дождевой воды. Улицу сотрясала тишина. Около дома стояла грубая телега, на ней лежал гроб. Кучер спросил: «Везти, што ль?» «Вези», — сказала жена. Колеса скрежетали по булыжнику. Никто не утешал ее. Она осталась вдовой склочника. Хмурая улица глядела на нее угрюмыми лицами соседей.

А в августе застучали топоры, штабелями лежали доски, мешки с цементом, бревна, горы песка и глины. Через две недели снова стало тихо. Мастера ушли. Дом стал игрушечным и ручным. Но на фасаде осталось нечто, закрытое куском белого полотна. Дом, словно птицу, окольцевали. Он больше не принадлежал мне. Утром около него собралась толпа туристов. Заведующая библиотекой сняла полотно, открылась белая мраморная доска с выдавленными золотыми буквами: «В этом доме с 1873 по 1880 год жил и работал русский писатель Федор Михайлович Достоевский». Заведующая библиотекой говорила о писателе, о его падучей, о городе, где среди купцов, лабазников и кредиторов в тоске по лучшим временам задыхался человек. Туристы слушали, посмеиваясь невпопад. Прикрывая ладонью рты, спрашивали у меня, где можно подешевле купить огурцы. Потом их увели на обед. Я подошел ближе. Золотые буквы плавилась под солнцем, пуская зайчики. И вдруг — исчезли, как будто прожгли белую доску и растворились в иссохшей желтой стене дома. Я бросился вон... в переулки, садами, мимо сараев, канав, лопухов, лебеды... и очнулся под старой вишней.

Я еще не знал, кто этот человек. Но мне казалось: он похож на дом, в котором жили учителя и сумасшедшая старуха Марина.

Игорь ТАРАСЕВИЧ

Ж а ж д а

Просто пить захотел, всего делов, никакого ЧП, пить захотелось, тоже нервы все-таки, эмаль с горла сошла, зацарапала в кадык изнутри. Это ощущение иглы под яблочком, знакомое с проангиненного насквозь детства, вечером вдруг всплыло, вспомнилось — чужой болью, неудобством привыкшего к комфорту толстого, плотного человека. Голиков почув-

ствовал, как тогда Главному стало нехорошо, неловко, запершило. И пожалел его с опозданием на четырнадцать часов: человек тоже, что ж сделать, нервы, пить захотелось. Все началось с приманивающего белого пальца.

— Э... капитан!

Давали пробную. Главный, как всегда на пробной,—так повелось, говорили, еще с послевоенных,—сидел в машине один, зашторенный, только обе открытые дверцы торчали по бокам «Волги», словно два черных крыла. Встающее солнце уже начинало жечь, ветерок умирал. Главный грузно заворочался, слышно было, как в тишине скрипнуло сиденье,—все молчало вокруг. В ту минуту он почему-то действительно остался один, на краткий миг свита вдруг рассеялась—уснул всех до последнего человека. Главный повернулся—никого не было рядом, только Рыбин метрах в пятидесяти скучал за спинами солдат. Дальше начинался полигон.

— Э... капитан!

Рыбин бросился к машине.

— Ну-ка, капитан, солдатика пришлите мне...

Рыбин, не вникая, резко повернулся от дверцы, будто что-то случилось:

— Воин!

В оцеплении Голиков стоял ближе всех, нерешительно шагнул, правая рука механически задергалась—одновременно держать сползающий ремень автомата и отдавать честь было невозможно. Не дожидаясь от сагаги рапорта, Рыбин сунул его физией в дверцу, перед ним оказалось—близко-близко—широкое в красных и синих прожилочках лицо и маленькие голубые глаза под пегими бровями.

— Ну-ка, сынок,—просто сказал Главный,—водички мне принеси. Лимонаду. Скажи там... Или тархуна...

— Делай!—прорычал Рыбин, довольный, что его, ротного, не послали за мелочью на глазах у подчиненных, что все в порядке, замечаний нет, что он легко может выказать исполнение.—Давай!—Он так же за шкирку вытащил Голикова из машины.—Туда!—подтолкнул его к приземистому зданию цеха, откуда уже рысил кто-то в белом халате—из штатских, потом еще один—в костюме по такой-то жаре.

— Четырнадцать!—закричал тот, подбегая.—Четырнадцать, Николай Иванович! Вторая—восемь!

— Хорошо,—сказал Главный и снова заворочался.

— Ну!—Волосатая рыбинская лапа второй раз пихнула Голикова в спину.—Примерз?

— Есть...

Голиков растерянно сделал несколько шагов и побежал—по площадке все только бегали, и он судорожно перенял горячку испытаний. Приклад заколотил по ягодицам.

Время от времени роту поднимали в оцепление, и, случалось, сутки они зачем-то стояли, сменяясь, по границе полигона и выводного цеха, плавясь на жаре, отстраненно наблюдая бегающих, слушая гул в песках, медленно пережевывая горячие под защитной панамой мысли. По другим сторонам полигона тянулась колючка. Голиков не был там, не видел за четыре месяца службы ничего, кроме казарм своей части, столовой, фаерного клуба, бетонного сортира, покрытого известкой и, чуть зайди, режущего глаза острым запахом аммиака, ничего, кроме составленного из белых панелей цеха и желтых, начинающихся прямо за площадкой, переходящих один в другой барханов, уходящих в горизонт, под синее небо. Пустыня, цех—все это было сбоку припека, это не касалось самой службы или касалось косвенно, отчасти, все это называлось «объект», и было объектом, не нуждавшимся ни в осмыслении, ни в понимании, выходящих за рамки «Устава караульной службы». Куда как более важным представлялось то, что, например, сказал на утреннем построении Сито—старшина роты прапорщик Ситало, что думал про него, Голикова, младший сержант Манукян, командир отделения. Теперь Голиков вдруг оказался в центре происходящего, на острие, бездумность службы рухнула в один миг, и говорить, действовать нужно было как-то иначе, чем прежде.—быстро и громко.

Он влетел в открытую арку цеха, и стоящий возле нее штатский, выдавший, что солдата подзывали зачем-то к машине Главного, пропустил его. «Сейчас, — мысль закрутилась где-то на задворках сознания, — сейчас увижу». Еще одна маленькая мысль мелькнула: «Сам напьюсь от пуза. Буфет». Голиков не знал, конечно, что за штуку испытывают в песках, да особо и не интересовался. Политзанятия в роте проводились четкие: положено — получи информацию, нет — не суйся. Он не совался, только мальчишеское любопытство вдруг вспыхнуло сейчас.

В цеху под потолком висел на тросах огромный непонятный агрегат, от которого в разные стороны отходили такие же огромные, серебряные и черные, тусклые кабели. Агрегат тихо гудел, как холодильник. Из бока у него сочился игольчатый пар, который тут же рассеивался на сквозняке. Этот, стеновой, был копией, макетом того, что одиноко урчал сейчас за два с половиной километра от людей. Человек двадцать в белых халатах стояли у приборов здесь же, на выложенном плиткой полу.

Голиков, дыша, остановился, как конь на тяжелых копытах, сердце колотилось, обвел взглядом работающих людей и задрал подбородок к потолку. Там щелкнуло, и металлический голос спокойно сказал:

— Режим.

В нутре агрегата заурчало и оборвалось.

— Шестнадцать. Восемь, — сказал голос под потолком.

Один из белых халатов оторвался от дисплея и протрусил мимо Голикова, задев плечом о торчащее дуло. Голиков, глупо улыбаясь, проводил его взглядом. Сейчас халат закричит, подбегая к дверце: «Шестнадцать, Николай Иванович! Шестнадцать! Вторая — восемь!» «Хорошо, — скажут в машине, — хорошо...» Перед глазами встало потное лицо Главного, и улыбка с Голикова слетела. Вновь ощутив горячку приказа, он шагнул дальше, к маленькой белой двери в стене, за руки с двух сторон крепко взяли двое в штатском — в рубашках с короткими рукавами. Голиков инстинктивно рванулся и тут же оказался прижатым к металлической стойке и разоруженным. Быстро подошел молодой капитан с синим околышком. Руки разжались. Голиков ошеломленно полез под гимнастерку и потрогал плечи, стараясь не плакать от боли.

— Кто? Куда? Ну!

— Лимонаду, товарищ капитан, — выдохнул солдат, — лимонаду... что вы... или тархуна...

— Что-о?

— Пить захотелось, — кривясь, сказал Голиков, моргая глазами и не соображая, что охрана не понимает его. Все тело ломило после мгновенного применения на нем боевого самбо, в голове стоял туман, а пить действительно хотелось невероятно.

— Почему с оружием? А?!

Капитан принял автомат, повернувшись, отдал его кому-то и молча протянул руку. Голиков, сообразив уже спинным мозгом, чего от него требуют, рефлекторно вложил в эту руку военный билет.

— Режим, — прозвучало опять под потолком, и солдат снова поднял голову.

— Голиков, — неприязненно прочитал капитан. Агрегат заработал.

— Шестнадцать. Девять.

Человек в костюме и вместе с ним уже вернувшийся в цех белый халат опять выскочили наружу. Люди рядом радостно заговорили. «Вторая — девять, Николай Иванович!» — еще от арки послышался победный голос и растаял на жару. За порогом цеха, где загорались идущие из-под ног рельсы, уже вовсю лупило солнце. Голиков облизал сухие губы, но почему-то не сказал ничего, не объяснился. Капитан тоже посмотрел вверх, скептически поджал губы, видимо, решая, как поступить. Тусклый огонек, словно отблеск близкого светила, мелькнул в его глазах и погас. Капитан кивнул головой, Голикова повели. За дверью, в которую он только что стремился, оказался выложенный из непроницаемых для взгляда стеклянных кирпичей коридор с несколькими дверями. Голикова ввели в последнюю. Там за конторкой сидел прапорщик в черных солнечных очках и стоял сейф.

— На, попей. — Один из штатских взял со стола графин и налил Голикову теплой кипяченой воды. Проливая воду на грудь, Голиков огром-

ными глотками выхлестал стакан, утерся рукавом гимнастерки и без разрешения, совсем обалдевший, опустился на кожаную банкетку у стены. Здесь стояла канцелярская тягучая тишина, снаружи — тоже тишина, только далекая, открытая, продутая горячим ветром. Там, снаружи, Рыбин подумал, что сосунок и бегать как следует не может — подметки тыкались в разные стороны, голова болталась. Эта картина мелькающих сапог на белом фоне стены повисла в сознании, словно мираж в осенней пустыне за барханом. Рыбин уже после «разрешите идти?» и четкого разворота с рукой у правого виска — ножка отставлена, приставлена, банц, банц, раз, два, первые пять шагов строевым, порядочек, а Главный не смотрел, чихать ему на Рыбина, ему пить хочется — Рыбин уже после мига, в котором действовал не помня себя, — подскочил, подозвал солдата, дал команду, миг прошел; после всего Рыбин сплюнул липкой, скудной слюной: бегать не может. А тоже — ротный виноват. Ротный.

Он кивнул Гмырову, лейтенанту, командиру первого взвода:

— Время. Давай!

Стояли на солнце не по часу, а по сорок минут, сейчас выходила смена. Второй взвод выстроился у машин, брякающей цепочкой двинулся — уже готовые были, встали печься, поддрумниваться. По первой неделе на оцеплении шеи у солдат становились шоколадными, если, конечно, не слезала кожа. Дети, мать их, дети. Шестнадцать лет Рыбин глядит в даль над барханами, тринадцать лет — ротным, тянет лямку — сколько еще? Еще, еще, еще раз сплюнул. Слюны не было. Давно не было.

— Пить хочется, товарищ капитан, — сказал взводный за спиной. И у взводного, и у каждого солдата фляги давно опустели.

Взглянул на лейтенанта — тоже молодой, второй год из училища, не растратил энергию.

— Еще не так захочется, — пошевелил белыми бровями. — Попрыгаешь здесь... на-а... зайчиком...

«На-а» Рыбин приговаривал со школы и рукой при этом поводил, делая какой-то приглашающий жест. Осталось от детской немоты, потому — от заикания. И теперь еще в случае волнения Рыбину перехватывало горло, слова не шли, и он только багровел, молчал. Сейчас отвернулся. Делать ему было нечего. Следовало пройти к телефону и доложить норму обстановки оперативному дежурному — рота докладывала из любой точки каждые шесть часов, но Рыбин медлил, дожидаясь конца испытаний. После отбоя пришлось бы докладывать снова о прибытии в расположение подразделения, а звонить каждые двадцать минут не хотелось. Опыт имелся — Рыбин чувствовал, что сирену дадут вот-вот.

Усмехнулся сухими губами.

— Что, опять вода сразу кончилась?

— Нету сил терпеть, товарищ капитан, — радостно сказал взводный, словно бы удивляясь упрямству собственных внутренностей. — Тело требует, организм.

— Организм... на-а...

— Ага. Сейчас бы к речке куда-нибудь, — сказал молодой лейтенант, еще не понимающий тщеты пустых речей. — Ивы если, коряги, удобно ловить, сидишь — холодок... У нас речка, знаете — во, — он показал руками, — шириной, а рыба — во, — показал еще раз и, чуть осекшись, взглянул на Рыбина, — во. Ей-богу! Карась, щука.

— Рыба, — недовольно повторил Рыбин.

Рыба рвалась из рук, дергалась, но пальцы держали крепко-крепко, влажная живая чешуя потом осталась на ладонях — нежными лепестками прозрачной слюды. Не любил куканов — голубое ведро стояло под кустами ивняка, в тени — шагнул, сунул карася в ведро, тот рванулся, словно хотел напиться, набрать воду, пропустить через себя. Ведро упало, вода хлопнула об траву и стекла, травинки на стоке стали приглаженными, маслянистыми, по ним запрыгали оба пойманных карася, плотва и молодая щука. Передвинув кобуру на спину, присел, опять взял в руки — теперь щуку, та медленно, зевая, раскрыла пасть, пасть больше туловища, только пасть и хвост, больше ничего, пятнистая жаба кожа щуки сморщилась, хвост тихо шевельнулся, надо было ждать удара. Прыз! Рванулась, рванулась на свободу, к-ку-да? Пальцы залезли под жабры, нащупали твердые черепончатые хрящи и взялись за них. Куда?

Тут Рыбин поднялся и начал багроветь.

— Н-не может быть... на-а... товарищ подполковник. Парень... на-а... хороший. — Он по-штатски взял трубку обеими руками и приложил к уху. — Не может быть... Есть! Есть! Выхожу! Разрешите положить трубку? — Он уже привычно рычал, вгоняя себя в норму. — Есть!

Выскочил из-за стола, матерясь, застегнулся, махнул щеткой по ботинкам, короткие в белых волосках пальцы прошлись по обмундированию, проверяя ажур. Рыбин выскочил под солнце, на пороге остановился было, злобно посмотрел на подходящих голиковских взводного и отделенного, но ничего не сказал, а только приказал ждать его в роте и зашагал по бетонной аллее, обсаженной желтым, умирающим можжевельником.

2

— Разрешите, товарищ подполковник?

— Давай.

Подполковник повернулся на вращающемся кресле, махнул рукою на вошедшего Рыбина: мол, не докладывай, вижу, что по приказанию прибыл. Узкое лицо подполковника выразило неудовольствие.

Вчера подполковник лечил зуб. Пломбу ставила молодая лупоглазая врачиха, только что из института, красневшая, когда подполковник, двусмысленно улыбаясь, называл ее Татьяной Викторовной. Врачиха, орудуя в зубе, прижималась к подполковнику твердым, как рельс, бедром. Подполковник сначала испытывал это прикосновение, сильно чувствовал его и на зуб не отвлекался, но тут она добралась до нерва, подполковник взвыл и с трудом не дал себе соскочить с кресла.

— Все-все-все-все, — сказала врачиха, с испугом глядя на бледного подполковника, — больше не будет. Все. — И, срываясь голосом, закричала: — Цемент!

«Цемент, сука», — подумал подполковник.

Теперь пломба мешала, подполковник все время цыкал и трогал зуб языком.

— Садись, Рыбин.

Рыбин сел под такой же, как и у него в канцелярии, вентилятор. Рыбин был в вискозной гимнастерке с длинными рукавами, в португее — с охранения же, а подполковник — в легкой с короткими рукавами и открытым воротом рубашке, недавно введенной для южных частей. Такие рубашки Рыбин называл футболками.

Подполковник пощипал:

— Мало мне забот, — он потрогал щеку снаружи — еще с... — он зашипел и не окончил слова — с вами тут... Происшествий не случилось, Рыбин? — Рыбин молчал, начиная наливаться краснотой. — На свою... приключений ищешь Рыбин? Мне докладывают: солдат совершил попытку вооруженного проникновения на закрытую территорию. Это как, а?

— У нас везде... на-а... закрытая территория, товарищ подполковник, — сказал Рыбин.

— Вот именно. — Он все цыкал, как вурдалак. — У нас, конечно, не Байконур или там Семипалатинск, но все же... В таком духе и надо воспитывать личный состав. Знаешь, что полагается за эти шутки?

Подполковник, не вставая, потянулся к холодильнику, стоящему рядом в углу, вытащил яблоко, с треском надкусил.

— Сука! — заорал подполковник, вскакивая. Стул его покатился и ткнулся в стенку. Рыбин тоже вскочил. Подполковник держался за щеку, потом, брезгливо сморщившись, полез рукою в рот, нащупал там что-то, дернул и вытащил кровавый кусок зуба. — Сломался! Смотри, Рыбин! Сломался! Ах, сучка мосластая! — Он совал под нос Рыбину пахнувший обломок. — Вот пломба. Цемент! Сыплется, смотри! — Он начал ковырять в пломбе пальцем.

— Это... на-а... ошибка. Разобраться надо, — сказал Рыбин, стараясь не глядеть, — товарищ подполковник.

— Какая ошибка? — вскричал подполковник. — Ты что, не видишь?! Во! — Он повертел зубом перед Рыбиным. — Врачиха-то, а? Ноги из подмышек растут, а пломбу не может сделать! У!..

Подполковник положил обломок на стол и надавил танкетку звонка.

— Стакан марганцовки мне из медпункта! — приказал он возникшему в дверях солдату. — Живо!

Тут Рыбина осенило. Бычью физию его озарил свет.

— Товарищ подполковник, не надо... на-а... разбираться. Голикова я послал за водой в цех. Больше ничего. Я... на-а... виноват.

— Я-а, — протянул подполковник, — посла-ал. Да кто ты такой, Рыбин? Разобра-а-ться! Главный послал, разобрались уже. Главный! Понял? Чего хочешь-то? Вину взять? — Подполковник потрогал лежащий зуб. — Дурак твой воин, понял? Не виноват он.

Подполковник, успокоившись, сел за стол.

— Завтра генеральная, а вы мне устраиваете кино на открытом воздухе, — проворчал он и, не удержавшись, потрогал во рту пальцем. — Поздно, капитан Рыбин, подаете рапорт в академию. Засиделся на роте, устарел.

— Я первый раз восемь лет назад подавал, товарищ подполковник! — бешено сказал Рыбин.

Подполковник хмыкнул:

— Отсюда удрать любой, можно сказать, жаждет, понял? Любой. А вот порядок в роте наведите сначала. Ясно?

— Та-ак то-очно! — заревел Рыбин, выпучивая налившиеся кровью глаза.

— Вот так. Кто-то должен быть и наказан, сам знаешь, положено... Солдату от меня десять суток с отбытием на пищеблоке, — он цыкнул, — или на свинарнике. Помпохоз докладывал — на дальнем свинарнике людей нет. Туда. Все. Отбой.

— Разрешите идти? — рывкнул Рыбин.

— Кровищи-то! — Подполковник вытащил изо рта окровавленный палец и вытер его о бумажку на столе. — У нас, скажи, как на фронте. Кровь проливаем, а твой дурачок не может толком объяснить, что его за водой послали... Идите. Завтра чтоб никто и никуда.

Рыбин вышел на солнце, сплюнул под ноги. Слюны не было. Теперь хотелось только лечь, вытянуть голые пятки и заснуть. Он посмотрел на часы — воду в душ давали по графику, сейчас как раз выходило время. Блочные постройки военного городка словно бы качались на жаре, воздух конденсировался, густел, лился. Вместо того, чтобы бежать в душ, Рыбин, не отходя от штаба, присел тут же, в курилке, вытащил сигарету, выпустил сизый дымок в синее небо. Река текла, река утекала, утекала мимо Рыбина, утекала с плескавшейся плотвой, с зеленью по берегам, с утренней холодной дрожью, когда просыпаешься и чувствуешь, как за ночь свело онемевшее тело, медленно распрямляешься, потягиваясь в спальнике, заставляешь работать мышцы, кровь прогоняешь по жилам. Рыбин уже и глаза закрыл, сидя в теньке. Кровь по жилам. Кровь по жилам. Вспомнив зуб, Рыбин, цыкнув не хуже подполковника и собрав, жуя ртом, всю слюну, сплюнул в пыль.

К штабу вертко подкатил «уазик», из него медленно вылез Голиков и остановился. Он стоял врастопырку, как описавшийся, и автомат держал в отдалении от себя на вытянутых руках, словно опасаясь, что оружие сейчас само начнет стрелять. Тут он увидел Рыбина.

— Товарищ капитан! — закричал Голиков. — Это я!

— Вижу, ё, — сказал Рыбин. — Здрате.

Голиков засмеялся. У него сильно болели плечи — хватанули его крепко, но ощущение свободы, освобождения превозмогло все. Полчаса назад было страшно, и страшное что-то ждало впереди, и он все пил и пил воду, каждый раз спрашивая у молчаливого прапорщика в темных очках. Теперь, когда Голиков сидел на улице рядом с командиром роты, обычная жизнь вернулась к нему, лишь на миг приоткрыв дальнюю свою перспективу, и больше ничего не могло произойти с ним, все разъяснилось. Голиков легко поставил автомат меж сапог, приклад мягко стукнулся в песчаную пыль.

— Дай, — сказал Рыбин, — салага.

Он выдернул автомат у солдата, осмотрел его, словно решил вместо старшины проверить, как почищено оружие, и натренированным движением отщелкнул полный рожок. Верхние два патрона тускло блеснули в тени под навесом. Рыбин содрал с притихшего Голикова подсумок, пихнул туда рожок и подсумок надел на себя.

3

У дальней границы части, километра через четыре, колючка начинала идти с разрывами, то и дело попадались вставки обычной плетеной сетки, которой огораживаются садовые участки дачников, а потом и в сетке начали встречаться дыры, проемы, вызывающие ассоциации с рыбацкими сетями, сушащимися на берегу, — в детстве Голиков видел такие в Юрмале; нынешняя сеть, плывущая в жарком мареве перед взглядом, такая же истонченная, как и рыбацкая, так же упиралась подолом в песок, и также над сетью стояло синее небо, и вкус соли на губах напоминал запах моря, терпкий, пряный; казалось, море сейчас откроется за обрывающейся сетью. Последний пролет сетки висел, заворачиваясь, на покосившемся столбе. Ни единого человека охраны, вообще никого не было у обреза гарнизона. Тут не нашлось ни одного секрета, нуждающегося в сохранении, да и вообще мысли о каких-либо тайнах не могло прийти в голову. Из-под панамы стекло. Голиков снял панаму и утерся рукавом.

Вместо моря перед воспаленными глазами оказалась глухая насыпь. С холма было видно, как, выходя из дальних барханов, колея широким полукругом охватывает горизонт, отделяя степь от пустыни. Песок втягивался в колею и, перебродив, затворенный сухими шпалами и тонкими стальными рельсами, отторгал железнодорожный путь, как живое тело отторгает запекшийся на порезе наплыв сукровицы. Под ногами насыпь тяжелела, но молчала тоже; сухо молчали мышинные кустики ковыля. Их сладкий бензиновый запах можно было подержать на ладони — настолько настоялся воздух, лишенный ветра. И такой же густой, но только кислый аромат встречал входящего в маленький под насыпью домик свинарника. Зажимая нос, Голиков прошел свинарник насквозь, ничего не видя в темноте после солнца, и снова вылез наружу по другую сторону.

В загоне, полном желтой грязи, стояли под навесом свиньи, которые не поместились внутри заведения. Уткнув рыла в ноги, свиньи плавались на жаре и словно бы вспоминали о чем-то. У стенки загона возился человек в рабочей куртке и бриджах с кантом, в солдатских кирзачах.

Голиков кашлянул, раздражая горло, и человек вздрогнул, обернулся, на солдата уставились маленькие глазки на красноватом с прожилками лице. Испуг плеснулся в глазках и пропал в них.

— Что, сынок? — теми же словами, что и Главный, но совсем по-другому — хлопотливым шепотом, спросил старичок. — Провинился, выходит?

— Рядовой Голиков прибыл в ваше распоряжение... на десять суток, — равнодушно сказал Голиков.

Старичок отвернулся и снова начал устанавливать у стенки странное корыто с резными бортиками.

— Сейчас, сейчас, — бормотал он, — сейчас, сейчас, сынок... А что это ты? — Он снова посмотрел испуганно. — В хэбэ? — Вынул из кармана связку ключей и, выбрав один, протянул Голикову всю связку. — На-кось, возьми тужурку, запачкаешься.

Голиков вернулся в свинарник, в темноте на ощупь открыл дверь и нашарил коленкорový халат на гвозде, вышел, споткнувшись о железные весы на полу.

— Ну, эвоть, — сказал старичок. Он отпихнулся от песка ладонями и, чуть постояв с согнутыми коленями — в позе приземлившегося парашютиста, медленно, со скрипом разогнулся. — О, господи! Сейчас! Я сам, ты не ходи.

Голиков никуда и не порывался, сел на песок. А старичок, неожиданно быстро, как паук, передвигаясь на кривых ножках, тоже сунулся в свинарник, выскочил со шматом каната в руках, размахнулся, откинув-

шись, причем его лицо, немного походившее на лицо Главного, приобрело еще большее выражение испуга, и вдруг ловко, словно ковбой, бросил в загон разматывающееся в воздухе лассо. Свиньи шархнулись и забегали, потом враз остановились. Старичок, переступая, волок к бортику пойманную свинью. Свинья упиралась разъезжающимися копытами и визжала тонко, по-пороссячи: «Иии! Иии! Иии!» Голиков тупо смотрел снизу.

— Ну, сынок, — натужно выдавил старичок, — помогай!

Голиков, очнувшись, бросился, схватился за шершавый канат и потянул тоже. Свинья резко из стороны в сторону мотала головой, пытается сбросить петлю. Почему-то тощая, со впавшим животом, похожая на бездомную собаку, она ненавидяще полоснула Голикова глазками.

— Ну, сынок! Ну!

Они перехватили свинью под мышки и обрушили через ограду. Из морды свиньи торчала кустистая, колючая борода. Не переставая визжать, свинья забилась в руках. По-разбойничьи придавив ее коленом, старичок быстро обмотал ей передние и задние ноги свободным концом петли, разогнулся с треском в костях, опять, теперь облегченно, выдохнул: «О, господи...» Он сдвинул прапорщицкую фуражку на затылок, достал платок и аккуратно промокнул жидкие стариковские прядочки. Свинья замолчала. Судорога ходила по ее желтому телу.

— Зачем сюда-то? — глупо спросил Голиков, не понимая.

Старичок взглянул на Голикова и ничего не ответил. Кряхтя, он плюхнул снова завизжавшую свинью в корыто, ноги ее стукнули о бортик, Голиков хотел было сказать, что ей больно так, но не сказал, а только, нагнувшись, переложил свинью поудобнее. В это время далеко-далеко в песках взлетела красная ракета, еле различимая на солнце, за ней взлетела другая. Это был сигнал — лишняя предосторожность. Людей вывели из пустыни. Старичок — тоже двумя руками — заботливо передвинул дергающуюся свиную морду и, вытянув из-под корыта длинный хлебный нож, ткнул его свинье в горло. Потоком хлынула кровь, устремляясь в желоб, начала густо стекать, на глазах испаряясь и темнея. Тонкий, высокий звук визга перешел в тяжелей, рваный, свинья похрипела несколько секунд и замерла, как-то сплала, обнажились клыки. Кровь перестала течь. Голиков, побледневший, с выпученными глазами, отвалился от корыта и снова сел на песок. Старичок хлопотливо резанул свинью по животу, вывалились кишки; он голыми руками, сразу ставшими по запястьям красными, взял склизкую блестящую массу, отражающую свет, одним махом бросил в загон. С радостным хрюканьем свиньи бросились к ней, толкаясь и сшибаясь друг с другом, кусаясь, все выжрали, захватывая грязь из-под ног, в единый миг. Голикова повело, он приподнялся, но тут же сел снова. Рвоты не было, не выходило, но голова кружилась, и синяя пелена застилала взгляд.

Когда он пришел в себя, от свиньи остались только отдельные части — прапорщик, старательно пришептывая, распиливал свежее мясо, жир горел на солнце. «Корейка, сычуг, — неизвестно откуда всплыли в голове у Голикова странные слова, — вырезка». Вырезка — понятное слово. Вырезка. Грудинка.

— Ну-ка, сынок, — быстренько глянув, сказал старик. — Оклемался? Водички принеси мне... Возьми там в бачке. И сам попей.

Голиков встал, бросил коленкоровый доспех и пошел.

Жажда действительно стала уже нестерпимой. Горело не в горле, не лицо горело — все тело зудело, одежда царапала, натирала, кожа, словно пропеченная, отслаивалась маленькими слюдяными пластинками неживой ткани и, мокрая, требовала увлажнения. Шатаясь, Голиков отыскал бачок. От кружки пахнуло прохладой, зубы свело на мягкой алюминиевой кромке. Захлебываясь, он пил и пил, вода лилась словно бы мимо тела, не утоляя боли, а, наоборот, вызывая новую боль в раздувшемся желудке. Под ложечкой что-то натянулось и держало, не отпуская. Вода лилась уже на самом деле мимо — за ворот, на грудь, на колени, он пил, судорожно черпая и черпая снова и снова, со скрежетом проводя кружкой по дну бачка, уже не соображая, пьет ли он или просто обливается. Осознав это, Голиков последнюю кружку вылил себе на голову, но, оказалось, на голове у него все еще сидела панамы, и последняя влага пропала на-

прасно: с обвисших полей побежала капель. Вростопырку Голиков вышел наружу.

— Ну! Давай! — Старичок обернулся и увидел Голикова. Глазки его стали совсем маленькими, лицо затвердело. — Эвоты! Все выпил, нет?.. ёк! — просто добавил он непечатное слово. — Давай воды!

Словно бы в ответ, Голиков, ничего не слыша, а только ощущая зуд и неудобство в мокрых бриджах, растегнулся и достал фаллос. Детородный голиковский орган оказался воспаленным, в ядовито-розовых пятнах. Голиков, стоя с мотней наружу, сбросил ремень и содрал с себя халат и рубаху — на животе и на руках пламенели такие же розовые пятна нервной аллергии. Он не успел ничего подумать — солнце палило, плечи и спину ожгла огненная полоса, сразу же вторая, третья. Голиков запутался в спущенных бриджах и упал. Показалось, что свинопас хлестал его канатом, словно камчой, и удары сыпались не переставая. Голиков закричал, забился, захрипел; старичок, бросившись, четко обмотал канатом его держащиеся сапоги. Вспомнив, Голиков закрыл руками, защищая, горло, хотя закрывать тут надо было оголенный пах или голову.

— Молчи! — страшно проговорил над ним старичок. — Молчи!

Голиков затих и он, кряхтя, размотал ему ноги и выпрямился, задыхаясь. Голиков лежал, как изнасилованный.

— Ну, что, сынок? — наклоняясь, спросил старичок. — Понял, как воду надоть беречь, нет? И как... показывать? Понял?

— Понял, — тихо сказал Голиков, — товарищ прапорщик.

— Так одевайся.

Голиков, переламываясь, поднялся, чувствуя, что душа его уже вышла из тела. Солнце било в глаза, но не было сил хотя бы закрыться рукой. Он захотел взять с песка панаму, некоторое время собирался и наконец поднял ком грязи и брезента, нахлобучил на лицо. Посыпались шматочки мокрого песка.

— Тебя, сынок, забыл, на сколько прислали-то?

— Десять суток, — тупо сказал Голиков, не глядя в лицо старика. — Десять суток от начальника гарнизона.

— Э... Эвоты, мы с тобою споемся еще — ой-ой! Сынок... Ой-ой, говорю. Споемся, как? Отвечай, коли спрашивают.

— Споемся.

— Во... Показал бы зеркало тебе, да нету зеркала. Тут свиньи, да и все дела. Свиньи, — сильно сказал старичок. — Ни им, ни мне глядеться часу нет. Понял?

— Понял, товарищ прапорщик.

— Хорошо, если понял... Теперь так: переодеться, тебе, скажем, — он заулбылся, и добрые морщинки разрубили корочку загара на нем, как снежный наст разрубают следы санок, — сейчас переодеться нужды нет — работа ждет. И так хорош. К закату ползагона... — он обернулся, — ладно, вот от сих, гляди, до сих снимешь верхи, а то засохнет ихняя параша. Свиной гони в угол. Верхи снимешь — подметешь. Часы есть?

Голиков посмотрел на пустое запястье.

— Нету.

— Ну, говорю, — к закату.

Старичок пошел было, но вернулся и сказал:

— Переодень, хэбэ все ж таки. Вон положь на пол, высохнет через десять минут. Потом стряхнешь, и хорош. Понял? Возьми на гвозде робу.

Голиков кивнул. Жажда мучила его по-прежнему, но мысль о воде вдруг показалась нестерпимой. Он представил себе чуть дрожащий кружок поверхности в тонком стакане, запотевшую бутылку с газировкой, нежный парок, поднимающийся, только открой крышку, над темным горлышком посуды, и картины, еще не так давно вызывавшие напряжение всех, казалось, жил, сосудов, мускулов, души и тела, прошли сейчас сквозь него, как уходит сквозь песок пролившаяся влага.

Оставшись один, Голиков разделся, теперь уж совершенно догола, и, со стоном подставляясь под заходящее солнце, как под душ, начал растирать тело, словно бы желая смыть начинавшие уже проявляться синя-

ки. И боль тоже проходила сквозь него и уходила в песок, как вода. Кое-где кожа оказалась поцарапанной, сорванной, выступившая сейчас кровь запекалась на глазах, мозжолко сильно; Голиков знал, что долго так стоять на солнце нельзя, несколько раз он подумал об этом, будто бы несколько раз сказал себе, что стоять на солнце нельзя, стоять на солнце нельзя, стоять на солнце нельзя—пока необходимость одеться, уйти под крышу проникла сквозь синие и зеленые круги в голове к обессиленному сознанию.

Быстро наступал вечер. Белое солнце, навсегда прибитое к пустому небу, покровянело и стало валиться в такой же пустой горизонт, обещая и назавтра сухое, недвижимое марево, становящееся уже к десяти часам реально видимым, осязаемым; взгляд натыкался, куда ни посмотри, на струящиеся вокруг пространство, как рассеянный человек натыкается, куда ни шагнет, на вывешенное во дворе белье. Люди дышали тяжело, как рыбы на берегу. Привычные вырабатывали в себе какое-то иное дыхание, жабры, выбирающие вместо кислорода последнюю влагу из воздуха. На рубахах выступала соль, неровный ее белесый след не брала потом ни стирка, ни чистка.

Решив теперь, что все-таки можно уже и не одеваться, Голиков натянул только трусы, взял лопату и, мгновение постояв, соображая, начал рыть прямо под ногами. Правильной формы не получалось, стенки ямы все время осыпались, но он все рыл и рыл, пока посреди площадки перед свинарником не оказалась почти прямоугольный плат более темного песка глубиной сантиметров в семьдесят. Тогда он опустил туда четыре заскорузных копыта, клыкастую, с застывшей мукой, свиную морду и, аккуратно срезав, выложил сверху багрово-коричневые лепешки запекшейся свиной крови. Забросав могилу, он разровнял руками поверхность, дунул, и вечерний ветерок дунул, заметая след. Свиньи, на жаре стоявшие равнодушно, теперь сгрудились у бортика и неотрывно смотрели на Голикова. Голиков заметил, что, не отводя взгляд, они моргают, как люди. Это открытие его удивило. У свиней были такие же кустистые соломенные бровки, как у прапорщика и у Главного, только, конечно, более мелкие, едва различимые.

Он вошел в загон, свиньи дружно шарахнулись в сторону и отбежали, топоча, в дальний угол. Тогда Голиков вернулся, бросил лопату и лег у стены свинарника, глядя в сгущающееся небо, но тут же встал, подложил под себя робу, а под голову, скатав его, хэбэ, снял сапоги и улелся снова, раскинув руки. Ступни горели не хуже, чем изломанные, избитые плечи. Голиков, сдаваясь, пустил боль внутрь тела, тело стало непослушно-свинцовым, навстречу боли изнутри тела поднялся сон, освобождая, словно бы навсегда, от жажды, от любых желаний. С жадно уходил дневной жар, темнело над спящим Голиковым, ветерок, разровнявший свиную могилу, крепчал, начал тихонько напевать в песках. Под песню хорошо, хорошо спится. Засыпая, Голиков вспомнил Главного, подумал, что тот наверняка еще не спит, пожалел его, утреннего, испытывающего волнение, желающего пить, пить, и—теперешнего, вечернего, далекого и непредставимого. Голиков не слышал, как по колее перед свинарником прокатилась дрезина с охраной, а потом—тепловоз, медленно толкающий перед собой платформу с чем-то, закрытым брезентом. Рядом с платформой шли по насыпи люди, уставшие за день. Они не думали ни о чем, желание отдыха только и поддерживало вычерпанные до дна силы, а Голиков уже спал в пятидесяти метрах от них, весь истраченный за день и ставший сам желанием и жаждой сна. Тени, удлинившиеся за несколько десятков минут, растворились в темноте, и на чистом небе проявились, как на фотобумаге, звезды. Нестерпимо ярко засверкали они; дифрактующие лучи слепили глаза, как раньше слепило глаза солнце, но солнце, не считаясь, зажигало огнем все подряд, а резкие лучи звезд били точно в зрачок, и от этого округа представлялась еще более темной, темнота пугающе сгущалась, как только что сгущался в колышащееся марево дневной свет. Лаз коли — звезды ничего не освещали, а лишь усиливали страх, говоря о невозможном расстоянии между Землей и светом. Как ни желай, это расстояние нельзя было ни пройти, ни проехать, ни преодолеть так или иначе, а можно было только отвести рукою, смахнуть за раз, как за раз смахивают крошки со стола. И Голиков водил руками во сне, дрожь волнами

ходила по его телу, как по телу приговоренного, голые ноги дергались, словно хотели бежать и застревали в песке. Песок охватывал ногу по косточку, сыпуче-вязко держал ее и наконец отпустил, словно показывая и силу, и равнодушную снисходительность прощенья; вполне возможно, он таил в себе зыбучую пропасть, в которой песчинки не связаны с собою ничем и потому не терпят присутствия живого, или, наоборот, песок скрывал под налетом перетертой пыли твердую стиральную доску морского дна, выточенную давней волной, которая плескалась во сне Голикова. Голиков присел у мокрого склона, погрузил руки в пузырящуюся пену и засмеялся от удовольствия. Тут же прибой, выкатываясь, залил его голые ноги. Это уже невозможно было терпеть, и Голиков громко застонал, не в силах иначе выразить счастье. Он еще несколько минут посидел так на корточках, позволяя воде то окружить себя, то неудержимо схлынуть, то снова окружить, то снова схлынуть. Первый восторг прошел, и Голиков старательно промыл ноги между пальцами и, прыгая, чтобы не ступить чистой ступней на песок, перемотал портянки. В сапогах, конечно, оказалось сподручнее, привычнее, сапоги сами требовали ходьбы, движения; разумеется, что, надев сапоги, необходимо было идти, и Голиков пошел сначала вдоль берега, а потом, перестав различать грань между влагою и твердью, пошел по воде, так же, как и в песок, погружая в воду сапог до обреза шва, тягуче выдергивая ногу и снова погружая. Темнота создавала иллюзию прохлады. Ночной бриз бодрил, но не остужал, и горячие мысли Голикова некому и нечему было охладить. Он лишь думал, что, пожалуй, этак зайдет на большую глубину, с которой трудно уже будет вернуться. Однако именно на глубине его ждало утешение, знание этого тянуло к себе и возбуждало, как женщина, — не говоря ни слова. Голиков, хватая ртом духоту, шел и шел, чуть согнувшись, вытаскивая и вытаскивая из сыпучей воды пъящие сапоги. Сливаясь, неглубокие кратеры его следов казались бы, обладай человеческий глаз инфракрасным разрешением, одной корявой, с обтерханнами краями полосой, пьяно шатающейся по барханам и с таким же пьяным упрямством идущей вперед. Но ветер знал свое дело. Вечно обновляясь, волны двигались вместе с человеком, и утром, когда старичок, подагрически приседая, спустился с насыпи к свиарнику, постоял, тихонько матерясь, перед неочищенным загоном и начал искать солдата, от следа на море не осталось уже ничего.

4

Он боялся поднять голову — только смотря под ноги, можно было не встретиться взглядом с глядящим. С рассвета прошло не более двух-трех часов, но солнечный глаз уже просверливал затылок. Там, на небе, сидел Главный и хотел пить, и смотрел, мгновенно прожигая, глаза в глаза на Голикова. Голиков уже не мог выносить взглядов. Он остановился, схватился руками за голову. Он не плакал. Чей-то взгляд — свиной ли, человеческий — остался в душе и колол, колол. Голиков резко поворачивался, словно одинокий в темноте, и со страхом оглядывал пустые барханы, не зная, на чем остановить глаз.

Только что свет был утренним, нежным, во впадинах лежали легкие тени, но теперь они исчезли совсем. Пустыня загорелась. Голиков думал, что сгорит вместе с нею, и тогда тоже станет, как она сама, сильным и равнодушным, но огонь, сжигающий его, не соединялся с ровно полыхающим желтым пламенем округи. Голиков прошел километров десять самое малое, а жажда все не покидала его, все еще хотелось пить, взгляд в спину становился невыносимым.

Голиков лег плашмя и начал, извиваясь и работая руками и ногами, зарываться в песок, как зарывается в землю жук-могильщик. Толком не получилось — он только побарахтался, обдирая пальцы о мельчайшие частицы кварца и засылая струи песка за ворот и в рукава. Полузасыпанный, Голиков ткнулся носом в песок и застыл, призывая сон. В голове зазвучала медленная, тягелая музыка. Голиков еще успел подумать, что панаму надо все-таки надеть, чтобы его убило ровно, без боли. Панама лежала рядом, но она уже не требовалась; мысли человека стали жидкими, как вода, и, как вода, текли и высыхали.

Взгляд пронзил его, как выстрел. Голикову даже показалось, что он и слышал выстрел. Не понимая, что этим он вновь, теперь уже в обратную сторону, переступает черту, отделяющую его от свободно плескающей, счастливой, чистой воды, Голиков рывком поднял голову, и черное лицо его высветила судорога. Перед ним стояла, приподнявшись на передних лапках, двухметровая желтая ящерица. Широкие бурые поперечины у нее на спине шевелились, и плоский, вертикально сплюснутый хвост дрожал, только крокодильи морда была неподвижна, неподвижно смотрели в пространство выпуклые белые глаза. Но вот на них опустились, как шторы, бородавчатые ресницы, прямо перед лицом Голикова на мгновение заплескал, как пламя, язычок и пропал. Прогоняя счастливую тяжесть, по телу Голикова волной прошел холод. Голиков тихо закричал, вскочил и кинулся бежать, но тут же споткнулся, хлестко шлепнулся, как карась на сковородку, снова вскочил и снова с криком побежал, чувствуя, что он беззащитен сзади, что у него открыты спина и шея. Ему почему-то представлялось — варан, словно прыгающая с дерева рысь, обязательно бросится на шею.

Пробежав немного, он вдруг остановился, измученный и задышающий. Заработавший мозг выдал команду на «стоп». Рядом никого не было, чудовище пропало, зной с шелестом и треском давил на плечи, пригибая и пригибая вниз.

— Пить, — прошептал Голиков и обвел взглядом пустыню, словно высматривая, кто бы дал ему попить. — Пить...

Под взглядом сверху воздух трещал, повиснув одной неподвижной толщей. Время от времени в нем образовывались промоины, в которых слои испарений, струясь, преломляли этот взгляд и звучали тоже, сами становясь музыкой. Пустыня жила. Прямо от ног Голикова вдруг быстро-быстро зазмеился извилистый след — кто-то заскользил прочь совсем близко под поверхностью песка. Отпрянув, уставившись безумными глазами в извивы следа, Голиков разглядел черного микроскопического краба — рывками переваливаясь на спичках-ногах, тот шел поперек змеиного следа и, видимо, знал, куда. Голиков отпрыгнул еще раз — о скорпионах он был понаслышан, просветили в роте. Возможно, это и был скорпион. В ужасе Голиков осмотрел место, где стоял, — вокруг неподвижно осыпался песок, и, возможно, в его толще скрывалось живое.

— Хэ! хэ! хэ! хэ! хэ! — быстро выдыхая, произносил Голиков. — Хэ! хэ! хэ! хэ!

В каком направлении он двигался? Кажется, он шел на солнце, да, на солнце, значит — на восток, на восток. Значит, теперь надо идти на запад — в обратную сторону. Где запад?

Сжав кулаки, чтобы не кричать, Голиков поднял голову и посмотрел на небо. В глаза ударил солнечный взгляд. Такое же белое, как и вчера, солнце висело на небе неподвижно, и невозможно было понять, с какой стороны оно поднялось и в какую сторону собирается опуститься.

Горловой собачий стон вырвался у человека: «Имммммм...»

Озираясь, Голиков двинулся вперед, остановился, пошел назад и опять остановился. Потом уже уверенно пошел по собственным следам, внимательно разглядывая песок, боясь наступить на змею. Змеи были самое страшное.

Пройдя десяток метров, Голиков остановился снова. Дикая улыбка отпечаталась у него на лице и застыла. Ведь его будут искать! С вертолетами! Старичок... Старичок-то уже, конечно, доложил по начальству! Искать с вертолетами!

Взгляд сверху подобрел; ища спасения, Голиков, все повторяя «хэ! хэ! хэ!», вновь поднял голову, отыскивая в совершенно пустом эмалевом небе движущуюся точку. Перевернутая чаша казалась мытой-перемытой пристальными женскими руками — ни соринки, ни пылинки не осталось на ней. У края горизонта небо светлело, чуть выше становилось все синее, синее, потом — совершенно синим, как море, а совсем над головой, прошитое светом, давало желтый, золотой отблеск, который высекал слезы.

Александр ТРОФИМОВ

О чем думает трамвай?

В ошалевшем от жары городе мчался я куда-то по делам в огненном трамвае, точно надеясь убежать от самого себя. На тротуарах лежали сотни умерших листьев с загнутыми от жары краями. На них невозможно было не наступать, хотя я берегусь ходить по листьям и жаль мне их прах, разносимый ветром, в редкие минуты оживавшим в переулках. И думал я о краткости жизни и о том, что на чьих-то часах мала, быстротечна и хрупка моя жизнь.

Трамвай упрямо двигался сквозь жару, точно надеясь на холод в конце пути, давя неосторожные листья, довольствуясь двумя своими мыслями-рельсами, и, казалось, ничто его не могло остановить, и, исчезни электричество в проводах, за которые он так легко, даже с каким-то шиком держался, он все равно бежал бы вперед силой своего необъяснимого желания. И бог весть почему, должно быть, от жары, захотелось мне побыть... трамваем, пробежать равнодушно-озабоченно мимо старинных домов, наполненных одной-единственной мыслью — не снесли бы их по глупости в очередную кампанию.

Человек-трамвай. А что? Были же сфинксы, кентавры, почему же не быть и человеку-трамваю? Да и велико ли отличие, если присмотреться: по двум рельсам-мыслям, а то и одной, по двум рельсам-чувствам, а то и одному, проложенным с детства, мчимся мы вперед, то сворачивая, то попадая на круг, — мчим неизвестно куда, неизвестно почему...

И так ясно представил, опрокинувшись в мечту, что я — вон тот пробежавший трамвайчик, трамвай...

...вот качу я и ни о чем не думаю, заботы меня не гложут, рельсы прямые, люди осторожные, под колеса не лезут, поссорившись с жизнью. И бегу я себе, бегу...

И застучали в висках новые, прежде совсем незнакомые мысли.

Третий день меня не мочит и дождя нет, Клавка-водительша совсем спятила — влюбилась опять в своего первого мужа, а у нее уже третий. У Тишинского рынка рельса левая плохо лежит, того и гляди угробит меня — надо поосторожнее быть, посмекалистей. Хорошо бы сегодня пораньше в парк смотаться, выспаться. Завтра Мария Петровна из отпуска вернется, любит пораньше приходиться, чтобы завтрак не она, а невестка дома готовила, ох-о-х, дела наши трамвайные, заботушки. Клавка-то в третий раз губы красит, дура, на нее и не смотрит никто — двое детей: кто позарится? А туда же, вон как на тощего юнца пушки свои наставила. Был бы я не трамваем, а мужиком, ни за что бы на свете с такой жить не стал. И вечером — не убирает. Всю ночь — грязный, потный... Вспоминать неприятно. Сколько людей, сколько людей. Целуются, рожают — даже в трамваях. И умирают порой на сиденье — кто по дороге в собес, кто по дороге в загс. А на перекрестках на красный свет прут, точно в магазинах одесскую колбасу выбросили.

Признаться, превратившись в трамвай, я раздвоился и слушал свои мысли; и все больше и больше хотел вернуться полностью в свой человеческий облик. Вдруг остановка, точно всю линию, большой круг трамваеобщения обесточили. Стою, глазею по сторонам. О, кто это? Из воздуха — нет, нет, — разве из такого пыльного, жаркого воздуха может появиться это чудо? Даже коса есть — до пят. Из эфира выкристаллизовалась она. Тут дали электричество, и я засверкал от радости бенгальским огнем. Она обратила внимание на меня и восторженно замерла, глядя на мой подарок, и я высверкнул от радости новый цветок, и сноп свежих лепестков упал к ее ногам. Незнакомка отпрянула, в восторге приоткрыв уста.

О, сколько было в ней этого удивительного углового очарования подростка — почти несомого, порхающего по дням, точно бабочка по цветкам, и нежной сопричастности всему окружающему миру.

Я рванул к ней, забыв, что я трамвай. И тут же публика качнулась: кто-то набил шишку, кто-то разбил диетические яйца, а тайно прово-

зимая без намордника собака неистово залаяла на персонального пенсионера, полагая, что он источник всех бед. Губная помада вылетела из Клавкиных рук. В кабину водителя так забарабанили, словно начался пожар, а все двери оказались закрыты.

Прекрасная незнакомка прошла по рельсам, и я заметил, как оторвался у нее каблук. И в тот же миг Клавдия безжалостно погнала меня вперед, и я чуть не потерял сознание от такого бесчеловечного обращения, от обиды на всех и вся...

Из оцепенения вывел меня грубоватый толкающий голос:

— Конечная.

Голос вытолкнул меня из сиденья и прогнал на улицу.

Куда мне было идти?

Я остановился в тяжелой задумчивости. Все вокруг казалось иным. Рядом остановились влюбленные, поневоле я прислушался к их разговору.

— И где мы будем жить? — спросила молодая женщина.

Я обратил внимание на пузатый чемодан, стоящий у ног ее спутника.

— Хорошо бы стать деревом, — задумчиво сказал он, — никакая жилплощадь не нужна.

— От твоей мамы и поленом станешь...

Тут подошел трамвай, и мужчина, выведенный из задумчивости его грохотом, проговорил:

— Или трамваем, ему тоже жилплощадь не нужна.

Женщина согласно промолчала.

Мой трамвай постоял минуту, словно чувствуя своего. Супруги влезли в него, посадили чемодан, и он тоже влез, тяжело кряхтя, и сразу же потребовал себе отдельный билет. Супруги не соглашались, очевидно, у них было мало денег. К сожалению, мне не удалось узнать, чем кончилась их перепалка. Думаю, что чемодан настоял на своем, слишком важный вид он имел.

Мой трамвай исчезал. И мне показалось, что я покидаю свою оболочку.

— Да все тебе приснилось, — сказал трезвый, не трамвайный, внутренний голос, когда трамвай совсем исчез из виду.

— Может быть, — миролюбиво ответил я, — но очень жаль, если это так.

На это внутренний голос ничего не ответил и исчез в неизвестность, из которой появился. Я бросился было за ним, но там была такая тьма и столько паутины, что поневоле пришлось прекратить погоню.

«А вдруг и вправду все приснилось?» — подумал я с грустью, обтирая с любопытных пальцев паутину, и почувствовал, как в знак несогласия с этой мыслью закололо сердце. У вас есть сердце? Если есть, то оно должно болеть, иначе — зачем оно?

Но боль моего сердца прошла, растворившись в радости от увиденной вдруг рябины.

Больше всего люблю рябину. У нее кровоточит сердце, и это видно всем. Но не всем видно, что кровоточит оно от боли за человека. А был лишь август...

Кусочком трамвайного сознания я решил, что рябина похожа на светофор — зеленые листья и красные грозди!

Если бы я не побывал в шкуре? — оболочке? — трамвая, могла ли мне прийти такая мысль? Точнее, подобные мысли.

Я побрел вдоль трамвайного пути. Рельсы сверкали так, словно узнавали меня, и, казалось, если бы шпалы не удерживали их, то они бросились бы в мои объятия.

Я благодарно улыбнулся им.

Я шел долго, и было очень шумно вокруг, но дивная тишина стояла во мне, в самой сердцевине моей души. Чистая, как родниковая вода. И мне показалось, что и дома, и деревья, и люди — все это во мне, а не снаружи, что все это — малая часть меня.

Я шел медленно, глубоко задумавшись...

Внезапно остановился, не понимая, что привлекло мой взгляд. Пригляделся: рельсы как рельсы, асфальт как асфальт.

И вдруг — каблук. Каблук. Как я не разглядел его сразу? «Тот самый», — заспешило к нему мое сердце, еще быстрее, чем мой взгляд.

Я благоговейно подошел к нему—к каблуку!—благоговейно! Нагнулся. Поднял. Он лег на ладонь, закрыв собою линию жизни.
На стене у меня висит не подкова, нет-нет...
Вы догадались?

Андрей КОСЕНКИН

Бенефис

Душевную боль Иван Балыкин терпеть не умел: плеснул, сколько надо,—она и затихла, опять заныла—еще плеснул, на то и душа. А здесь ноет и ноет, пей да пей, кажется, но нет. Не то чтоб подорожало, при его зарплате хоть пей, хоть не пей, не то чтоб не достать—это даже напротив, когда захочется, из одного противоборства напьемся. Но не хотелось.

Мать у Балыкина умерла. Одиноко в дальнем маленьком городке, где и в помине не было никакого театрера, оставив Ивану потрепанную сберкнижку, полную скудных взносов. Минус половина почти что тысяча. Иван уже твердо решил: уйдет мать на пенсию, и он ее заберет, да хоть в свою коммуналку. Но мать умерла неожиданно. Без пенсии.

Вот тогда Иван и перестал сильно пить. Не бросил, конечно, вовсе бросить все равно не хватило б воли, но пить, как пил раньше, перестал. Не то чтобы перед мертвой матерью совестней было, чем перед жившей (хотя, как ни странно, и это тоже), но главное, действительно жизнь терять надоело. А потом, то ли здоровье ушло, то ли водка не та пошла, только после приличной выпивки в себя приходил Иван болезненно и нескоро. Да часы еще начали останавливаться. Никогда не барахлили, а тут как подаст чуть сильнее, глянет утром—стоят. И странное дело: стрелка в стрелку на полуночи. Хотя, конечно, ничего странного, просто по пьяни заводит забывал. Такие часы. Но Иван по склонности к суеверию решил, что это мать ему о т т у д а знак подает: бросай, мол, Ваня... Бросить не бросил, но перестал. Часы пошли.

Случилось это два года тому назад. Срок по нашему веку маленький, и вряд ли Иван мог сказать, что хоть в чем-то с тех пор изменился. Но внешние обстоятельства постепенно приобрели благосклонные к Ивану черты: и оклад повысили, и квартиру дать твердо пообещали, и самого в профком выбрали. «Земную жизнь пройдя до половины», Иван уже находился в том возрасте, когда судьбу перекроить можно, лишь разрывая ткань не по шву, или же при помощи какого-нибудь отчаянного везения, а на худой конец внезапной беды. Однако ни бед, ни везения Иван не ждал.

Женился Иван, как и многие его товарищи, случайно. В ту пору один приятель так как-то сказал при встрече:

— А я, брат, женился. Надоело триппер лечить...

Вот и Иван женился. Конечно, не совсем так. И даже совсем не так—ведь было же что-то, было?..

Чужой сонный дом, высокие ступени парадного, куда он, провожая, затащил ее от мороза. Коврики у дверей, на каменном полу шубка искусственная. Кошки ли на чердаке шарашатся, ветер ли в дымоходе воеет, и они на шубке, как на необитаемом острове. Пока к утру не протрезвели и не замерзли. Ну и подали заявления.

А потом она об Ивана бутылку разбила. Ладно б с водкой, а то с кефиром. Главное, что кефир—обидно, одно название—повод для развода... Нет, нехорошо они жили, и вспомнить нечего. Да он и не вспоминал. Только вот ребенок остался. Чудом, что не калека,—пил Иван по молодости вообще без меры. Но обошлось.

А отцовства Балыкин понять не успел. Сын только «папа» говорить начал, они и разъехались. Да и какой он, к чертовой матери, «папа» был?

Все-таки не зря в инфантилизме их обвиняли: какое уж там самостоятельное сознание, да и откуда взяться ему, самостоятельному?—ни дел, ни мыслей, инстинкт и тот не развился вполпьяна под телевизор с овациями.

— Папа, папа...

А он стоит над кроваткой, и даже нетрезвого чувства какого нет—и все: ну, ребенок, ну, маленький, ну и что?..

Теперь вот школу скоро закончит. А отцом считает Иванова однокурсника. Лет десять назад Балыкин начал писать сыну письма. Сядет ночью и пишет, как какой-нибудь Честерфилд. Но не отправляет, конечно. Много их уже набралось.

Раньше читал Иван лишь по редкому интересу и служебной необходимости (что, впрочем, не мешало ему в узком профессиональном кругу слыть человеком достаточно книжно осведомленным), но после того, как умерла мать и Балыкин перестал сильно пить, совершенно для себя неожиданно он пристрастился к чтению и теперь чуть ли не каждую неделю объявлялся в библиотеке. А в библиотеке работала Наталья Сергевна.

Она была одинока и некрасива. Даже густые и длинные волосы, сами по себе представлявшие несомненное достоинство, в ее прическе, раз и навсегда определенной еще в школьные годы, казались чужими. Черты лица, как у ребенка, прорисованные мягко и неуверенно, и после многих встреч вспоминались с трудом, а глаза, от участия и внимания казавшиеся близорукими, в памяти выплывали за стеклами очков, которых на самом деле не было.

Когда потерянный и смятенный в поисках книжного утешения Иван пришел в библиотеку впервые, Наталья Сергевна и встретила его там. Причем не по службе, но как бы смущаясь и тихо радуясь, будто знала, что он придет. Иван, конечно, это заметил, но не удивился. Да и не до того ему было. Хотя в следующий раз опять пришел в ее смену. Ну, а уж дальше вообще, кроме Натальи Сергевны, дела ни с кем не имел и, если не видел ее за длинной конторкой абонента, уходил со старыми книгами. Читал же Иван в ту пору, как классик: много и все подряд, виделись они часто и однажды разговорились.

Иван не помнил, о чем она говорила, да, видно, и не в словах было дело, но после—и это осталось в нем, как давняя память о запахе или вкусе,—ему еще долго было небольно и хорошо.

И когда все вроде бы улеглось, библиотеку Иван не бросил. Она стала ему нужна. И даже не книжным своим утешением, что все равно не спасало, но как место другой, не его, чистой и лучшей жизни. Ну и Наталья Сергевна, служитель, тоже стала нужна ему. Правда, в этом признаваться даже себе Ивану не нравилось, тем более о близости с Натальей Сергевной он не думал. Во-первых, обмануть ее было слишком несложно, а потому особенно низко, а во-вторых, ему хватало библиотеки.

Да и в библиотеке говорили они немного. Долго говорить с Натальей Сергевной, понимать или делать вид, что понимаешь, Ивану было неловко и даже стыдно оттого, что, не зная, она считает его умнее, добрее, чище—короче, лучше, чем он есть. Ему было странно смотреть на себя ее глазами и узнавать в них себя, непохожего. Встречаться же с Натальей Сергевной вне очарования ее казенного дома Иван не хотел, боялся, что и она превратится в обычную женщину, с которой только говорить уже скучно.

А, собственно, что она говорила? Так, пустяки... Например, что Соня в «Дяде Ване» неправильно произносит фразу «надо жить», ударяя на «надо». Потому что Чехов написал не «надо жить», а «надо жить». И был прав. И ему, Ивану, и всем нам надо ж и т ь, жить светло, радуясь этой жизнью, пользуясь ею во благо другим, помня о том, что никто не знает, что еще с нами будет. И ничего, что много зла и мрака кругом,—только во тьме виден свет, только во тьме он по-настоящему-то и нужен! А еще нужно все время на что-то решаться и рисковать. Господи, не так уж и хороша наша жизнь, чтобы бояться ее изменить. И не в том беда, что не сделаешь один какой-нибудь шаг, в конце концов кто-то другой решится и сделает его за тебя, но в том, что сам ты не поверишь себе, не поверишь, что **м о ж е ш ь**, и твоей дорогой, предназначенной лишь тебе, пойдет кто-то другой и сделает, что должен был сделать **ты**, а ты останешься, и ос-

танется тебе только локти кусать: вот, мол, и я так-то мог бы... А он может, он хороший, просто редко хороший, только не помнит об этом, а помнить об этом нужно... И тогда многое переменится: и его жизнь, и тех, кто близко, и даже тех, кто кажется совсем далеко; и он увидит, узнает что-то.

Что? Видно, она и сама не знала. Или знала, но объяснить не могла. А может, и объясняла, только Иван не понимал. Он лишь острее осознавал, что не так живет, как просила его она. И не получается у него по-другому. Но, когда Иван выходил из библиотеки, сердце его стучало быстрее, и ему, и правда, казалось, что вот чуть-чуть — и он поймет, узнает важное и научится жить иначе. Хотелось совершить значительное. Нечто. И сейчас, непременно сейчас. Иван знал: оптимистического заряда, что получал он в библиотеке, было мало для долгой жизни.

И в это короткое время даже город, всегда чужой ему город, который он не любил, становился понятней. А город был средний, средне-русский, обыкновенный.

Больше всего Балыкина умиляла болезненная страсть городского начальства к перманентному благоустройству троллейбусных остановок. Если бы величие их архитектурных форм отражало рост благосостояния граждан или же степень развития транспортных услуг, то и тогда вряд ли было оправдано стремление израсходовать деньги так бездарно и глупо. Открытые всем ветрам остановочные комплексы для скопления пассажиропотока поражали приезжего человека очевидной наглядностью фундаментальных свидетельств отеческой заботы и процветания и отсутствием какой бы то ни было функциональной мысли. Ни одна из остановок не повторяла другую, отличаясь соответственно значению места расположения причудами бетонных фантазий и богатством убранства. Решетчатые, ажурные, со стрельчатými бойницами и просто круглыми и квадратными дырами в дурную погоду стены этих сооружений будто нарочно создавали свистящие сквозняки, и в какую-нибудь особенно гнусную, злую пургу, стоя под бесценными сводами в ожидании транспорта, горожане испытывали смешанное чувство горечи, удивления и гордости — ни в одном другом городе таких остановок не было. В жизни Иван не любил театральщины и в знак молчаливого протеста троллейбусом старался не пользоваться, предпочитая ходить пешком. Да и город был невелик.

А в общем, обыкнейший городишко. Он давно хотел отсюда сбежать, да, когда мог, не успел, а теперь не хватало духа.

Но, возвращаясь из библиотеки, Иван не думал о городе плохо. Иногда ему бывало даже приятно ощутить себя его жителем. Хотя и в эти минуты в душе он оставался приезжим. Прошлое города прошло без Ивана, собственное же Иваново прошлое осталось жить в другой местности. И, наверное, поэтому о горожанах Иван думал, немного отделившись от них, будто не был одним из многих, будто жил иной, чем они, горожане, жизнью. Или по крайней мере знал, как их жизнь изменить. Случалось, он и правда, выстраивал утопические прожекты нравственного, а то и политического усовершенствования. Но не всерьез: кому это нужно, когда хватает того, что есть, даже если чего-то и не хватает? А потом, он ведь и сам не знал, как жить по-другому, и жил, как все. Но мало ли кто о чем думает и кому хоть однажды не казалось, что все легко изменить? А по роду своей деятельности Иван имел право на такие смешные мысли.

Иван Балыкин работал в драматическом театре актером.

Провинциальный актер — это совсем не то, что столичный. По множеству обстоятельств профессия актера в театральной глуши утратила прежний манящий лоск. Здесь имело значение все: от спектаклей, не нужных, как кастрюля на голове, до зарплаты, узаконивающей эту ненужность.

Однажды на выездном в черном, промерзлом клубе, где они давали сцены из итальянской жизни, от яркого света и жара мощных выносных ламп проснулась муха. Проснулась и, обалдев от фальшивого преждевременного тепла, начала носиться над сценой, жужжа и радуясь пыльными крыльями: весна, весна! А по календарю был январь, их группа вторую неделю моталась по области, обреченно отыгрывая стертый, как давно отштампованная кинолента, спектакль, и в редком клубе редко какая муха не просыпалась от их простуженных, ненатуральных для Италии голосов.

Но этой мухе просыпаться было явно не след. Закрутив очередной сумасшедший вираж, внезапно она исчезла в малиновом рту героини. Зрители за мухой не следили и потому ничего не заметили, но Иван-то следил за мухой и видел, как жестко сомкнулись за ней крашенные губы партнерши. Муху она приняла на вдохе и даже выплюнуть не успела эту летучую стерву, а только судорожно дернула кадыком, как делают, нечаянно проглотив какую-то дрянь или вишневую косточку. Но виду не подала (не зря же она была заслуженной артисткой республики) и, выдержав уместную паузу, продолжила сценическую игру.

Доярки вздыхали паром в студенном клубе — трудно жить в Италии проститутке!..

Да и о том, что происходило на сцене театра, нечего было и говорить. Никто и не говорил. И было б странно, если те, кто вчера довольствовался жизнью, какой бы она ни была, сегодня — сразу и вдруг — стали б пенять на мутное и кривое зеркало, в которое и глядели-то если и без принуждения, то и без сильной охоты.

В черную минуту сам Иван сравнил свою работу с работой официанта. Будто и он мялся на сцене перед темным провалом пустого зала, как угодливая обслуга: чего изволите, пожалте, все согласно меню, прейскуранту и калькуляции. Где автор — меню, калькулятор — ответственные товарищи, за повара — режиссер, и он — подавальщик, Иван Балыкин.

Актер Иван Балыкин был странный.

По старинному театральному раскладу Иван считал себя героем-неврастеником. Правда, никому в том не признавался. Во-первых, это никого не интересовало, а во-вторых, при плане восемь — десять спектаклей в сезон и не могло никого интересовать. Играть приходилось много. За сценическую карьеру каких только леших Иван не переиграл, даже роль негра исполнял однажды, но не Отелло, а так, угнетенного, в эпизоде. Хотя ради справедливости нужно отметить: раз в два-три года случались и настоящие роли. Видимо, неговоренное — это и было условие, по которому руководство насиловало Ивана тогда и так, как ему было удобно. И он играл. И хотя бывало: осточертевало, конечно, — судьбы менять не желал. Да и чего тут жаловаться: не самая тяжкая из работ. Все так, только с тех пор, как Иван перестал сильно пить, он начал задумываться над тем, что делает, а, как начал задумываться, тут и обнаружилась его странность.

Странность же актера Балыкина заключалась в том, что в последнее время, играя, иногда он ясно вдруг чувствовал, что делает что-то не то и не так и вообще занимается чем-то ненужным и стыдным. И самое скверное: чувствовал это так остро, что ему стоило вовсе не малых сил остаться на сцене, покуда кончится пьеса. Вроде бы все в порядке: зал дышит, партнеры в ударе, и сам ты в прожекторах, согласно отрететированному внутреннему движению героя живешь его бедами, мучаешься его вопросами, и, кажется, спектакль катится, как и положено ему катиться, к финалу, но тут, вот даже болезненно необходимо захочется прямо сейчас, среди действия уйти со сцены, уйти — и все.

А там уж кончено. Его не касается. Пусть партнеры, лишенные реплик, в ужасе округляя глаза, молча глотают воздух, как рыбы на берегу, и зал недоумевает, негодует и шикает, пусть помощница дает занавес и нюхает нашатырь, и начальство матерится, машет руками и делает вид, что у него плохо с сердцем... Не касается.

И после благополучно завершеного спектакля Иван еще долго разбирал, что с ним было, причем разбирал именно так, будто и в самом деле ушел со сцены в разгар событий.

Стирая легнином грим с навазелиненного лица, жирно блестевшего из подсвеченного, черного, как лесная вода, старого зеркала, Иван серьезнейшим образом размышлял: как бы да что бы было, если бы все-таки действительно он ушел? Думал он и от лица лишенных будущего героев, и от своего собственного лица. И в первом случае оказывалось, дабы переменить участь, герою всего и надо-то было шагнуть за кулисы. Конечно, все зависело от роли, и иногда персонажу выгоднее было дожидаться финала, но и в такой ситуации, мысленно проигрывая возможность исчезновения, Иван видел: ничего страшного не случилось. Ну, не женился, ну, не избрали, не назначили, ну, справедливости не нашел, ну и что? Как будто в жизни все только и делают, что находят ее, справедливость. А если бы и нашел, ну

и что, что изменилось, кому от этого стало легче? Усмехнулись, похлопали в меру и забыли, не успев получить пальто. Когда же он представлял собой из подобных оборотов за себя, Ивана Балыкина, выходило вовсе нелепо.

Если б Иван был плохим актером, что предположить, конечно, легче всего, — тогда ясно. Но, во-первых, плохие актеры редко осознают, что они плохие актеры, а если и осознают каким-нибудь тайным углом души, никогда в том искренне не сознаются, да еще так вот — публично расписавшись в бездарности, а во-вторых, Иван Балыкин не был плохим актером. И потом чего проще: подай заявление да уйди, если уж так приспичило. Но в том-то и суть: уходить из театра Иван вовсе не собирался, это было его дело, и ни на какое другое менять его Иван не хотел. В общем, со всех сторон получалась полная чепуха.

И как после таких спектаклей ни вглядывался Балыкин в зеркало, прикидывая и так и этак, не понимал: почему же теперь так скучно, до сердцебиений тоскливо и даже мерзко, вот именно — отвратительно мерзко ему делать то, что раньше делал радостно и легко? Хотелось выпить, чтобы наутро каяться и жалеть о мелком и стыдном, хотя бы на время не помня о главном.

— Ерунда. Не в том деле вопрос... — По привычке заучивания чужих ролей в голос произносил он блуждавшие по уму слова, и зашедшая в примерную одевальщица вздрагивала от неожиданности. А в костюмерном кивала напарнице на Иванов костюм:

— Опять дурит.

В театре скрыть ничего невозможно, все видели, с Иваном что-то творится, но относили это к побочному действию неполного отказа от алкоголя.

— Че, приставал? — Гордой пышными формами юной сотруднице костюмерного цеха, ждавшей от театра мгновенного счастья, было странно и обидно, что приставали мало.

— Да нет...

— А че же?

— Так, ничего. С зеркалом разговаривает.

— Ну, конец — допился! Бабу ему надо хорошую! — понимая жизнь просто, хохотала напарница.

Балыкин ей нравился.

А он и правда дурил, сидел за столом, щелкал настольной лампой, и домой не шел, и куда не шел, а за окном зыбкими фонарями качала ночь, и библиотека уже не работала, и ничего другого не оставалось, кроме как смотреть в дурацкое молчаливое зеркало, пытаюсь понять, какому бесу не дает покоя его, Ивана Балыкина, жизнь.

Ну, не вышло, не получилось, да и что не получилось-то — так, ерунда, бывает и хуже. Не дурак, не больной, в тюрьму не сел — чего еще надо? Нормально. И можно так жить еще долго, годами, до тихой смерти, абы прожить, а там помереть в почете ли, в звании или, как один его друг, старый пьяница, на коврике под портвейн, пока соседи с милицией дверь не взломали. Ну, что поделаешь, если по-другому не научился? И ничего трагического, обычного существования. Разве мало было времени привыкнуть ко всему, что прошло, есть или будет? Хуже, конечно, чем хотелось, но ведь лучше же, чем могло бы...

А уж о работе и говорить нечего — он свое дело делает. Между прочим, не хуже многих. И если людям в зале за свои деньги нравится дурачить себя, он здесь ни при чем, пусть дурачат!

На выполнение финплана ему всегда было наплевать — государство заказывает, государство и платит. Ему было лишь важно, чтоб среди многих или немногих «рублей» нашлся кто-то, кому он нужен. И знал: в городе были люди, ходившие в театр именно на него, на Балыкина. Можно же успокоиться, раз кому-то нужно, что там на сцене он, Иван, радуется чужому, незнакомому счастью или же плачет не над своей бедой. Можно? Посидели, посмотрели, лимонадцу попили и разошлись такими же, как пришли. Кому дал веру? Кого утешил? А что он раньше не знал, что каждый сам по себе и утешение его никому не нужно? То есть нет, оно-то как раз и нужно, но какое, к черту, утешение мог он дать тем, что делал? Ну и что? Его обманывали — он обманывал, оптимистично и радужно, спи-

цей в закрученном колесе; только б педали крутили. Ну и что, кто по-другому? А уж теперь-то чего кулаками махать? И что изменится, если он, какой-то Балыкин, все-таки не доиграет спектакль? Сейчас-то кому нужна она, эта дешевая демонстрация?

Ну, в юности, совпавшей со временем совсем уж торжествующей лжи, пока душа не до края напугана, не залита еще блевотиной черных пьянок, — куда ни шло, в какой-нибудь напрочь продажной пьеске, да хоть в премьеру, когда ложи барственно сияют начальственными сединами, плюнь и уйди, не доиграй, не доскажи, так, чтоб всем стало ясно, что есть люди, которым уже невмоготу врать... И это бы разнеслось и, может быть, заставило кого-то задуматься!.. Так ведь нет, играл, да еще и вдохновенно играл, и цветы получал, и улыбался, и кланялся, и глазами косил туда, в ложи, как сука за костью, хотя и тогда кто они ему были, первые?

Но отчего же теперь, теперь, когда, кажется, и вовсе пора успокоиться, так муторно ему и тревожно?

Иван уставал думать и мучиться. А неудовлетворенное, болезненное желание еще шевелилось в нем, дергало, отпускало медленно и не совсем, обещая вернуться в самый неподходящий момент и давить его, бить изнутри, плакать, кричать и требовать...

А сегодня Балыкин решил. Он и сам не понимал, почему именно сегодня, а не вчера или завтра. Просто проснулся и целый день прожил с твердой верой в необходимость поступка. И все в этот день было особенно окончательным — занавес.

Утром, чтобы не сглазить намеченное, Иван и в театр не пошел. Хотя артисты, смешные люди, даже если не заняты, редкий случай пропустят появиться на службе. Якобы на расписание взглянуть, а на самом деле им без театра просто пусто и тошно жить. И Ивану хотелось, храня в себе тайну близкой свободы, встретиться кое с кем в тесном закулисном пространстве и, ничего уже не боясь, сказать наконец, что думает: натека! Но в театр Иван не пошел, а поехал в библиотеку. Отчего-то ему хотелось, чтобы на этом спектакле непременно была она. Балыкин не сомневался в себе — рвать так рвать, только казалось, если она придет на спектакль, ему будет легче уйти, вернее, уже нельзя будет не уйти. Так он думал.

Но Наталья Сергевна в этот день не работала. Сначала Иван огорчился и даже хотел узнать адрес, дабы зайти домой, однако мгновенно, словно обжегшись, фаталистически решил, что сегодня такой уж день и ничего в нем менять нельзя. Пусть будет, как будет... Из библиотеки Иван вышел еще более решительным, чем вошел.

А на улице подтаивал покрытый нефтяной коркой снег, во дворах оседали сугробы, и солнце блестело, делая из замызганных за год оконных стекол горящие зеркала, и по всему выходило, что начиналась весна.

На сцене было темно и тихо. Дежурный свет скучно падал на белые тряпки, еще не снятые с кресел. Балыкин нюхал пыльные, пропитанные противопожарной дрянью кулисы, пытался вспомнить, что же он сделал на этой сцене. Получалось, кроме двух давних ролей в спектаклях, что и не шли-то толком, ничего достойного, что стоило помнить, не сделал. А ведь не одну пару казенной обуви износил. Не сделал... Ну, ничего, сегодня сделает, враз наверстает, сегодня у него бенефис!

На этом спектакле в гримерной Иван был один. Плечики с костюмом уже висели на вешалке, но, подольше оставаясь собой, сразу надевать чужую одежду не стал. Только зашторил окна от тусклых недолгих сумерек, сел за стол и до первого звонка, пока в комнате совсем не стемнело и в зеркале напротив остался лишь огненный круг сигареты, так и сидел.

Он думал о том, что скажет перед тем, как уйти, но в голову лезли обрывки чужих заученных реплик да разные глупости: «Граждане, расходите по домам! Спектакля больше не будет!» или «Финита ля комедия — хватит ваньку валять!», но это не подходило. Наконец, Иван придумал длинную фразу про то, что лживыми спектаклями жизнь не обманешь, и он лично, Иван Балыкин, отказывается обмагивать жизнь, себя и их, зрителей, и просит его великодушно простить... и дальше в таком же духе, пока не уйдет, — как получится. Впрочем, не получалось, слова не шли. Он лишь точно определил время ухода. В первом акте, когда публика

разбирается в сути, уходить не имело смысла, а вот во втором, когда тем, кто остался, уже интересно, чем же все это кончится, и антракта, чтобы извиниться за его, Иванов, поступок, больше не будет, самое то. Вот именно, в начале второго акта, когда герой узнает, что его сын вовсе не его сын, а сам он не сын собственного отца, вместо того чтобы огорчиться сиротству, он просто уйдет со сцены. Может, и молча. Чем проще, тем лучше. Герой как захочет, а он уйдет. Пусть уж они без него разбираются, чьи они сыновья...

Он уже ясно видел последнюю мизансцену, слышал внезапную короткую паузу, полную чистой тишины неотрепетированного молчания. Вряд ли, конечно, кто оценит тонкость и простоту авторского решения, но это в конце-то концов и неважно. Главное — он решил.

Иван зажег свет, быстро переоделся, но гримироваться не стал, слегка лишь прошелся пуховой по белому лбу и серым щекам, чтобы не выглядеть совсем уж покойником рядом с наштукатуренными партнерами, сказал себе «к черту», поплевал через плечо и стукнул по дереву, как делал всегда в дни премьер, и вдруг действительно ощутил тревожный премьерный мандраж, какого давно уже не испытывал.

— Так, ну все...

И только теперь заметил, что трансляция не работает. Он повернул до отказа ручку громкости радио, но ничего не услышал: ни приглушенного шума публики, заполняющей зал, ни неперемненных случайных голосов и прочих звуков последних приготовлений на сцене.

«Пора второй звонок давать, а они трансляцию не включили, работники!..»

Иван собрался спуститься на сцену и как член профкома выговорить помощнице за нерадение, но здесь без стука открылась дверь и в гримерную вошла одевальщица. Не его, другая — то ли Марина, то ли Ирина.

— Здравсьте, а чей-то вы еще здесь?

— Что значит «здесь»?

— Ну, не уходите? Вы один остались.

Иван молчал.

— Так вы че, не знаете? Спектакля не будет. Объявляли же!

— У меня радио не работает.

— Во вы даете, из-за вас же!

— Из-за меня? — Внезапно Ивану сделалось страшно, будто неведомо как он и узнали, на что он решил, и потому...

— Ну, из-за вас же... «В связи с болезнью арт. Балыкина спектакль отменяется».

— Какой болезнью, ты что?

— Ну, серьезно — объявление повесили: «В связи с болезнью...» Но это так просто, для смеха, а на самом деле зрителя нет — в кассе всего двенадцать билетов продали.

— Двенадцать?

— Ну и отменили.

— Понятно.

— А вы че, правда, не знали?

— Правда.

— Во кому рассказать!

— Не рассказывай.

— Не расскажу.

Вид у Ивана был жалкий, и в другой раз одевальщица непременно над ним посмеялась бы, но ей и в самом деле стало жалко его, и она даже подумала, что если бы он предложил куда-нибудь с ним пойти, она бы пошла.

— Да что вы так расстраиваетесь, в первый раз, что ли?

— Я не расстраиваюсь.

— Ну я же вижу. Вы лучше переодевайтесь, чем так сидеть.

— Конечно, конечно...

Мышцы Иванова лица еще хранили выражение недоумения и обиды, но внутри (будто выпустили из участка) все в Балыкине ликовало, и, когда одевальщица вышла, он рассмеялся так искренне и легко, как давно уже не смеялся.

«Пронесло!»

И не нужно придумывать никаких глупых слов, и уходить никуда не нужно, и главное, он здесь ни при чем, так уж вышло, что не судьба, — пронесло!

Но особенно Балыкину было хорошо оттого, что ни сегодня, ни завтра, никогда ему уже не станет стыдно за то, что и этот спектакль он бы доиграл до конца, доиграл, никуда бы не делся, доиграл... Такая работа.

«Господи боже ты мой, актер ты, ну и играй, что дают! Куда ты рыпаешься!? Ведь я же актер, обыкновенный, простой актер, вот именно, что простой... А если бы и ушел, чего бы добился? Все равно б ничего не добился! Да и чего добиваться, чего? — Балыкинский мир прояснялся, обретая утраченную гармонию. — Надо жить! Просто жить! Вот так вот, Наталья Сергевна, жить надо, жить, а не придумывать из людей, что вам хочется...»

И, еще раз за этот день пережив радость освобождения, Балыкин твердо решил, что в эту библиотеку больше он не пойдет...

А потом Иван подумал: по такому случаю было бы неплохо и выпить; и еще подумал, что выпить было бы неплохо не одному, а с этой новенькой одевальщицей; и еще подумал, что было бы совсем хорошо, если бы она сегодня осталась с ним.

Спускаясь по лестнице к костюмерному цеху, по привычке к суеверию Иван загадал: если одевальщицу зовут Ирина — все будет о'кей.

Одевальщицу звали Марина. Но это ничего не меняло.

г. Калуга.

Николай ИВЕНШЕВ

Ш а б а ш к а

Я ненавижу своего отца. Еще немного — и отрублю ему топором голову. Растормошу спящего и ухну, пока не очухался. У других отцы как отцы — почти все бухарики. А мой? Злыдень, зануда, скупердяй, изверг, сумасшедший. Он самый натуральный фашист. И вообще весь наш дом и школа — тюрьмы.

В жизни все врут, притворяются ради своей же выгоды. Они верят в свою выгоду, поэтому и врут, притворяются.

Я не люблю свою мать. Она подстраивается под отца, заглядывает ему в рот, лижет задницу. Я думаю так. Если отец принесет свиной нож и вложит его матери в ладонь, а потом кивнет на меня: «Пырни его!», мать заплачет-зарыдает (положено плакать-рыдать), но выполнит приказание.

Я люто ненавижу костлявый нос своего папаша, его лиловые, подернутые тонкой кожей губы, оттопыренные, наскоро скроенные уши, его желтые от химикатов пальцы.

Он берет меня за горло ледяными пальцами и прижимает к дощатой перегородке. Наш дом — одни дощатые перегородки. Отец сразу не бьет, а въедливо разглядывает меня своими стального цвета глазами, словно видит первый раз в жизни. От этих глаз — мурашки по коже. В отцовских глазах беснуется неопределяемая радость. Я знаю, что отец сумасшедший. Остальные не догадываются.

Он выпускает изо рта кругленькие, как витаминки, слова, красные, голубые, желтые: «Сколько — ты — нас — с матерью — мучать — будешь? Опять — ведь — в дневнике — двойка».

Отец пытается сделать серьезные глаза. Борется с безумием. Безумие побеждает, и его лиловые губы растягиваются в злорадной ухмылке. Губы вот-вот лопнут. А красные, голубые, желтые шарики-витаминки начинают прыгать по полу и разбиваться у меня на глазах, как в сбитом фокусе отцовского фотоаппарата.

Отец не сразу хлещет по щекам. Вначале он вонзается желтыми кле-

щами в ухо, и мне от боли хочется помочиться. И я уже прыскаю в брюки немного. Потом, конечно, он и по щекам хлещет, и витаминки разрываются в голове хищными, звонкими шарами.

Глумится отец специально перед матерью. Может быть, мать мучается от моей боли? Я в это не верю. Сам стал почти таким, как отец.

Отец после мордобоя становится добрым. Меня он отшвыривает в угол, а матери подмигивает: «Пойдем чайку попьем с воблой, а?»

Почему он пьет чай с соленой рыбой? Это ведь тоже сумасшествие. Никто не замечает.

Мать заваривает чай. Она, корова, вздыхает, косится на отца, думает: «Может, так и надо? Дурь выбьет, зато ни в какую колонию, ни в какую шайку-лейку сын не вляпается».

А я лежу пластом на своей койке, облизываю соленые губы. Мне нравится вкус моих слез, нравится мой собственный запах, когда я лежу под одеялом и принохиваюсь. Тоже, наверное, чокнутый. И еще я занимаюсь этим. Прячусь в сарайчике, там я довольно часто сплю на фуфайках, раскладываю перед собой вырезку из журнала «Здоровье», на ней нарисовано внутреннее строение женских половых органов...

Это время я люблю больше всего на свете, больше, чем то, когда я кормлю своего поросенка Кузю. Все кончается. И я уже себя ненавижу похлеще отца. Почему я такой зверь, скотина и тоже как все — сволочь?

Мой отец артист. Вообще-то он фотограф, но артист страшный. Вот кто-то стучится к нам в дверь. Мать кидается открывать. На пороге появляется дядька в коричневом костюме и красном галстуке. У него саленые, гладко зачесанные назад волосы. Он начинает вытанцовывать на вязанном из тряпья половнике:

— Здесь изволит поживать лучший фотограф Иван Иванович Москаленко?

«Танцора» все знают. Он работает экспедитором в местном сельпо. Тем не менее отец и мать притворяются, изображают какую-то муть.

Экспедитор тоже ваньку валяет, сладким голосом поет:

— Иван Иванович, родной вы наш, я в выходные дни сына женю, так вы не откажите в любезности — извольте пожаловать к нам на свадьбу, на честной пирок. Щелкните нас несколько раз, а за фотки я заплачу будь здоров. Не обижу. Надо наделать карточек для гостей и молодых. Для всех, для всех!

Сахарная маска так и застыла на лице матери. Отец — артист. Он делает вид, что ему страшно некогда, тем самым он набивает цену.

Экспедитор Лесняк тоже не лыком шит. Он пучит глаза при названной сумме — полтора рубля — и вопит, будто у него только что свистнула дорогую шапку: «Иван Иванович, они же не цветные!»

— Зато качество! — щелкает небритой челюстью отец.

В споре побеждает папаша: сто пятьдесят — цена за фотографии. Качество гарантировано.

Лесняк опять, хотя и с меньшим энтузиазмом, затанцевал на половнике, задком хлопнул по дощатой двери и испарился.

Подобревший отец приносит доску с шашками и садится ко мне на кровать: «Сыгранем?!»

Я не хочу играть. Я знаю, что играю в шашки лучше отца, но ему проиграю, потому как боюсь. Я боюсь.

Отцовская физиономия округляется. Такое впечатление, словно припущенный волейбольный мяч только что накачали воздухом.

— Ша-абашка, — выпевает он и прищелкивает желтым пальцем, — ша-а-башка!

Я бестолково сую шашку на соседнее поле.

— Велосипед купим и пылесос для матери! — радуется отец. — Ты сможешь мне с освещением. Я не люблю со вспышкой фотографировать, у людей тогда двойные подбородки получаются. Так ты лампочки-пятисотки будешь таскать. Денежки как с неба валяются.

Я проворонил все царство небесное. Отец пробрался в дамки, а потом подчистую расколотил мою черную гвардию.

— Эх-хе-хе, — вздыхает отец, — и тут у тебя тям нет. — Вздыхает негрозно.

Мне от этого бурчания делается легче, тем более что сейчас мать посылает нести для Кузи его мурцовку, его помои.

Вот кто настоящие люди — это свиньи. Грязные? Подумаешь, грязные! А если это их среда обитания? Зато наш поросенок добрый. У него такие умные глаза. И Кузя всякий раз так смешно хрюкает, аппетитно причмокивает. Когда он присасывается к ведру, что-то внутри у меня тает. И мне хочется обнять поросенка Кузю, уцепиться за его грязный загривок и зарыдать ему в лицо. И я в самом деле плачу. Кузя тычется пяточком в решетчатую изгородь. Я протыкаю туда руку и щекочу у него за ухом. Кузя счастливо постанывает.

Больше всего на свете мне омерзительны свадьбы. Я уже бывал на них. На свадьбах жрут, пьют, рыгают, врут, говорят мерзости, целуют друг друга засаленными ртами. Противно воняет папиросным чадом, водочным перегаром и пережаренными котлетами.

Терпеть надо. Мы в загсе фотографируем жениха со щекастой невестой, потом щелкаем их возле перебинтованных цветными лентами «Жигулей», снимаем, когда из дома выносят хлеб-соль.

А теперь отец щелкает затвором аппарата рядом со свадебным столом. Гости жмурятся и машут ладонями, словно обжигаются от того ярко света, который я посылаю своими «пятисотками».

Мне это по душе. Пусть их жмурятся. Может, на минуту прекратят крутить свои жернова и прихлебывать из рюмок.

— А вот и наш будущий женишок! — потрепала мне волосы какая-то дура с пухлым, крашенным бордовой краской ртом.

Пискнула и сразу же вонзилась своим жалом в куриную ногу. Она не желала фотографироваться.

Кто-то приделывает к чужой голове рожки. Чужая голова глупо радуется. Радуетса и тот, кто сложил из своих пальцев «козу». Невестины щеки надуваются красным. Это еще две «пятисотки». Жених лобызает эти щеки и облизывается. Горячо! Отец машет рукой:

— Туда перебрось шнур!.. Встань на табуретку... Подними лампочку выше, к потолку!

В углу наяривает гармошка. Гармошка сама таскает руки свадебного музыканта. Он дремлет. Мне душно от жаркой лампочки и, наверное, от огненных щек невесты. Они превращаются в витамины величиной с отцовский кулак.

Наконец-то! Нас с отцом усаживают чуть ли не в центр стола. Как же — мы работали, а они балдели.

Тетка с бордовыми губами придвигает ко мне тарелку с курятиной:

— Шуруй, женишок!

А отец плеснул в рюмку водки.

— Пей! — лязгнул он челюстями.

Я замотал головой. Но отец опять скомандовал с нажимом:

— Пе-ей!

На его лице появилось приторное выражение. Вот-вот он вцепится восковыми пальцами.

Я выпил всю рюмку, закашлялся. На глазах от кашля выступили слезы.

Звуки гармошки стали громче. Музыкант продрал глаза. Из-за стола выскочила сухопарая женщина и залягала воздух тонкими волосатыми ногами.

Отец опять плеснул в мою рюмку и приказал глазами. Я икнул, но выпил. По соседству морщинистый, как стиральная доска, мужичонка высасывал из помидора жижу, тянул ее со змеиным шипом.

— Вот жарит! — кивнул отец в сторону плясуньи. Женщина подбежала к «стиральной доске» и всосалась в мужской загривок, тоже как в помидор. Она раскраснелась, и ее глазки стали черными-черными луговками на гармошке.

— Ума-ума-ума-ума, — всхлипывает хромка.

— Ума-ума, — обсасывает свои пальцы морщинистый мужичок.

— Ума-ума, — колышется тюль на окнах.

— Ума-ума. — регочет прыщавая, золотушная невеста.

И запрыгали перед глазами горошины-витамины. Дражированные го-

сти раскачивались, распухали. Меня тянуло то к одной гигантской горошине, то к другой, пока не обхватил всего оранжевый шар и не уволок в свое бешеное логово. В логове стучали тяжелыми кувалдами сморщенные кузнецы и гудело, как в котельной.

Наутро, проснувшись, я увидел: отец на кухне, рядом. Я вижу дверной проем, его пальцы, пересчитывающие деньги. Он всегда так делал — раскладывал шабашку по пачкам. Трояки — в одну пачку, пятерки — в другую, червонцы — в третью.

Рядом с виноватым видом шевелится мать.

— Я думал... я хотел его проверить. А он одну хлобыстнул — и к другой рюмке ладошку тянет. Надо раз и навсегда отбить его охоту, а не то загремит в каталажку, как только из родного дома вырвется.

— Да, да, да, — диспетчерским голосом соглашается мать.

И волосы на руках и ногах у меня приподнимаются. Я туго жмурю глаза, но через минуту чувствую, что на меня смотрят. Не выдержал — приоткрыл свои зенки. Отец с растяжкой цедит:

— А-а-алкаш-одиночка! Я испытывал тебя, блудный сын!

Он сдернул одеяло и вцепился в мое плечо, больно дернул его и взглянул в глаза. Наверное, я не выдержу и умру под этими буркалами. Когда-нибудь окочурюсь. Этого взгляда было достаточно, чтобы я капнул в трусы. Отец отпустил меня. А мать как будто бы обрадовалась и тут же послала меня к поросенку. У поросенка я спрашиваю:

— Почему так холодно, Кузя? Почему так знобит? Все врут, врут и врут.

Кузя хрюкнул в ответ:

— Рут!

Приносит нам мясо тетя Нина. Она работает на мясокомбинате. По два пятьдесят мясо продает. Ворует, а сама-то заливается: «Скупила по случаю, холодильник забит — выручайте!»

Мать довольна: мясо почти дармовое.

И учителя — брехуны. Учительница истории врет: «Строим общество изобилия». Словно не ходит та училка в магазины и не видит «изобилия».

— «Будь готов!» — недавно внушали мне. Я подобострастно рвал глотку: «Всегда готов!»

Зачем мне корни квадратные и умножение одночлена на многочлен? Я ничего этого не понимаю и понимать не хочу. Я — дурак. Я — двоечник. Я — сумасшедший. Правда ведь, Кузя? Кузя, я так хочу хрюкать по-твоему, валяться в грязи и грызть деревянную решетку, а не сидеть в классе помертвевшим, испуганным, замороженным вероятностью схватить двойку и быть битым.

Нет, Кузя, у меня есть еще один человек — Таня, поэтому поросенком я быть не хочу. Таня худенькая, бесплотная. У нее смешно просвечивают на солнышке уши. Она некрасивая, вся в веснушках. Ключицы у девочки мясом не заросли — торчат, выпирают. Когда Таня нагибается, то кажется, что сейчас переломится ее щупленькое тельце. Она никогда не врет, Кузя. Таня говорила, что видела певца Валерия Леонтьева наяву, что он подарил ей золотую брошку из Индии, потом она брошку посеяла. Таня испуганно сообщает, что просыпается по ночам и бродит по комнатам, разговаривает с цветами на подоконниках. И цветы ей отвечают. Они рассказывают Тане о летающих тарелках и о том, что когда-то давно цветы были людьми. Их заколдовали за то, что они делали добрые дела. Таня лепетала, что отец ее был летчиком, а сейчас работает на молочнотоварной ферме. Он повздорил с начальством, и отца выгнали из эскадрильи. Таня утверждает, что она сама очень красива, что она только с первого взгляда — гадкий утенок. Надо внимательно присмотреться. Как-то она мылась в бане, в домашней бане, и к ней подкралась банная ведьмака, прокрипела: «Ты, девка, очень прелестная!»

Таня — лунатик. Она забывает про свои ночные хождения, про разговоры с цветами. Забывает, забывает, а потом и вспомнит.

Вечером, Кузя, мы пойдем с ней на речку за ландышами. А кем ландыши были?

Поросенок не отвечает, пыхтит. Трудный вопрос.

Моя мать — никто. Тень отца. Она превратилась в сберегательную книжку, в кухонную машину, поломойку, в существо, которое во всем покакает отцу. Мать может, конечно, радоваться, плакать. Но это — заученные плачь и радость, записанные давным-давно на магнитную пленку. Приказывает отец: «Плачь!» Всем своим видом командует, и мать заливается. Отец весело взглянул, — она включила улыбку.

Мать одевается в серое. А по вечерам в темноте она вообще срастается с вещами, с мебелью. Не поймешь: где мать, а где шкаф там или кресло.

Отец коротко бросил: «Собирайтесь за покупками!». Мать поспешно натянула блеклые чулки, даже губы мазнула какой-то слабо-розовой гадостью.

Шабашка греет отцу карман. Они всей семьей идут покупать велосипед и пылесос. Велосипедов в хозмаге навалом, а пылесосов — тью-тью.

— Пылесосов нет, — холодно взглянула боярыня-продавщица. Врала, как и все вокруг, потому-то отец и отвел ее в сторону от прилавка. Он предлагает боярыне десяточку сверху. Владелица подсобки трясет выскокой кудреватой прической: «Тэк-тэк». Пылесос родился. Это разве не фантастика?

— Тэк-тэк. — Лед в глазах у продавщицы плавится. Она ворчит: — Загородили тазиками, паразиты! Один пылесосец завалился.

Врет и не смеется.

Я качу велосипед. Отец волокет коробку с пылесосом. Мать семенит за нами, искусственно радуется. Зачем ей пылесос — и так счастлива.

Отец хвалится:

— Жить надо уметь! Вот погуляли мы с тобой на свадьбе. Ты-то алкашил, а я за щелчки да за бумажки с их будками получил сто пятьдесят. Теперь — полные руки техники. Я тебе вечером прокатиться дам часика на два. Что я — ирод царя небесного? Ты ведь кровный сын. Ну, обижаю, не без того, учеба такая. А ты думаешь, меня не учили?.. Только смотри — в грязь велосипед не бухни. Его обкатать надо. Это — кормилец, по шабашкам на велосипеде веселее... И вот тебе рубль пятьдесят на видик.

Вот это да! Щедрость!

— Может, не надо, отец? Раскурочит велосипед. Что у него, других делов нет, носиться, как гончая, по станице? — подала голос мать.

Отец ощерился: «Молчи, сука!» Так ей!

Я отдал рубль за видик. Показывали суперменов. Один другому толстым каблуком ладонь придавливал. Из-под ногтей сочилась и капала кровь. Потом главный супермен зашел в ванну и стал перед зеркалом обрывать со своих костей мясо клочьями. Обрывал так, пока сам в скелет не превратился. Ни капелки не страшно. Все это сказки для пятилетних малышей. А впрочем — это правда, такая же правда, как и Татьяна. О цветах. Человек-то сам себя уничтожает. С улыбочкой. Видик правильный, только мы, дураки, не замечаем главного, радуемся чужой боли. Супермен давит чужую ладонь — не мою. Вот и счастливы. До моей ладони может не добраться.

Я подкатил к Таниному дому на новехоньком велосипеде. Блестели спицы, обода, легко крутились педали, и в никелированном звоночке отражалась моя пузатая, потешная физия. Я знаю, что Таня мне рада. Может быть, рада потому, что я единственный человек, который ее понимает. Я внимательно слушаю все ее истории. Мне кажется, что я люблю Таню. Хотя это слово «люблю» чаще всего обозначает беззастенчивую ложь. Ложь для выгоды.

Таня выпорхнула — былинка в тоненьком хлопчатобумажном трико. Былинка прыгнула на раму моего, то бишь отцовского велика. Я нажал на педали и не почувствовал Таниного веса. Приятно оттого, что моя грудь прикасается к ее хрупкому плечу, оттого, что ее уши просвечивают на солнышке и похожи на розовых бабочек. От ее головы пахнет хвойным шампунем. И она счастливо ойкает, когда колесо натывается на камушек или на кочку.

Мы едем по берегу реки. Сияет весна. Воздух тугой, налитый чем-то таким, от чего весело. Сильно колотится сердце. Куда силы девать? И я показываю Тане свою силу и прыткость, давлю на педали что есть

мочи. Велик летит как стрела. Двухколесная шабашка внимательно слушается меня, мягко пружинит, а Танино плечо чудно вдавливаются в мою грудь.

Она молчит. Еще одно прекрасное свойство. Она правдиво молчит, не канифолит свои мозги и мозги других чушь, вроде того: «Вчера Нинка Рогуёва отхватила в магазине такие хипповые кроссовки!» За что Нинку Рогуёву хвалить, за то, что деньги продавщице протянула?

Правдиво молчать в тысячу раз лучше, чем трекать языком.

Мы завернули на заветную поляну, на которой каждую весну расцветали ландыши.

Дурные, бахвалыстые тюльпаны с запахом кладовки, мимозы—с похоронной вонью—все это не цветы, а одна блевотина. Их вполне можно сделать из бумаги и парафина. Но вот ландыши—дудки! Тяните легионы воздух, граждане пассажиры, вдохните воздух над их милыми головками и... какой кайф! Жить великолепно! Не все люди скоты. А Таня—красавица, герцогиня. Она однажды проснулась в своем замке и ночью забрела в нашу глухую станицу. А отсюда выхода нет. Пускай у нее руки—соломинки, лицо с копейку. Она не из стада обросших жиром девиц-курдюков, плюхнутых за парты. Мы с Таней лежим на мягкой траве возле речки и нюхаем беленькие резные колокольчики ландышей. Тишина вокруг. Никогошеньки. И тут-то меня как молнией стукнуло. Таня взяла мою ладонь и положила к себе, на свой голый живот. У меня от этого сразу похолодело внутри. И я весь съезжился, хотя внешне оставался тем же.

Таня, верно, впала в свой летаргический сон. Она монотонным голосом спрашивает:

— У тебя были женщины?

Я никак не могу ответить, потому что в горле что-то застряло и мешаешь дышать, не то что говорить.

— Не было,—тем же тоном отвечает сама себе девочка,—а ты меня поцелуй.

Я пытаюсь подняться и тыкаюсь губами в ее веснушчатую щеку. Меня колотит дрожь. Таня смеется, но не обидно.

— Глупенький, ты не умеешь целоваться! Давай вот так.

И она обхватывает мои онемевшие губы своими влажными. Комок в горле растаял, но дрожь не уходит. Таня локотком оттолкнула меня и, господи боже мой, сдернула с себя майку. Под ней—ничего.

— И не пытайся отворачиваться!

Девочка с чуть заметными фиговинками, дух от этих желудей-желудков перехватывает.

— А у меня был.

— Что был?—неловко поворачивается мой тупой язык.

— Парень был... студент... прошлой осенью. Он мне и имени своего не сказал... студент с разноцветными глазами. Моргнет раз—глаза у него зеленые, еще раз—синие, карие...

Татьяна расстегивает пуговицы на моей рубашке. Значит, будет это. На секунду я вспоминаю листик из журнала «Здоровье»—«Внутренние женские половые органы в разрезе», потом еще на секунду—живую картинку. Однажды ночью я не спал, луна мешала. И слышал, как шумно задышали за дощатой перегородкой отец с матерью. Перегородка разошлась, и я сквозь щель увидел перевитые руки и ноги. Скоты!

Эти картиночки и уняли дрожь. И я увидел Танины рыжие редкие волосы там и, сам того не понимая, делал как надо. И был безумно счастливым.

А потом мы возвращались назад, домой. Я дурно соображал, плохо вел велосипед. Он выкручивался из-под меня. На раме сидела абсолютно пустая девочка. Девочка-никто, как моя мать, только значительно моложе. Девочка оборачивалась, обнимала меня за шею и что-то болтала. Я не слышал.

Мне хотелось шугануть ее с рамы. И тут-то я понял, что сам виноват, что я сам—неблагодарная тварь. Но почему же так воротит меня, словно все вокруг покойники? Так отвратительно смердят скромненькие, прикинувшиеся сиротами ландыши.

Чему лыбятся Таня? Чувствую—лыбятся. Ее кто включил на смех?

— Че...

Тут-то и подвернулось велосипедное колесо, и я больно ткнулся плечом в толстый сучок, порвал рубашку. Таня тоже кувыркнулась. И все же главное — велосипед. Он застрял в буреломе. У велика разлетелся обод переднего колеса, посыпались спицы. Что теперь будет дома? Что будет?

Таня очухалась от своего лунатизма, шагала молча, чуть посапывая. Я еле-еле волок велосипед, то на одно плечо его подвешу, то на другое. Переднее колесо — на весу, заднее катится. Наконец показался Танин дом. И она исчезла.

Я затащил велосипед в сарай. Дома пока никого не было: ни отца, ни матери. В углу комнаты стояла другая шабашка — распакованный пылесос. Опять сегодня будет крупное мордобитие за сломанный велосипед, опять потянутся к моей шее желтые пальцы и в мозгу будут взрываться разноцветные шары. Но не это главное. Людей в мире не осталось. Была одна — и та вся вышла. А значит?.. Значит?.. Значит, надо отчикать шнур от пылесоса, приладить провод к крюку на потолке. На нем раньше качалась моя зыбка. И — все. Тю-тю! Я свободен, как черная Африка. Полностью. Безвозвратно свободен. Некого будет лупцевать отцу. И, может, мать опомнится от своей чумы, станет женщиной, человеком. Хе-хе, отец — сучий потрох! Сломанный велосипед, покалеченный пылесос! На мои похороны придется раскошелиться. Все — вруны и мерзавцы. Может, записку им написать, что ненавижу... Не поймут!

Но кто будет заботиться о Кузе? Их нет, значит, поросенок не кормлен. Кузя, милый! Хрюкни пожалуйста! Кузя, милый, хрюкни! Кузя!.. Я тебе всю сахарницу в ведро ухнул. Кузя, милый! Кузя!.. Нет, дудки, Кузя. Я не брошу тебя одного. Я останусь, Кузя! Останусь, останусь, останусь! Я, Кузя, все-таки укуошу этого отца. Сегодня ночью.

Краснодарский край,

Игорь АГАФОНОВ

Одно ни к чему не обязывающее, но вполне романтическое приключение, с кувшинками

Нассир Максимова — так по крайней мере гласила медная табличка с бу-мажной вставкой, — женщина пенсионного возраста, долго и пристально изучавшая Михаила из своего затененного деревянным козырьком окошечка, выбралась-таки на крыльцо и уселась на дюралевый стул, привязанный за ножку к расшатанным перильцам крыльца. За дверьми кинозала началась лихая стрельба. Нассир Максимова была человек прямой, без предрассудков. Михаил помнил ее по прошлому разу, когда приходил сюда с Мариной на танцы: тогда Максимова исполняла обязанности контролера и вышибалы одновременно — без лишних разговоров выпроваживала на свежий воздух не в меру подпивших субъектов.

— Кого-нить сторожишь, военный? — спросила Максимова, не переставая лузгать семечки.

Переборков неприязнь к этому беспардонно-властному тону, к мокрым, в подсолнечной шелухе губам, Михаил, помедлив, ответил:

— Жду. А что?

— Пусто-ое!

И на его недоверчивый поворот головы охотно пояснила:

— Да не дура, чай. Небось, у нее понадежнее ухажер есть, не то, что ты... седня здесь — завтра там. Ребят нашенских знаешь? — Максимова, изображая богатыря, трянула внушительными бицепсами.

Наливаясь удушливым жаром обиды, Михаил постоял еще немного, ожидая, не прибавит ли Максимова чего-нибудь поконкретнее, а потом сухо спросил:

— К речке в какую сторону?

— Что, милоч, — оживилась билетерша, — топиться порешил?

— Да! — И чуть не добавил: «Старая ты колода!»

И хотя «старая колода» ничего не сказала о Марине, Михаилу вспомнилось вот что. На тех самых танцах, где он познакомился с рыжеволосой Мариной, возле них крутился кучерявый парень, обращавший на себя внимание презрительно-мрачным взглядом. И запоздалая догадка явилась: «Ах ты, смазливая!.. Оженихаться с моей помощью вздумала? Уха-жера своего заводила!..»

И он поплелся, хмуро смотря по сторонам. И чем дальше шел, тем более неприветливым, серым и унылым казалось ему это выгоревшее, поблекшее село. На улицах и во дворах было пусто.

У конторы Михаил остановился. В тени чахлого деревца на земле сидели два мужика и глядели в разные стороны. К ним из окна конторы обращалась женщина:

— Совесть у вас есть?.. Я вам что приказала делать? Где вы шатались все это время?

Мужики по-прежнему глядели отрешенно в разные стороны.

— Что молчите-то?! Вас спрашиваю! Где Брагин? Где Колян?

Мужик постарше, который наблюдал, как Михаил закуривает, лениво зевнул и сделал пространный жест:

— Та-ам, на речке.

— А-а, прохлаждаются! Ну вот что, мои милые, я вас предупреждаю самым серьезным образом!— У женщины внезапно сорвался голос, она взвизгнула, потом после некоторого замешательства схватила со стола графин и плеснула из него на мужиков. Старший передернулся:

— Да хватит тебе командующего изображать!

Второй размазал по небритым щекам брызги:

— Э-эх! Благодать.

Старший, супя кустики бровей и вытягивая губы трубочкой, будто намереваясь сдунуть повисшую на длинном своем носу каплю, все бурчал:

— Не успела бригадиршей стать, а уж буянит, понимаешь. Скажи спасибо, что сами на реку не ушли, как некоторые...— он покосился на Михаила—...штатские. Сидим тут, тебя выслушиваем.

— Спаси-ибо!— обрела вновь голос бригадирша и поклонилась из окна.— Немедленно топайте за Брагиным и приступайте к ремонту. А Коляну своему передайте: церемониться с ним не буду! Цацка нашелся! Геррой!— И она с треском захлопнула створку окна.

Мужик помладше, небритый, которому понравилось графинное окропление, подмигнул Михаилу:

— Сканда-алит. Так вот, служивый. Со всех сторон шпыняют, а мы крепчаем. Боже тебя охрани жениться тута. И дома своо не поставишь, и заработка не поимеешь. Э-эх! Уйду-таки отсель— к едрене-фене! Да-авно зовут. В другой колхоз. Там механизаторы в поче-оте!

Видимо, эта реплика была рассчитана на бригадиршу, потому что она тут же высунулась:

— Я тебе уйду, я тебе уйду, бессовестный! Да и кому ты нужен там?! Ступай, ступай, на здоровье!

— А че-во-о! Там хоть все ясно. Там начальство толковое, не ровня тебе.

— Хватит болтать, бесстыжий твой язык! Я вам что сказала?!

— Да не пойдет твой Брагин,— вмешался мужик постарше.— Сказано тебе, с Коляном связался он.

— Так что же будете — сидеть?

— Другую работу давай.

Бригадирша открыла было рот, но, так ничего и не ответив, опять шваркнула рамой.

— Вот телка бестолковая,— усмехнулся тот, что грозился уйти в другой колхоз.

Михаил не стал более задерживаться: сцена ему была знакомой, что-бы по такой жаре дожидаться ее окончания. Парень он был сельский и уже подумывал, как быть после службы— возвращаться ли в свою деревню, податься ли в город или остаться в армии сверхсрочником.

На выходе из села его обогнал «Беларусь» с тележкой, поднял такую непроглядную пыль, что пришлось свернуть с дороги и пойти по выгоревшему пастбищу.

На пляже вода была взбаламучена мелюзгой до кофейного цвета. Одни вылезали из этой жижи и шмякались на песок, другие, им на смену, бухались в воду. На Михаила не обратили внимания.

Он пошел вдоль речки в надежде отыскать место поспокойнее. В зарослях тальника набрел на песчаную отмель, где двое парней и девушка играли в подкидного. Торопясь, разделся и, распугав на мели прозрачные льдинки мальков, ухнул в ослепительную гладь реки.

Нырнув ко дну, обмер, оглох, стиснутый цепенящей стынью родников, затем судорожно, не в силах выдержать внезапный ожог, вытолкнулся на поверхность, с жадностью хватанул воздуха и обмяк.

Плыл на спине, мощно загребая, и при каждом вздохе все больше и больше пьянел — на душе становилось освобожденнее, покойнее. И так, запрокинувшись в бледное от зноя небо, он плыл, куда тонко не зазвенело в ушах. Перевернулся — и обомлел...

Притаившаяся заводь была точно освещена теплыми огоньками горчично-желтых кувшинок, их с восковым глянцем листья лениво пошевеливались от мелкой ряби, как будто дышали. Михаил осторожно, чтобы не взбаламутить ил и не нарушить свинцово-темной прозрачности воды, двинулся от цветка к цветку, сдерживая в себе безотчетный восторг. Их стебли, унизанные под водой гроздьями стеклярусных воздушных пузырьков, податливо вытягивались, обрывались в темной глубине со странным отчетливым чмоканьем, и тогда взмывали вверх стеклярусные гроздья, вскипали на поверхности прозрачной пеной, испускали прощальный шепот, угасали.

На берег Михаил возвращался с таким ощущением, точно заново родился. И кочковатая полянка, врезавшаяся в прибрежный тальник, показалась ему теперь вполне уютной, а девушка, играющая в карты с двумя парнями, — очень и очень милой. Проходя мимо, он неожиданно для себя положил к ее загорелым коленям искрящийся на солнце букет, ухватил изумленный взгляд темно-зеленых глаз, по-детски вопросительно приоткрывшиеся губы и остался доволен своим экспромтом. Однако едва он лег неподалеку на песке, пробившемся из-под выгоревшей травы, и блаженно расслабился, как услышал над собой сиплый, вибрирующий на скандальной ноте голос:

— Алле, твоя кликуха не Дон-Жуан?

Михаил приподнял голову: перед ним — мосластые, сплошь в синяках и ссадинах ноги, кожа на правой вздрагивающей коленке сморщилась.

«Ну вот, — растекалось муравьиной кислотой по языку и враз осушило небо и горло. — Одно к одному...»

— Не надо, Коля! Перестань, ну! Не дури! — просила парня девушка, пытаясь высвободить из его кулака злополучные кувшинки.

— Что, цыпа, клюнула?! — чуть ли не обрадовался парень. — Цветочками купили? А ну брысь! — Он вырвал из тонких пальцев девушки букет и с размаху хлестнул Михаила по лицу. — Н-на, падла, жуй свои водоросли!

— Колян! — вскрикнула девушка. — Хватит!

Михаил откатился к своей одежде. И следующий наскок Коляна встретил на ногах. Точный удар в подбородок, и Колян ткнулся в песок.

Его приятель, безучастно следивший за конфликтом, неожиданно шустро вскочил и аллюром припустил к селу.

Михаил обескураженно повернулся к девушке.

— Бегите! — выдохнула она. — Он за подмогой, за своими побежал! — И, не давая ему опомниться, схватила его ботинки, китель, сунула ему в руки. — Быстрее, ну! Уходите же, уходите!.. Они до смерти избьют! — И, видя, что он никак не сориентируется, куда ему скрываться, дернула его за руку, повлекла за собой...

Тропинка сквозь заросли тальника вывела на вытопанное пастбище. Они уже не бежали, быстро шли рядом, перешагивая через коровьи лепешки и странные растения со множеством шипов — зеленовато-желтые, размером с тарелку.

— Ого! — сказал он, тяготясь молчанием. — Обрезаться можно об эти кактусы. Как называются?

Она не ответила, лишь прикусила верхнюю губу, потревоженная его взглядом. И опять шагали в устойчивой тишине по накаленной, кое-где

треснувшей земле. «Куда?» — хотелось ему спросить, но что-то мешало — возможно, эта сосредоточенная устремленность, с которой она шагала, размахивая — в одной руке — цветистым своим сарафаном, в другой — босоножками. На затылке подскакивал стянутый резинкой пучок выгоревших волос, а на лбу раскачивалась влево-вправо сохранившая каштановый цвет челка.

У него с живота начал, щекотая, осыпаться подсыхающий песок. Он стряхнул его. Подумал: «Ничего себе! Угораздило же вляпаться...» Спросил:

— А этот, второй, который побежал-то, случайно не...

— Вы сгорите, — сказала она, намеренно почему-то перебивая его.

— Да? — Он остановился, глуповато улыбаясь, кивнул. — Правда, печет. Зверски. — И в первый раз по-настоящему окинул взглядом всю ее девчоночью фигурку: выгоревший в цветочек купальник, бледноватое по сравнению с загорелым телом продолговатое лицо с выражением некой неприступности и настороженности одновременно.

— Рубаху оденьте, говорю.

— А-а, да, верно. — Он потянул из рукава кителя рубашку, выронил ботинки. Когда наклонился за ними, почувствовал — как легонько она коснулась его плеча.

— Уже сгорели. — Бросила на землю босоножки, надела через голову сарафан.

Он, путаясь в штанинах, стал натягивать брюки.

— Я навредил вам, наверно, кувшинками своими?

Вспыхнули зеленые глаза — и погасли:

— Не беспокойтесь, он ко всем цепляется, по любому поводу.

— А кто он вам, извините?

Сделала вид, что не расслышала или не поняла.

— Идемте, — сказала она нетерпеливо и чуть сердито.

Он не осмелился переспросить. «Какое мне дело? Без меня разберутся».

И тут она схватила его за локоть:

— Бежим!

Увидев в ее лице смятение, оглянулся. Их преследовали.

— Беги одна, я через поле.

— Догонят! — И, видя, что он упрямится, сердито прикрикнула: —

Не за тебя боюсь! Коляна опять посадят!

Добежали до крайнего дома. Она отомкнула калитку, подтолкнула во двор. «Огородами?» — предположил он, озираясь.

— В дом! — скомандовала она. — Да пошли же! Колян бабушки боится.

И он снова послушался, хотя и не понял, при чем тут какая-то бабушка. Вошли в избу, разделенную занавеской. В нос ударил запах вальерьянки и еще каких-то приторных лекарств и трав.

От страдальчески надтреснутого голоса: «Ка-а-а, кто с тобой?» — Михаил оробел.

— Это Коля, бабушка. Тебе что-нибудь надо?

Маленькая пауза-раздумье:

— Пусть подойдет. Коля, поди-и.

— Она слепая, — шепнула Катя и громко ответила: — Он пьяный, бабуль.

За занавеской горестно всхлипнули:

— Скажи ему, не пил бы-ы. Коля, что ты? Подойди-ка.

Катя легонько подтолкнула Михаила. Он, растерянно оглянувшись, повинился.

В перине покоилась старуха с белыми глазами на измученном, отечном лице.

— Не пей, Коля... обеща-ал. Не пей — грех!

И заплакала, по-детски растянув бескровные губы. Михаил беспомощно заозирался. Катя взяла старушечью руку, стала ее поглаживать, приговаривая:

— Ничего, бабушка, он перестанет. Он исправится, он не будет больше.

Катя баюкала старуху, и та, по-видимому, вновь погружалась в по-

тревоженный сон. Михаил вышел на светлую половину дома, встал у окна.

На скамейке у палисадника сидели четверо и, прикрыв головы лопухами, курили.

— Э-ге! — вырвалось у Михаила непроизвольно. — Вон тех двоих я встречал раньше — у вашей конторы. — Он обернулся к Кате: — Думаешь, они не войдут?

Катя открыла буфет, выставила на середину стола желтую пластмассовую вазу с печеньем и дешевой карамелью, подняла на Михаила усталые, доверчивые глаза:

— Бабушки побоятся. Она ведь нам с Коляном вместо матери всю жизнь приходилась. Кроме нее, Коля никого последнее время не признает. Господи, прости его, дурака такого...

«Странно все», — подумалось Михаилу, однако расспрашивать подробнее он не решился. Загадочность чужой непростой жизни, куда он вломился невзначай, разрушив, разорвав ненароком какие-то важные связи, будила любопытство, но не настолько, чтобы он позабыл, кто он и как здесь очутился...

Катя тряхнула головой:

— Так я поставлю чайник, да? — И вздохнула: — Раньше я спала — что днем, что ночью — хоть бы что, а теперь вот почему-то страшно. Вчера проснулась и не знаю отчего: то ли самолет ваш грохнул, то ли бабушка позвала... Может, и в самом деле, как говорят, к покойнику... И еще Николай...

Голос ее будто пошершавел, а глаза как бы подернулись мутной пленочкой, затворились.

«Николай... — мысленно повторил Михаил. — Николай, давай покурим... — Он навалился грудью на стол так, чтоб видеть сидящих на лавочке. — Пристает к ней, должно быть. Кто он ей — брат, жених?..»

— Как-то по-новому все увиделось, — продолжала Катя. — И поняла: жутко. Ночь — и ты в ней одна, и самолеты ваши взлетают с ревом один за другим, как будто из преисподней, да так, что все трещит по швам, рассыпается, вся-то, кажется, оболочка земная... — Она оборвала себя, точно спохватилась: — А тебе? Не жутко? Я так прямо заболелау...

Михаил промолчал, потому что Катя встрепенулась и направилась к окну, и, пока она шла, он попробовал вообразить, отчего ей может быть страшно во время полетов. Для него аэродром сразу стал местом работы — сложной, но обыденной. Конечно, он уставал от нее, и не прочь иногда был отвлечься, и отвлекался — но с тем, чтобы опять к этому вернуться. И только. А если и размышлял когда-нибудь над тем, нужны ли людям эта его работа, его военное умение, мастерство, то, пожалуй, лишь на политзанятиях, по-мужски, как защитник своей земли. И поэтому мощь техники, ее колоссальные возможности не пугали, а возбуждали гордость и уверенность в самом себе, поскольку техника эта все же была продолжением его рук и зависела лично от него.

Катя высунулась в окно, повертела головой: за палисадником никого уже не было.

— Кстати! — Она заметно повеселела. — Я не знаю твоего имени.

Он, тоже испытыв облегчение, привстал и церемонно-шутливо поклонился:

— Михаил.

— Миша? — Она вздернула свои тонкие брови, и глаза ее от этого сделались большими, наивно-восторженными. В раздумье вернулась к буфету, что-то взяла, сдержанно улыбнулась: — Гляди: мой талисман. — На ее ладони сверкнул пуговками черных глаз мохнатый зверек-сувенир. — Мой защитник-выручалник. Мишутка. Когда-то я, — Катя смущенно улыбнулась, — загадала. И вот, может быть, сбилось?

Он либо не понял, либо не расслышал, потому что за окном прогромыхал грузовик.

— Олимпийский? — Он приподнял ее ладонь на уровень своих глаз, рубашка на спине натянулась, и он невольно поморщился.

— Что, не нравится? — спросила Катя обеспокоенно,

— Горю... спина.

— Ой, забыла! Надо же помазать...

От холодной ли простокваши, вынесенной из подпола, от нежных ли касаний Катиных пальцев ему сделалось зябко.

— Ну как, полегче?

— Да, — хрипло ответил он и, повернувшись на табурете, обнял ее. Она откинулась в его руках, выставив перед собой испачканные в простокваше ладони.

Он почувствовал, как она вздрогнула от неожиданно возникшего из-под земли гула. На столе мелко позванивали чашки о блюда. В окно сочился розовый закат.

— Ну вот, — улыбнулась она, — чаю так и не попили.

— Да, газуют, — Михаил поискал взглядом ходики, чакающие на стене где-то в полумраке. — Я что же, задремал? Который час? — И подумал, что так вот, завораживающе-отстраненно, гула турбин он ни разу до этого не слышал. А гул разрастался, словно приближалась снежная лавина с гор.

— Ка-атя! — позвал из-за полога скрипучий, заставивший Михаила вздрогнуть голос. — Коля ушел?

— Ушел. Тебе что-нибудь нужно?

Ответа не последовало. И Катя перешла на шепот:

— Вот она всегда так — в начале ваших полетов — проснется, окликнет и замолчит... А мне этот гул напоминает землетрясение.

— Угу, — неопределенно откликнулся он.

И возникла пульсирующая пауза.

— Ты обо мне плохо не думаешь?

— Почему? — внимая наполовину ей, наполовину самолетному гулу, удивился Михаил. — Все нет. Я просто... неразговорчивый.

Она подула ему в щеку:

— О себе хочешь расскажу немного? — И, восприняв его движение к себе как готовность слушать, заторопилась: — Я, когда уезжала отсюда — в институт поступать, — все было здесь хорошо: бабушка была еще здорова, Колян не пил. Ты не можешь себе представить, до чего он изменился...

«Очень мне это нужно — представлять», — подумал Михаил. Он соображал, как бы не опоздать к началу полетов.

— ...Потом — я уже на втором курсе училась — письмо: Коляна посадили, у бабушки паралич. А две недели назад — телеграмма на стройотряд: бабушка при смерти, и... еще Колян вернулся. Тебе неинтересно?

— Ну почему, я слушаю, — возразил он, начиная томиться.

— Тебе пора? — потухая, спросила она.

— Ничего, я успею.

Он наконец понял, что именно раздражало его в этой ее исповеди — постоянное упоминание о Коляне, призыв пожалеть этого дебила.

— Мы, бабы, глупый народ, — вдруг совсем другим голосом, усмехаясь, сказала она. — Вот и теперь помнилось мне, дурочке, что встреча наша — судьба. Хотя понимаю: уйдешь — и все. Наша глупость — стремление удержать, правда ведь?

«Ну начинается, — еще больше раздражаясь, подумал Михаил, — как в кино», — и вспомнил кассиршу Максимову у захудалого клуба. Он встал, подошел к ходикам.

— Вот закончишь институт, — сказал он неожиданно резко, — в гору пойдешь, может, даже в председатели выбьешься... Ох, и женихов у тебя тогда будет! А, как? Не хочешь в председатели?.. Ты что, обиделась? Ведь я шучу.

Она молча, поджав ноги, глядела на него с дивана, потом сказала:

— Да нет, не на что.

Он почувствовал, что сказанное им говорить было не нужно. Ну да что теперь поделаешь!

Вышли на крыльцо. Он провел по ее щеке ладонью:

— Если обидел чем — извини. Не провожай. — И, не дав ей ответить, спрыгнул на землю.

За селом, выйдя на большак, он увидел в розовой полоске пригоризонтного неба вспыхнувший серебряный слиток — поднимался разведчик погоды.

Обернулся — Катиного дома видно не было. «Ладно», — сказал он себе и сам не разобрал, к чему сказал.

До части добрался благополучно, отметил у дежурного—и на полеты. С ходу включился в привычный ритм работы. И вскоре подготовленный им и его товарищами самолет вырливал на взлетку. Вот он весь напружинивается, подбирается, язык из сопла начинает удлиняться, голубеть, будто от злости на сдерживающие тормоза. Грохот нарастает, нарастает! Бух!—хлопок. И пошел, пошел! Пошел, рассекая воздух! И точно материя рвется. Легко, без малейшего усилия.

Ракета взвивается в продырявленное звездами небо. И прямо из капониров—один за одним, один за одним,—оглушив ночь непрерывным, адским ревом, выпрыгивают истребители. Они стремительно проносятся по взлетной полосе, взмывают и, прочерчивая в прозрачно-черном небе фосфорические параболы, уходят...

Неожиданно над Михаилом на низкой высоте что-то грохнуло: это МИГ вылетел из-за капонира так, что он его не слышал и не видел, и вдруг ахнул над самой головой пушечным разрывом, и все в Михаиле оборвалось, точно его кувалдой саданули по затылку...

Самолет давно растворился, затерялась в черном безбрежье светящаяся точка, а он все языком не мог пошевелиться... Только ощущение, будто позвоночник хрустнул. На секунду-другую мелькнула перед глазами тихая заводь—далеко-далеко, в глубоком прошлом—какие-то бледные кувшинки, пряный болотистый запах, испуг зеленых глаз—и отделилось, отделилось... Только где-то в подсознании—потому что некогда, некогда да и зачем?—слабое сожаление, непонятно о чем.

г. Дмитров.



Н о в ы е с т и х и

* * *

От грозных истин пухнет голова.
Но что такое истина? Трава.
Растет из глаз, кустится на свету.
Пустыня современности мертва.
Я вкус полынный чувствую во рту.

Но это бред! Совсем наоборот.
Исток во тьме вселенная берет.
Умру — поэт родится на Дону.
Песком и глиной захлебнется рот —
Подсолнух сердца людям протяну.

* * *

Д. Самойлову

Уходят лирики... А ну-ка
Скажи мне, точная наука,
Зачем с околицы небес
От века целится из лука
И жмурит око Геркулес?
Какую заповедь Эллады
Уберегли до сей поры
Вон те рассыпанные клады —
Необъяснимые миры?
Рисунки звездного письма,
Что древность нам адресовала,
Для современного ума —
На сводах мрачного подвала
Узоры плесени. Тюрьма
Свой потолок обрисовала.
И ни о чем не говорит
Заслон пространства. Безымянны,
Текут астральные туманы —
К вершинам духа путь закрыт.
Но что замыслил дерзкий эллин?
Лучи небесного Стрельца
Рождают музыку. Прицелен
Огонь, ворующий сердца.

* * *

Светла пора для топора,
Зато урон степному лету:
Царь-тополь высился вчера —
Ветвистой кроны больше нету.

Мертвее голого столба
Обезображенное тело.
И ложь бессовестно груба,
Что казни дерево хотело.

Но корни целы. И верна
Себе природа. И полезла
Живая зелень из бревна.
И мучить правду бесполезно.

* * *

Игорю Меркину

Сквозные листья флоры чахлой
Купая в угольной пыли,
Не захирел поселок шахтный —
Корнями жители вросли.

Но ветру с поля в парке школьном
Уже не радуются те,
С кем я плутал по старым штольням,
Переползал на животе.

Шумело племя трудовое
В чумазой мощи и красе —
Послевоенные герои
Стихов на первой полосе.

Дружны и молоды на диво,
Тянули общую страду,
Но, расставаясь без надрыва,
Могли проститься на ходу.

Слепое время нам досталось:
Перемешало даль и близь,

Авральный натиск и усталость —
Мы не по свету разбрелись,

Друзья ушли в граненых касках
По лабиринтам пустоты
В глубинный мрак степей донбасских.
Проход засыпали пласты.

Наверно, Шубин¹ косолапый,
Легенда края, местный дух,
Поворожил горняцкой лампой.
Братва, туда, но луч потух.

Я сам зажат пустой породой.¹
В какой-то склеп едва пролез,
Где тишиной белобородой
Заплесневел крепежный лес.

Ослаб фонарь, и в шахте смерклось
Кричу, зову, но мир оглох.
Закрыли выход на поверхность
Пласты обрушенных эпох.

* * *

С утра погода сеяла дождем —
Изменчивое северное лето.
И крепко погромыхивало где-то.
И вспыхнул разом, будто подожжен,
Старинный дом — безлюдная планета.

Проемы окон светятся, дрожа.
Но хорошо сквозь вяжущую дрему
Пространство жизни видеть по-другому,
Прислушиваться к музыке дождя
И верить очистительному грому.

¹ Шубин — по поверьям, дух шахты, для Донбасса примерно то же, что Хозяйка Медной горы для рудников Урала.



Т р и р а с с к а з а

Под лезвием звуков

— В морду дай ему, в морду, я тебе говорю! Бежит он рысцой, закаляется, а ты спокойно, с большим достоинством идешь случайно ему навстречу — и хрясть! хрясть! хрясть!.. А еще лучше так: он сидит в президиуме, ведет собрание, ты посылаешь записочку с пожеланием выступить, он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством идешь на сцену и при всех плюешь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! хр-р-р! Все понимают — за что, и мы устраиваем бурную овацию. А этот мерзавец, подонок, вор, курва, сексот, угробивший столько народу, навалит в штаны от страха и, попомни мои слова, начнет тебя уважать, ублажать, и все ты получишь сполна, спокойно, с большим достоинством. Ты же меня знаешь, я плохого не посоветую. Сам терпеть не могу сомнительных действий, интриг, эта мелкая возня не по мне — слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы.

Бу-бу-бу... Грум-вжжик, грум-вжжик... йяй-йяй-йяй... Непроглядное утро, промозглое, ледяное и слякотное, с гремучей, визгучей дверью в парадном, с тарактеньем и шамканьем лифта, пахнущего мочой и окурками, с подметальным размахом, шварком и скребом лопат и дворницких метел в гулком колодце за окнами, где собаки прогуливают хозяев, рычащих, роющих землю, задирающих лапку под деревом, вынюхивающих друг друга.

А в почтовом ящике — три газетки, четыре письма, две повестки, два счета за телефон, который не отвечает, и... малюсенький мышинный младенец:

— Иди ко мне, моя крошка, бархатный, нежный лоскутик! Я отнесу тебя к мамочке, к твоей мышинной бабуле, к толпам хвостатых родичей, которыми полон подвал.

— А я уже мертвый, ты разве не видишь? Надень очки, вот они — в левом кармане куртки. Надень и увидишь, как я спал и меня задушили, крепко и весело сжали меня в кулаке и — хруп! — и пи-пи!.. А потом затолкали в железную щелку. Зато мне теперь не хочется ни пить, ни есть, ни дрожать от страха, я сплю в благодати, а мясо мое отнеси под кустик, пускай съедят, меня в этом мясе нет, весь вышел, — он говорит блестящими, выпуклыми глазенками, лежа в ладони под мертвым сиянием общественной лампы дневного света.

Иду и бросаю его под кустик, в глубокий снег, не оборачиваясь, перебегаю двор, а в глазу на затылке серебристое тельце удавленника сливается с морозной снеготочивой мглой...

— Нет, паршивец, ты дай мне собственную оценку — бу-бу-бу! — тогдашнего пакта между Молотовым и Риббентропом и приведи — жу-жу-жу! — бесспорные доказательства, неоспоримые факты, а не твяканье этой контры, этой газетной своры гнусных переворотчиков! Я преподаю вам не только и не столько нашу историю — грум-вжжик! грум-вжжик! — а железную идеологию нашего общества! Да заткнись ты, заткнись, вся семья у тебя такая! Мало он пролил крови, мало пересажал, мало перестрелял! Не своею он умер смертью! Скоты! Свиньи неблагодарные — грум-йяй-йяй! Гений он был, ге-е-ний! В гробу мы видали Европу и всю мировую общественность! В гробу — бу-бу-бу! Подумаешь, Гитлер?! Нет ничего позорного, это же битва гигантов, мы расширяли границы! Мы, негодяй, законно увеличили свою территорию. Да плевать мне, что о нас думают! Вон из класса! Больше не смей приходиться! — грум-

грум! — на мои уроки. Ты очерняешь — бемц — ты извращаешь идейно — бамц! — всю нашу действительность, ты ненавидишь историю родины — грум-йй-йй! — ты предаешь идеологию нашей партии, вежливая ты сволочь!

— За что-о-о-о? Он ничего тако-о-о-о-го! Грум-вжжик, грум-вжжик, йй-йй!

— И ты вон из класса! И ты! И ты! И ты!.. Задуш-ш-шу, как мыш-ш-шат! Мразь, шваль, газет начитались, наслушались голосов, нагладелись на переводчиков — бамц-бамц! — на прогрессистов, ревизионистов, антисталинистов, подонков!

Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, переменка, все мчатся в уборную.

Жилистая, подслеповатая кошка под кустом на снегу поймала задушенного мышонка и лапой толкает, чтоб он удрал, а она чтоб его догнала, а он чтоб опять удрал, а она чтоб опять его догнала и, вымотав этой древней игрой, кровожадной, беспрюиришной, съела и облизнулась. Пицца должна бегать!

— А я уже мертвый, ты разве не видишь, проклятая кошка? Меня в этом мясе нет, весь вышел! — говорит он блестящими выпуклыми глазенками, вылетая из класса в мировое пространство — мороз и солнце, день чудесный! Тю-тю, Валендитрия Мутиновна, я свободен, я выброшен, о счастье! Теперь я не буду ходить на ваши — бу-бу-бу! жу-жу-жу! грум-грум! йй-йй! А буду гулять со своей девочкой и читать «Оправдание добра» Соловьева.

А другой сказал:

— Хрен вот! Выгнать меня не можешь, драная кошка, стерва и псих! У нас пока еще есть конституция, и никто не имеет права лишать меня среднего образования. Цыц, а то врежу! Нет у меня денег для репетиторов. И будешь ты учить меня, Валендитрия — хрясть! — Мутиновна, это твоя работа, тебе за нее государство платит из налогов — курва! — моих родителей, из их кармана. Так что заткни свою пасть, а то харкну. И запомни — орать на меня бесполезно, я подрабатываю санитаром в психушке, и все эти фокусы — до первой затрещины. Так что будь добра успокоиться — вот валерьянка, у меня ведь тоже нервы контуженные!

Когда телефонная вилка из стенки вынута, все равно мне слышно, как звонят и звонят без конца. В этом году мрут от удущья, от легких, от запойного курева. Друг мой дальний, уж дальше некуда, красавица, умница, каторжанка, мать ограбленная, сильная, нежная, беззаветная, над черной рекой, где одно дитя уже утонуло, а другое еще купается, — это звонят о ней, завтра в двенадцать, морг 2-й МПС, цветы и серебряный рублик во гроб, в ледяные ножки, чтоб заплатила Харону за перевоз. Уж чего не терпела — так быть в долгу! А в той, предыдущей, жизни она под забором нашла большого зверька, дала молока, подстилку и блюдечко. Спи, голубка... спи, моя Людочка. Нет тебя в этом мясе, его отнесут под кустик, а летом поставят камень. Вышла ты вся. Оболочка неузнаваема. И, только домой возвратясь, я целую твое отраженье в колодце глубокой памяти под каплющей воском свечой.

Я только хотела сказать, что ничего не забыла, за все благодарна, за каждую корку. Но трубку сняла пустая жилплощадь:

— Почему вы звоните так поздно и кто вы такая? Вы знаете, сколько времени? Уже одиннадцать ночи — грум-вжжик-йй-йй! И вообще!

Мускул воды свивается с мускулом времени, перетеканье мглы, прозрачная непроглядность, тропический ливень, папоротники, хвощи, лианы, лемуры. Йй-йй — мой отрок сидит под бананом и пишет воспоминанья.

— Он болен?

— Да, — говорю, — отвращеньем к школе. Острая форма.

Оба завуча и родители двух изгнанников прибыли на толковище. В каинетике душно, пахнет бумагами, истерической кошкой и чокнутой историчкой. Историчка чокнулась в тот момент, когда его вынесли из мавзолея. Покаялась отомстить за поруганье святыни, за оскорбление гения, победившего Гитлера и Германию, освободившего страны Восточной Европы, ежедневно уничтожавшего внутренних подлых врагов и ежегодно снижавшего цены. Она поклялась до гроба служить ему верой и правдой, обостряя борьбу, классовую и международную. Таких было много, и ей полегчало. Но ежегодно пять-шесть-семь каких-то гаденышей задавали ей самые каверзные вопросы и так

мерзко, так подло, так вежливо ей возражали, что она колотилась в припадках и валяла им двойки в журнал, прогоняя с урока, или хуже того — повышала отметки боксерскому классу за кровавую кашу из начитанных этих гаденышей.

Но вот сидит она, Красная Шапочка с ангельским видом, ласково улыбаясь, головка набок, губки сладкие, глазки невинные, и так застенчиво и кокетливо сумочку теребит, ярость свою загоняет в подметки. Сразу видно: ханжа и базарная баба.

— Я очень, ну прямо очень — бу-бу-бу! жу-жу-жу! — любила ваших детей... до этого года. Но теперь, когда все печатается и родители читают все без разбору — вжжик-ййй-ййй! — ваши дети срывают мои уроки своими вопросами, а также каверзными ответами — грум-вжжик! грум-вжжик! — и вступают со мной в совершенно бессмысленный спор, в бесполезный и даже вредный для их будущего политического лица. А зачем? Я даю матерьял по схеме, идейно выверенной и оснащенной всеми неоспоримыми фактами. Это готовые ответы для экзамена в любой вуз. Вы меня слышите? Умные родители понимают, что, имея мои конспекты — бу-бу-бу! жу-жу-жу! — думать не надо, и спорить незачем, а надо только единственное — грум-ййй-ййй! — отвечать, как записано под мою диктовку. Вы меня слышите? Это очень всем облегчает, спросите завучей, все они — мои бывшие ученицы — вы меня слышите? — и все сдавали в пединститут.

— А я не хочу, — говорит ей одна мамаша, — чтобы моя Глаша за отметку перед вами холуйствовала и пресмыкалась. Ребенок имеет право задать вопрос!

— А я имею право поставить двойку за срыв урока!

— Нет, не имеет!

— Нет, имею!

— Никакого!

— Полное!

— Вы развращаете!

— Вы врете!

— Вы оскорбляете!

— К черту! Ухожу! На пенсию! Ищите! Себе! Другого! Учителя!

Тут оба завуча хватают ее за кофту, за юбку, за весь трикотаж:

— Валентитрия Мутиновна! Никогда, ни за что не уходите на пенсию!

Где мы найдем учителя в середине года? Для десятых классов? Где?! Ведь сегодня никто не знает, как преподавать этот страшный предмет — обществоведение! — грум-вжжик-ййй-ййй! Лучше мы выгоним этих детей из школы — бум-бум! — с их проклятыми вопросами! Пусть катятся, отцепенцы, чи-та-а-те-ли!

— Вам плохо, родительница?..

— Нет, мне хорошо... Это вам плохо — грум-ййй-ййй!

— Почему?

— Потому что я записала — бемц-плямс! — на магнитофонную пленку.

— Куда?.. Куда вы удалились?!

— В роно! В гуно! В созвездие Стрельца!

...Снег, ветер, метель. Какая-то в черном плаще обнимает дерево на Гоголевском бульваре и лбом-бом-бом! по стволу, и бормочет гражданка, глотая слезы:

— Прости бессилье мое и отчаянье в час молитвы о сокрушении злокозненных сил тщеты и адской богопротивности, распинающих детство твое, о чадо божье!..

— Гражданка, вам плохо?

— Нет, что вы, мне хорошо. Я всегда в это время немного дышу через дерево. Знаете, лейтенант, надо выбрать большое, сильное дерево, обнять его и прижаться — грудью, лбом, животом, коленями — и дышать сквозь него, дышать, хотя бы минут пятнадцать, а лучше — тридцать, под звездами. Очищает.

— И от камней?

— И от камней. Возьмите мое дерево, я как раз его раздышала, и оно еще теплое.

Хруп-хруп! Хруп-хруп! Это я прохожу мимо, мимо этой гражданки, мимо

этого лейтенанта милиции, который в обнимку с деревом на Гоголевском бульваре очищается от камней.

На попутной лошадке качусь по кольцу — до своего переулка — жу-жу-жу! бу-бу-бу! — кучер трудится инженером, два года работал в Индии, там в гостинице ползают прозрачные ящерицы — хапнут мушку, и видно, как мушка эта внутри переваривается до полного исчезновения к вечеру.

Вот и ночь. Добрести до дивана и набок — как дохлая мышь. Открываю первую дверь подъезда — крошечная тьма. С трудом вспоминаю код, бес-толково давлю на разные кнопки. У подъезда — хруп-хруп! — гуляют собаки с хозяевами:

— ...он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством — бу-бу-бу! — плюешь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! И все понимаю за что и устраивают овацию — грум-вжжик! грум-вжжик! — слишком жизнь коротка и до-о-роги идеалы.

Ййй-ййй-ййй! — завизжала вторая дверь, открываясь. Лифт не работает. И, чтобы насмерть не задохнуться ни на одном из шести этажей, сплю и вижу я Киев, детство и небеса Подола, ту высокую гору, где Андреевский храм в облаках, — как легко мне тогда дышалось, как всюду мне было близко и кру-тое мне было плавным...

1988

Хлад, глад, свет

Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. Нажим... волосок. Нажим... волосок. Не торопитесь, дети, не залезайте на клетку рядом. Не рвите бумагу перьями. Слишком не нажимайте. Рука не должна дрожать. Почерк — это характер. Пишите красиво и чисто. Перья «рондо» не годятся, от них — одни выкрутасы.

Парта одна на троих. Не кладите два локтя на парту. От этого тесно соседю. Дети, не забывайте о ближних. Никогда не толкайтесь локтями. Не кушайте промокашку. Нажим... волосок. Нажим... волосок.

На окнах толстый лиловый лед. Сквозь замазку не дует, но стужа вгрызается в стены, как в яблоки, — и стены хрустят.

Всего холодней — в стене и в спине. В спине у стены. В стене у спины. Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где мама и Маша достали мыло?

На базаре — двести рублей кусок. Самое лучшее мыло — собачье с детем, от него дохнут тифозные вши. Вши бывают возвратные и брюшные. Поэтому тиф тоже бывает брюшной и возвратный. Нажим... волосок. Нажим... волосок. Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где в это время было их барахло?

Оно было в прожарке. В прожарке сидит тетя Рая. Она там заведует жаром и паром. Тетя Рая жарит все барахло, куда народ моется. А по ночам она жарит мундиры, куда народ воюет. Мундиры — это шинели, галифе, гимнастерки, портянки. А есть еще кителя и бескозырки. Потом тетя Рая подметает жареных вшей — десять бочек жареных вшей! Она мне сама говорила. Их берет подсобное хозяйство для удобрения огородов. Это изобрел для народа дедушка Мичурин, чтобы всем хватило свеклы и картошки до полной и окончательной победы над фрицами. Свекла сладкая. Картошка очень сладкая, если мороженая. Из картофельных шкуроч, если они есть, пекут дедуны. До войны они назывались блинчики. Тогда их пекли из муки.

Блинчики бывают ни с чем и со всем — с маслом, с мясом, с творогом, со сметаной, с яблоками, с вареньем, с джемом — со всем, что бывает до войны, до войны, довойны, довойны, довойны, войны-до, войны-до.

Войны-до была улица Малая Васильковская, потому что рядом у рынка продавали целые ведра маленьких васильков с опаленными солнцем зубчиками. Я — Василек! Я — Василек! Вы меня слышите? Мама, я умираю...

Нажим... волосок. Нажим... волосок. Пишите красиво и чисто. Мама мыла Машу. Маша ела кашу. Войны-до. Пришли трое и управдом. Папа вешал на елку стеклянный дом. Весь дом упал и разбился. Мама стала вся белая. А папа весь черный. А они хулиганили в комод, в шкафу, в банках с крупой и вареньем. Распотрошили письменный стол и диван. Расковыряли Машину кашу.

Папа сказал маме: все утрясется. Только без паники. Только без нервов. Дети так впечатлительны! Их психику надо беречь. Для них ничто не должно измениться. Где-то что-то кто-то напутал. Произошла ошибка. Это мелочь в великом процессе великой истории. Мужество и спокойствие. Величайший все знает, все видит, все слышит. Папа ему напишет. И мама ему напишет. Мама дала папе мыло и клумачок с барахлом. Сало и хлеб он не взял. Там кормят.

Папа выменял там это мыло на папиросы. Он очень курил. От этого у него отбили печень и почки. Он потом не мог ничего глотать, ел только жидкое. Нельзя так много курить. Он превратился в скелет. И потом на нем уже никогда не росло мясо. От этого дыма он стал быстро слепнуть. Но тут на нас напали фашисты. И вождь срочно послал папу на секретный завод, чтобы из трактора сделать танк. Но папа сделал еще и самолет, и бомбы, и мины. Теперь он получает паек. Как все.

Из пайка мы с мамой продаем на базаре спирт и покупаем для папы махорку по 90 рублей за стакан с верхом. И относим ему на завод. В проходной у нас берут передачу и записку, что все хорошо.

Завод очень замаскирован, и папа там ночует в замаскированной комнате. Однажды он ночевал дома и страшно кричал во сне, как переехавшая собака. Я тоже. Меня разбомбили в поезде. Я от этого очень моргаю. И мне трудно играть с другими детьми, они меня за моргание дразнят. Но будут еще и такие игры, где можно выиграть, если все проморгаешь. Нажим... волосок. Маша ела кашу. Маша ела кашу — целых четыре строчки.

Я ем промокашку, она как вафля-микадо. Все жуют промокашку. Весь класс. Сорок три человека. Скоро звонок, и дадут булочку с сахаром. А кто вчера не был в школе, тому — две. А кто позавчера и вчера не был, тому — три. Три, три, трилистник. Такой цветок. Носи на груди — не убьют. Шьем кисеты для безмянных героев, в каждый кладем трилистник. Потом получаем письма — все живы, но много раненых.

Мама бинтует раненых. Бинты тоже едят. Если очень больно. Бинты как промокашка. Они промокают кровь. Мы — чернилки-невывайки. Невывайки с кровью. Можно подлить, если мало. Мама моя подливает в раненых кровь. Кровью пишут. Любовные письма и страшные клятвы. Нажим... волосок. Рука не должна дрожать. Пишите красиво и чисто. Клянусь убивать врага, умереть за Родину и вернуться с победой. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Кровяные дожди утопили фашистов, они проваливаются сквозь землю, а там бункер, и Гитлер красный от крови, и Геббельс. От этих фамилий я очень моргаю.

И уже прилетела комета кровавого цвета. Утром дети видят ее из окна. И ночью в госпитале видят ее раненые. Дети и раненые видят комету. Больше никто. По субботам — концерты для раненых. Я пою и читаю Некрасова. Там пахнет йодом, кровью, гноем и потом. Сперва ужасно тошнит. А потом все привывают. И выздоровливают.

Комета может упасть на землю и ее расколоть. Та сторона, где Гитлер, обломится и вся сгорит. А та сторона, где мы, расцветет от тепла и будет кружиться, покуда не станет круглой. Комету прислали нам марсиане. Они голубые и питаются воздухом, у них поэтому нет голодных. Они разговаривают глазами, читают мысли на расстоянии — прямо из головы. У них голова хрустальная. У них не бывает плохих мыслей. До того, как питаться воздухом, они открыли, что можно есть промокашку. Нажим... волосок. Нажим... волосок.

Промокашка — она как воздух, ее можно есть без конца. Из нее во рту получается розоватая кашка. Пресная, чуть сладковатая, пахнущая бинтами и стружкой. Эй, рубанок, спозаранок стружку лей!.. лей, лей!.. Клей тоже едят, если в нем крахмал. И мел едят. Когда едят мел, он разговаривает. И во рту — два слова: крах мал, крах мал, мал крах. Кр-р-рах! Мал мел. Мул мыл мол. Лом бел бел. Лом бел мял лоб. Бил об мброк. Обморок!.. обморок!.. обморок... Боль, лось, темь — там... Об пол — лбом! Тили-бом, тили-бом... Летим!.. Едим!.. все подряд. Кашка, ромашка, роза. Тетя Роза в пузо втыкает штырь. Нашатырь!.. Глотанье меча. Запах — моча. Мир бел. Лицо — мел. Хлад, глад, свет! Звон. Дон-динь!.. Всем! дают витамин. И булочку с сахаром.

Тетя Роза давно убита, она была санитаркой, ее наградили орденом. Это не тетя Роза, это моя учительница. Осенью мы помогали ей квасить ка-

пусту в бочке. Она голодает с двумя детьми. И носит галоши на лапти, а лапти на шерстяные чуваки.

Через тридцать лет в моей черепной коробке лопнет какой-то сосудик. Малюсенький. Вечно он помнил, о чем никому нельзя говорить. Потому что все и так это знают не хуже тебя. Он заведовал тайнами целой эпохи. Он был целомудрен. Мужествен и благороден. Такой малюсенький. Такой крамольный насквозь. Презирающий полуправду, трусость в худшие дни, наглость — в лучшие. Присвоенные чужих страданий, пыток, хлада, глада и света.

Сквозь этот сосудик протекало, струилось отчество первой моей учительницы. На Урале. В Челябинске. Варвара... а дальше — лом бел мял лоб — хоть убей, не помню, не помню, не помню-у-у!.. И моргаю, моргаю... Нажим... волосок. Нажим... волосок. И вся она возвращается, прозрачная, каллиграфическая, как яйцо куропатки. Как ледяная листва на окне, за которым летала комета. Вот ее отчество — хлад, глад, свет, звон, всем дают витамин и булочку с сахаром — Хладгладсветзвонвсемдаютвитаминибулочкуссахаром! В руке у нее, в хрустальной руке у нее шнурок, на шнурке — мешочек сатиновый, в нем — промокашка. В промокашке — трилистник. Чистой силы цветочек. Если ранят, так не убьют. А убьют, так вернешься с победой.

А где мой трилистник? Где мой трилистник? Где? мой? трилистник?.. Господи, вот он! Лежит в промокашке. В прямой, розовой кашке. В маме, которая мыла Машу, и папе давала мыло, и кормила его из ложки, когда он вернулся из ада, из сада пыток. Нажим... волосок. Нажим... волосок. Волосок, на котором висит. Вся жизнь. Вся судьба. Вся память. Обмороки голодных. Обмороки обжор. Чванство низких. Скромность высоких духом. И бинты. И прожарка. И мыло. И мел. И кровь. И гной. И пот. И хлад. И глад. И свет. И трилистник.

Сто лет с наслаждением жую промокашку. В самолете, в поезде, на соборанье, в больнице, в очередях. Всюду, где очевидно, что правда — она постижима, но то она есть, то нет ее. А истина непостижима, но есть всегда. И в худшие дни, и в лучшие. И до лучших дней доживают все. Но всех раньше — мертвые.

1979

До и после недели рукопожатия

Незримый лежал в труппе и жевал сушеные финики. Сын пустыни, он выглядел дважды старше своих тридцати лет, и вдобавок глубокие, жирные, потные складки придавали его лицу выражение кожаного мешка, где переваливается с боку на бок протухшая питьевая вода.

— Эй ты, не бойся! — сказал он белокрысому, скуластому парню с завязанными глазами. — Сейчас я буду тебя кормить. Миска — в углу направо. Ползи!

Он никому не доверял кормить своих пленников, он любил это делать сам. В квартале, где Незримый родился, обитали стаи голодных птиц и животных, и годовалым ребенком он ползал среди них, посасывая сладкую гниль помоек, а позднее, встав на ноги, яростно дрался с ними за кость и за корку, рыча и зверея. Так добывали пищу многие дети его народа, они не боялись смерти, ничто не считали грязью, и брезгливая маска к ним никогда не липла. Выражение брезгливости появлялось гораздо позже, годам к двадцати, когда умопомрачительная помойка цивилизации распахивала свои роскошные, уже небесплатные внутренности, подманивая животных, чьи молодые, голодные железы вопили, что жизнь единственна.

Белокрысый облизнул пересохшие детские губы в кровавых трещинах и не сдвинулся с места. Руки его за спиной были замкнуты на железку, и жгучая боль разливалась в левом боку, текла в поясницу и закипала в ногах, раскаляя ступни.

Незримый знал эту боль наизусть, и силой воображенья он сейчас пропускал сквозь себя кипяток этой пытки, чтоб удвоить страданье, униженность и отчаянье жертвы, для которой он был незрим. Как бог, подумал Незримый, как неподсудная сила, чья непреложность выше добра и зла. Благодаря этой силе он выжил в таких переделках, которым не место в памяти, если ты не издох и жизнь тебе предлагает свое время и действие в обмен на забвенье.

Он вырос в огромной семье и уже не помнил, сколько там было сестер и братьев — полтора или два десятка? — так много их вымерло от болезней,

жестоких драк и несчастных случаев. Но самой красивой из них, самой веселой и нежной, самой незабываемой, несомненно, была Камилла, эта шлюха, — с удовольствием вспомнил Незримый и улыбнулся, мысленно перебегая кровавую диагональ той улочки в Триполи, где она расплескала мозги, поскользнувшись на подоконнике и оставив ему в наложницы восьмилетнюю дочь.

— Хочешь выпить? Я сделал тебя знаменитым. Все радиостанции крутят сегодня ту пленку с твоим голосом. Весь мир думает о тебе. И обо мне, никому не известном. Твои портреты во всех газетах. А мои, слава богу, нет. Я, безымянный, незримый, не лезу в глаза и пью за твою всемирную славу. Если ваши ослы ровно в девять не удовлетворяют мои скромные просьбы, я прострелю твои мозги через задницу. На, выпей!

Незримый железными пальцами сжал заложнику ноздри и влил ему в глотку полстакана местной паршивой водки. Он захлебнулся и выблевал желчь в приступе судорожного кашля. Руки, замкнутые за спиной железным кольцом, мешали ему глубоко вздохнуть, и он кашлял все громче.

— Заткнись, падалы! Услышат!.. — Незримый стал колотить его кулаком по спине, меж лопаток, и пленнику сделалось легче, он больше не кашлял. С отходом желчи воздух ему показался слаще, и горечь на губах и во рту медленно отмывалась слюной и дыханьем. Он опьянел, расслабился и, сперва опустя на колени, лег на каменный пол:

— Господи, это я, пошли мне воспоминанье!

Во сне он купил мороженое на пыльной, ветреной улице, которая где-то вдали обрывалась, впадая в море. Мать ходила туда на закате — потрогать рукой корабль и помечтать на скамейке. Прутиком он сосчитал чугунные ромбы в ограде Этнографического музея, на мраморных ступенях которого, как в зеркале, переливались струистые отблески волн и облаков.

Когда улица кончилась, он увидел, что на скамейке у самого моря сидела мать, читая газету, которую ей перелистывал ветер. Она обернулась и спросила, не разжимая губ:

— Мой маленький, радость моя, где же ты был так долго?..

Незримый рванул его за ухо, вышиб из забытья и выволок из трущобы на воздух:

— Поехали, быстро, быстро!

В кузове маленькой фургона белобрысая голова заложника билась об железное дно, и он потерял сознание. Полицейские нашли его через семь минут после звонка: «Шеф! Под мостом у аэропорта...»

Через месяц он выписался из госпиталя и вернулся на родину, через год его перевели из Министерства Иностранных в Министерство Внутренних Дел. Через пять лет во всем мире объявили Неделю Рукопожатий, и на третий день он, запивая водой аспирин, услышал из телевизора голос Незримого:

— Народ моей молодой республики знает, что жизнь человека единственна и священна. Это придает нам силы в борьбе за равноправие и справедливость, за человеческое достоинство каждого крестьянина и рабочего, а также будущей народной интеллигенции. Нам отвратительно любое насилие, мы с радостью подписали конвенцию по борьбе с терроризмом, и мы неустанно боремся за права человека. Открытость, добросердечие, уважение ко всем народам и религиям — исконные черты нашего национального характера.

Тут Незримый зло и весело улыбнулся, сунул руку за борт кителя и вмиг исчез, уступая экран козе на горном лугу.

— Господи, это он! А-а-а-а!.. — закричал мученик, раздираемый лютой силой прозренья и падая вниз лицом.

К концу Недели Рукопожатий он уже не был русым, он стал серебряным, словно свежая кладбищенская ограда. И мычал на больничной койке, утратив речь.

Он забыл свое имя и как называется море, скамейка, мороженое, воздух, вода и все то, что он чувствовал, чувствует, чувствовать перестает.

И мать в этом сне спросила, не разжимая губ:

— Мой маленький, радость моя, это что у тебя в головке?.. Инсульт?..

Пальцы, переплетенные
 в первые гнезда,
 И веселье звонков... И табличек сияние...
 (На материи мира—сияют заплаты...)
 Лишь фамилии проще да редкостней звания:
 Новый титул—«Отличник уплаты квартплаты»...
 Продолжается лестница
 звонкими маршами,
 Слово жизни талантов—
 законные пени...
 И не горше, чем всюду, на лестнице Гаршина
 При подъеме и спуске
 вздыхают
 ступени...
 И зловещая бабушка, горбясь и охая,
 Словно Клио с клюкой — к поколению в джинсах
 Семенит...
 Пусть не с Гаршинской, — все же с Гороховой...
 Остальные—с Дзержинской...

* *
 *

Кому даны слова—тем четки не нужны:
 Уравнотешишь дух строкой стихотворенья
 В молитвенном углу бессонной тишины,
 На клятвенной реке в туннель столпотворенья...

Кому даны слова—тем счастья не дано
 Иного: ввысь, к Нему, устами бессловесных,
 Как чайки над водой,—гортанно и черно—
 Чьи крылья—абрис губ, сожженных, бестелесных.

Кому даны слова—тех по камням в грозу
 Протащит за язык Пророк за колесницей;
 И бритва осмеет венозную лазурь
 Анализом на миф и желтою больницей...

Кому даны слова—тем слова не сдержатъ:
 Сорвется и в туман заблудится белесый...
 Кому даны слова—дано принадлежать
 К юродивым, до слез смеющимся сквозь слезы.

* *
 *

Новый год или гость случайный—	...Ничего не случилось, только
Светит месяц, бормочет чайник.	Стала горше и тоньше долька...
Ничего не случится, кроме	Ибо сказано: час неровен...
Слез и смеха на бледном сломе...	Бог всевидящ, а грех—греховен.
Ни о чем горевать не стоит,	Ибо пепел—в молочной смеси.
Где, как мамонт, фундамент стонет...	Ибо каждое слово — весит!
Ничего говорить не надо,	Ибо каждая капля крови
Если кожу смуглит Эллада...	В самом деле на честном слове...
Сок аорты толкнется в нервы,	И пылающим, и потухшим
Ибо ты на земле—не первый,	Зарываясь лицом в подушку,
Ибо всюду на сиром свете	В засыпающем нежном вздоре —
Той же влагой—сады и дети!	Альтер эго, мементо мори ¹ ...

¹ Я, другой; помни о смерти (лат.).

С т о п - к р а н

ТЕАТРАЛЬНАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

Паровоз закричал нечеловеческим голосом. То есть не паровоз, конечно, никакой, а тепловоз или электровоз. Ким не видел, что там впереди прицеплено, Ким увидел только, как качнулись вагоны туда-сюда, как брякнули они своими литаврами, как зацокали копытами по рельсам, по стыкам, а тетка на площадке последнего вагона выбросила вперед руку с желтым скрученным флажком: мол, привет всем горячий.

А вот фиг вам, а не привет, подумал Ким на бегу, на лету, в мощном тройном прыжке, с приземлением на той самой площадочке — прямым в жаркие суконные объятия строгой тетки с флажком. Чтобы она обрадовалась сюрпризу мужского пола — так нет. Напротив, заорала столь же нечеловеческим голосом, что и паровоз:

— Куда лезешь, гад полоумный, металлист хренов, ноги бы тебе повыдергивать, поезд-то идет уже, не видишь, что ли? — И всю эту тираду — выкатывая круглые глаза, норовя врезать гостью по кумполу желтым флажком на крепком деревянном древе.

— Статья сто восьмая ука эрэсэфэсэр, — надменно, но быстро сказал Ким, отстраняясь, избегая удара.

— Чего? — не поняла тетка.

— Нанесение тяжких телесных повреждений. Три года с полной конфискацией, понятно? — И, сменив надменный тон на вполне доверительный, спросил шепоточком: — Возьмете в дорогу бедного студента? Позарез надо... — И показал, как позарез, по горлу ребром ладони скользнул плюс глянул на ладонь для убедительности: нет ли свежей крови?..

Крови не было, но тетка прониклась.

— Куда ехать-то, студент? — спросила.

— Куда?.. — надолго задумался Ким, глядя в открытую вагонную дверь, за коей проплывал не то Курский, не то Казанский, а может, и вовсе Киевский вокзал. — Куда?.. — повторил он, не зная, что и ответить, потому что и впрямь не знал, куда порулил из первопрестольной в полдень среди июня, какого лешего он сорвался с места, бросил несделанные дела, недолюбленных девиц, от практики институтской не отмотался, матери телеграмму не отбил... А-а, вот: может, к матери?.. Не-ет, не к ней, мать Кима только в августе ждет... Видать, сняла его с места подслудная черная силища, тайная могучая тяга, просто именуемая в народе шилом в одном месте.

Поэт-современник когда-то афоризмом разродился: мол, никогда не наскучит езда в Незнаемое, мол, днем и ночью идут поезда в Незнаемое. Вот вам и адрес, вот вам и пункт назначения. Хотите — районный центр, хотите — поселок городского типа.

Но Ким не стал травмировать тетку поэзией, Ким ответил уклончиво, но для слуха привычно:

— Куда глаза глядят...

Как и ожидалось, тетку ответ удовлетворил, она сунула ненужный флажок в кобуру, захлопнула вагонную дверь, с лязгом отрезав от Кима прошлый мир. Сказала:

— Ладно уж, возьму... Пойдем, посидишь у меня. Я пока билеты соберу.

Тут бы Киму и спросить, естественно: а куда глаза глядят? В смысле: в какую такую даль, простите за высокий штиль, направил свои дальнотбойные фары помянутый выше локомотив? До каких станций кутили билеты теткин вагонные подопечные?.. Но спросить так — значит признать себя как раз гадом полоумным — смотри первый теткин монолог! — которому не в культурном поезде ехать, а смиренно лежать на узкой койке в больнице имени доктора Ганнушкина. Какому здоровому такое помстится: поутру покидать в сумку близлежащие носильные вещи, нырнуть в метро, всплыть у неведомого вокзала, сигануть в первый отъезжающий поезд: куда отъезжающий, зачем отъезжающий?..

Понятно: Ким промолчал. Всему свое время. Тетка пойдет с билетной сумой по вагону, а он, Ким, изучит маршрут, традиционно висящий под стеклом в коридоре. И все станет ясно, хотя вредное шило в известном месте никакой ясности от Кима не требовало: прыгнул невесть куда, едешь туда же — вот по логике и сойди глухой ночью в темноту и неизвестность...

Тетка провела Кима в казенное купе, усадила на диван напротив хитрого пульта с тумблерами, наказала:

— Сиди тихо. Я сейчас...

И ушла. А Ким посидел-посидел да и пошел-таки глянуть на маршрутный лист. Но увы: под стеклом на стенке напротив красного рычага стоп-крана висела цветная фотография Красной площади, и никаким маршрутом даже не пахло. Не судьба, довольно подумал Ким. Вернулся в теткин купе, зафутболил сумку с одеждой под полку, уставился в грязное окно. А там уже пригородом бежали буйные огороды, обширные картофельные поля, утлые домики под шиферными крышами — милое стандартное Подмосковье, родное до неузнавания.

— Чай пить будешь? — спросила тетка, возникнув в двери. Не дожидаясь ответа, схватила стаканы в битых подстаканниках, ложками зазвела. — Что, студент, денег совсем нету?

— Ну разве трешка, — легко припомнил Ким.

— И как же ты с трешкой в такую даль?

В какую даль? — подумал Ким. А вслух сказал:

— Добрые люди на что?

— Чтой-то мало я их встречала. Они, добрые, то полотенец сопрут, то за чай не заплотят, а то все купе заблюют, нелюди! — Бухнула в сердцах стаканы на стол. — Пей, парень, я-то добрая пока. Булку с колбасой станешь?

— Стану.

— Колбаса московская, хорошая, по два девяносто. Я три батона взяла... — Ким следил голодным глазом за пухлыми теткинскими пальцами, которые крепко нож держали, крепко батон к столу прижимали, крепко ухватывали крахмальные колбасные ломти. — Дорога долгая... — Положила на салфетку перед Кимом толстый хлебный кус с хорошей московской. — Ты ешь, ешь. Скоро напарницу разбужу — вот и поспать ляжешь, вот и запроу тебя в купе — никто не словит. — Мелко засмеялась: — Ах, дура-то! Кому ж здесь ловить? Поезд-то с п е ц а л ь н ы й.

— Это как?

Час от часу не легче: что за специальный поезд подвернулся Киму? Никак — литерный, никак — особого назначения?

— Литерный. Особого назначения, — таинственно понизив голос, сказала тетка. И ускользнула от наскучившего казенного разговора — к простому, к домашнему: — Да, звать тебя как, студент?

— Кимом.

— Кореец, что ли?

— Русский, тетенька, русский. Папанька в честь деда назвал. Расшифровывается: Коммунистический интернационал молодежи, по-нынешнему — комсомол.

— Бывает, — сочувственно сказала тетка. — А меня Настасьей Петровной. Будем знакомы.

Самое время сделать маленькое отступление.

Ким принадлежал к неформальному сообществу людей, живущих не по плану, с высокой колокольни плюющих на строгие расписания занятий, тренировок, свиданий, дней, ночей, недель, жизни, наконец. Людей, могущих (как Ким, например) сняться с обжитого гнезда, не высидев запланированного птенца, и улететь на юг или на север, где никто тебе не нужен и никто тебя не ждет, а здесь, в гнезде, ты как раз всем нужен, черт-те сколько народу ждет тебя сегодня, завтра, через три дня, а ты их всех сохом — по боку. Нехорошо.

Такие люди, казалось бы, срывают громадь наших планов, и если в песне придуманная сказка до сих пор не стала обещанной былью, то это — из-за них. Вечно и всюду вносят они сумятицу, непорядок, разлаживают налаженное, посторонним винтиком влезает в чужой, крепко смазанный механизм, выпадая, естественно, из своего собственного. Который, замечу, отлично без них крутится...

Но кстати. Кому не знаком милый технический парадокс? Чините вы, к примеру, часы-будильник, все разобрали, все смазали, снова собрали, а н — лишняя гаечка, лишний шпенечек, лишняя пружинка... Куда их? А некуда вроде, да и зачем? Работают часы, тикают, будят. И вы успокаиваетесь. И только время от времени гвоздит вас подлая мысль: а вдруг с этим шпенечком, с этой гаечкой, с этой пружинкой они лучше работали бы, громче тикали, вернее будили?..

И сколько же таких незавинченных винтиков, незакрученных гаечек, пружинок без места раскидано по державе нашей обильной! Вставить бы их куда следует — вдруг все у нас лучше закрутится?..

Еще, кстати. Кто, скажите, точно знает, где какому винтику точное место? Только Мастер. А где его взять, коли научный атеизм всерьез убедил нас, что никаких Мастеров в природе не существует? Что лишь Человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей. Стало быть, некому подтвердить, как некому и опровергнуть, что винтик-Ким — из описываемого поезда винтик. В данное время из данного литерного поезда особого назначения. Вставили его-таки. Некий Мастер вынул его из ладного институтского механизма и вставил в гремящий железнодорожный. И все здесь сейчас так закрутится, так засвистит-загрохочет, что только держись!..

Красиво про винтики придумано! Одно огорчает: не сегодня, не здесь и, увы, не только придумано. Увы, почти три десятилетия Некий Мастер отвертки из рук не выпускал: вывинчивал — завинчивал, вывинчивал — завинчивал...

Ким бутерброд доел, чаем залил, заморил червяка благодаря доброй Настасье Петровне. Сама она сидела рядом на полке и тасовала билеты в кармашках сумки-раскладушки, раскладывала служебный пасьянс, что-то бубня неслышно, что-то ворча сердито.

— Не сходится? — спросил Ким.

— С чего бы это? — обрела внятность проводница. — У меня купейный, все чин чином. Это в плацкартном или, того хуже, общем глаз да глаз нужен...

Что-то все ж не сходилось: не в пасьянсе у Настасьи Петровны — у Кима в уме.

— Это как понимать? — полегоньку, подслудно двигался он к цели. — В поезде особого назначения — общие вагоны?! А как насчет теплушек? Сорок человек, восемь лошадей...

— Теплушек нет, — не приняла шутки Настасья Петровна, — не война. И общих не цепляли, не видела. Я вообще по составу не ходила. Бригадир пришел, сказал: сиди, не рыпайся. А чего рыпаться: своих дел хватает.

— Секретный, что ли, состав?

— Не знаю. Тебе-то что? Состав не секретный, зато ты в секрете, поскольку заяц. Я о тебе знаю, и Таньке скажем, и все. Понял?

— Понял. А Танька — это кто?

— Ну, я это, — сказала Танька.

Она стояла на пороге купе — молодая, смазливая, кругленькая тут и там, опухшая от сна, патлатая и злая.

— Ты кого это подцепила, Настасья? — сварливо сказала злая Танька. — Тебе что, прошлого выговорешника мало, другого заждалась?

— Да это ж студент, Танька, — укоризненно объяснила Настасья Петровна.

— А хоть бы и так, ты на его рожу посмотри!

— А чем тебе его рожа не любя?

Тон разговора повышался, как в «тяжелом металле», — по октавам.

— Что рожа, что рожа? Он же хипарь, металлист, он же зарежет и скажет, что так и было!

Ким счел нужным вмешаться в живое обсуждение собственной подозрительной внешности. Вмешаться можно было только ором. Что Ким и сделал.

— А ну, цыц! — заорал он. Конечно же, на тональность выше предыдущей реплики.

Поскольку поезд спешно отходил в Незнаемое и Ким еле-еле поспел на него, то и нам некогда было описать его. Кима, а не поезд. Напомним лишь, что металлистом его обозвала и сама Настасья, когда он сиганул ей в объятия. Возникает вопрос: почему такое однообразие?

А потому такое однообразие, что ростом и статью Ким удался. что волосы у него были длинные, прямые, свхаченные на затылке в хвост узкой черной ленточкой, что правое ухо его, мочку самую, зажала позолоченная серьга-колючка, что одет он был, несмотря на жару, в потертую кожанку с самодельными латунными заклепками на широких лацканах, что на темно-синей майке у него под курткой красовался побитый временем офицерский «Георгий», купленный по случаю стипендии у хмурого бомжа в пивной на Пушкинской.

Отсюда — выводы.

Итак:

— А ну, цыц! — заорал он на теток, и те враз притихли. — Пассажиры хотите собрать? — уже спокойно, поскольку настала тишина, поинтересовался Ким. — Сейчас прибегут... Настасья Петровна, где вы ее выкопали, такую сварливую? — И, опережая Танькину реплику: — Ты меня не бойся, красавица, я тебя если и поломаю, так только в объятиях. Пойдет?

— Побегит прям, — менее мрачно сказала злая Танька, — разлетелась я к тебе в объятия, прям падаю... — А между тем вошла в купе, а между тем села рядом с Настасьей, а между тем протянула вполне приятным голосом: — Ох, и выспалась я, Настасьюшка, ох, спасибо, что не будила... Как тебя хоть зовут, металлист?

— Ким, — сказал Ким.

— Кореец, что ли?

Ким давно привык к «национальному» вопросу. поэтому объяснил вполне терпеливо:

— Русский. В честь деда. Сокращенно — Коммунистический интернационал молодежи.

— Хорошее имя, — все поняла Танька. — Политически выдержанное. Правда, из нафталина, но зато с ним — только в светлое будущее. Без остановок.

— Да я туда не спешу. Мне и здесь нормально.

— А чего ж на наш поезд сел?

— Он что, в светлое будущее намылился?

— Куда ж еще?.. Особым назначением, улица ему — самая зеленая... — Потянулась всем телом, грудь напрягла, выпятила — мол, вон она я, лапочка какая... — Чайку бы я попила, а работать — ну совсем неохота...

— Балаболка, — незло сказала Настасья Петровна, плеснула Таньке заварки в чистый стакан. — Кипятку сама налей.

Та вздохнула тяжело, но встала, пошла к титану. А Ким скоренько спросил:

— Настасья Петровна, я ж говорил: я ведь и не взглянул, куда поезд... А куда поезд?

Настасья без улыбки смотрела на Кима.

— Русским же языком сказано: в светлое будущее.

— Это как это понимать?— обиженно и не без раздражения спросил Ким. Похоже: издеваются над ним бабы. Похоже: за дурачка держат.

А Настасья Петровна сложных переживаний студента попросту не заметила, сказала скучно:

— Станция такая есть. Новая. Туда сейчас ветку тянут: стройка века. Как дотянут, так и доедем. Литером.

Во-от оно что, понял Ким, название это, географический пункт, а во все не издевательство.

А почему бы и нет? Существуют же терявшие имя Набережные Челны. Существует уютный Ерофей Павлович. Существует загадочная Кемь... А сколько ж после семнадцатого года появилось н о в ы х названий, ни на что привычное не похожих, всяких там Индустриальных Побед или Кооперативных Рубежей, всяких там Больших Вагранок или Нью-Терриконов!.. Светлое Будущее на их фоне—прямо-таки поэма по благозвучию...

И уж Киму-то издеваться над мудреным имечком—грешно: о своем собственном помнить надо...

Другое дело, что не слышал он о такой стройке века: стальная магистраль «Москва—Светлое Будущее», в газетах о ней не читал, на институтских собраниях бурно не обсуждал. Ну и что с того? У нас строек века—как собак нерезаных. От БАМа до районного детсадика. В том смысле, что любая век тянется...

— А она далеко?— только и спросил Настасью.

— Далеко,— сказала она.— Отсюда не видно.

— В Сибири, что ли?

— Чего ты к женщине прицепился?— влезла в разговор Танька, вернувшаяся в купе.— Ну, не знает она. И никто не знает.

— Почему?

— Бригаду в состав экстренно собрали, без предупреждения. Кто не в рейсе, того и цапали. Я, например, с ночи. Приехала, а мне—сюрприз.

— А пассажиры?— Ким гнул свою линию.

— Что пассажиры?

— Они знают, куда едут?

— Может, и знают. А может, и нет. Спроси.

— Спрошу,— кивнул Ким.— Сейчас пойду и спрошу...— Его пытли-вость границ, похоже, не ведала.

— Иди-иди, шнурки только погладь!— опять обозлилась Танька, да и Настасья Петровна с легким осуждением на Кима глянула: мол, скромнее надо быть, коли серьгу нацепил.

Ким был мальчик неглупый, сообразил, что своими пионерски-наивными вопросами создал в женском ранним обществе нервозную обстановку, грозящую последствиями. Последствий Ким не хотел, поскольку целиком зависел от милых дам—как в смысле ночлега, так и в смысле питания: про трешку он не соврал, столько и было у него в кармане джинсов, сами понимаете, особо не разгуляешься, надо и честь знать.

— Сюда бы гитару,— вспомнив о чести, тактично перевел он тему, как стрелку перевел, если использовать желдортерминологию,— сыграл бы я вам и спел. Хотите—из Розенбаума, хотите—что-нибудь из «металла»...

— Ой, а где же ее взять?— встrepенулась Танька.

И Настасья Петровна равнодушной не осталась.

— У Нинки нет? Я ее видела перед посадкой, в девятом она, кажется...

— Я сбегаю!

Но чувство долга у Настасьи Петровны было сильнее, чем чувство прекрасного. Таньку она осадила коротко:

— Сначала чаем пассажиров обеспечим, а потом и музыку можно.

Вот и предлог, решил Ким, вот и повод. Встал, звякнул «Георгием».

— Я схожу,— заявил.— В девятом, говорите? У Нинки?

— Только возвращайся,— уже ревниво сказала Танька.— Ты у Нинки не сиди, не сиди. Если хочет, пусть сама сюда идет.

— Ясное дело, — подтвердил Ким, уже будучи в низком старте, уже срываясь с колодок. — Нишка для нас — средство, «металл» — цель...

И с этими непонятными словами унесся по вагону, оставив двум приютившим его женщинам сладкие надежды и свою спортивную сумку как гарантию вышеупомянутых надежд.

Окно в коридоре было открыто. Ким высунулся, хлебнул горячего ветра, увидел: по длинной лысой насыпи дугой изгибался спецсостав, впереди трудился все-таки тепловоз, гордость отечественного тепловозостроения. Ким насчитал за ним шестнадцать вагонов, включая Настасьин и Танькин, и только на одном имелась надпись — «Ресторан», а все остальные катились инкогнито, без опознавательных маршрутных трафареток, и ни один шпион не смог бы определить конечную цель поезда особого назначения.

В тамбуре курили.

Лысый мужик в ковбойке и тренировочных штанах шмалял суровый «Беломор», седой ветеран — весь пиджак в значках победителя многочисленных соцсоревнований, куда там Ким с одиноким «Георгием»! — слюнил «Столичную» сигаретку, сбрасывая пепел в пустую пачку, а парень в белой майке с красной надписью «Вся власть Советам!» пыхтел короткой трубочкой, пускал дым столбом и вещал.

Вот что он вещал:

— ...рать мне на ихние хлебанные лозунги, пусть больше платят за такую паскудную работу, где надбавка за вредность, а то я могу и...

Это было все, что услышал Ким с того момента, как открыл тяжелую дверь в тамбур, до той секунды, когда парень оборвал текст и все курящие разом обратили мрачные взоры на пришельца.

— Привет, — сказал пришелец. — Бог в помощь.

Ответа не последовало.

— Далеко путь держите, мужики? — не отставал пришелец.

— Ты откуда такой дурной взялся? — отбил вопрос седой ветеран.

— Из Москвы, — довольно точно ответил Ким. — А что?

— Что-то я тебя не помню при оформлении...

— Я позже оформлялся, — мгновенно среагировал Ким. — Спецназначением.

— От неформалов он, — уверенно сказал борец за Советскую власть. — Я слышал: от них кого-то заявляли...

— Точно-точно, — подтвердил Ким. — Меня и заявляли.

— Докатились, блин, — со злостью брякнул лысый, плюнул на «беломорину», затер ее об ладонь и кинул в угол. — Уже, блин, патлатых оформляют, докатились. А может, он «голубой», а? Ты, блин, на серьгу посмотри, Фесталыч...

Ветеран Фесталыч с сомнением смотрел на серьгу.

Ким размышлял: врезать лысому в челюсть или стерпеть ради конспирации?

А парень с трубкой веско сказал:

— Серьга — это положено. Это у них по инструкции.

Но лысого он не убедил.

— А я на твою инструкцию то-то и то-то, — довольно подробно объяснил лысый свои действия в отношении неведомой инструкции, шагнул к Киму и замахнулся: — Ты куда прешься, пидор?

Сладострастно улыбаясь, Ким легко отбил руку лысого и вторым ударом рубанул его по предплечью. Лысый ойкнул и бухнулся на колени.

— Эй, парень, не надо, — испуганно сказал Фесталыч. — Ну, ошибся человек. Ты же без пропуска...

— Ладно, живи... — Ким вышел из стойки, расслабился.

Лысый вскочил, прижимая руку к груди, баюкая ее: грубовато Ким его, жестковато... Но с другой стороны: хаму — хамово?..

— Я задал вопрос, — сухо сказал Ким. — Далеко ли путь держите? Как надо отвечать?

— До конца, — по-прежнему испуганно отрапортовал Фесталыч.

— Я серьезно, — сказал Ким.

— А серьезно, блин, такие вопросы не задают, — пробурчал лысый,

все еще баюкая руку. — Сел в поезд и ехай. А мучают вопросы, так не садись... У-у, гад, руку поломал...

Ким понял, что номер здесь дохлый, ничего путного он не выяснит. Эти стоят насмерть. То ли по дурости, то ли по ретивости. Будет лезть с вопросами — слетит смутный ореол «оформленного спецназначением». Слетит ореол — отлунят. Он хоть и не слабак, но трое на одного...

— Береги лапу, лысый, — сказал Ким, — она тебе там пригодится...

Открыл межвагонную дверь: опять ветром дохнуло, гарью полосы отчуждения, а еще оглушило на миг громом колес, лязганьем, бряканьем, скрежетом, стуком...

— Стоять! — заорал «За власть Советов!» — Без пропуска нельзя!

— Стоять! — пробасил металлист-ветеран. — Хода нет!

— Стоять! — гаркнул лысый, забыв о больной руке. — Поворачивай назад! После звонка нельзя.

Он-то, лысый, — краем глаза углядел Ким — и выхватил из кармана... что?.. не нож ли?.. похоже, что нож... щелкнул... чем?.. пружинным лезвием?.. А кто-то — то ли ветеран, то ли борец за Советы — свистнул за спиной Кима в страшный милицейский свисток, в гордый признак... или призыв?.. державной власти.

— Стоять!..

...а еще оглушило на миг громом колес, лязганьем, бряканьем, скрежетом, стуком, — но Ким уже в другом вагоне оказался и другую дверь за собой плотно закрыл.

В кинематографе это называется «монтажный стык».

В новом эпизоде тоже был тамбур, но — пустой. Тамбур-мажоры остались по ту сторону стыка. За мутным стеклом плыло — а точнее, расплывалось, растекалось сине-бело-зеленым пятном без формы, без содержания, вестимо, даже без контуров — до боли родное Подмосковье. Теоретически — оно.

Что за черт, глупо подумал Ким, такой бешеной скорости наш тепловоз развить не может, мы не в Японии... Ой, не в тот поезд я прыгнул, уже поумнее подумал Ким, лучше бы я вообще никуда не ездил, лучше бы на практику в театре остался... А с этим составом происходит какая-то хреновина, совсем умно подумал Ким, какая-то мистика, блин, наблюдается...

Тут он к месту употребил кулинарное ругательство лысого, знакомое, впрочем, любому школьнику.

Но — шутки побоку, надо было двигаться дальше.

Именно лысый-то и достал, как говорится, Кима. Не Настасья Петровна и Танька с их таинственно-спешными сборами и «хорошей московской» в товарном количестве. Не сам спецсостав из шестнадцати вагонов без опознавательных знаков. Не странный пейзаж за окном — так в глубокой древности снимали в кино «натуру», крутили перед камерой реквизиторский барабан с наклеенной пейзажной картинкой. Но здесь слишком быстро крутили: отвлеклись ребята или поддали накануне по-черному... Все это по отдельности и вместе могло достать кого угодно, но Кима достали лысый, ветеран и «За власть Советов!», достали, притормозили, заставили задуматься. И, если честно, испугаться.

Ким не терпел мистики. Ким вырос в махоньком среднерусском городке в неполной, как теперь это принято называть, семье. Неполной она была по мужской части. Папашка Кима бросил их с матерью, всего лишь месяца два потерпев загаженные пеленки и ночные вопли младенца, вольнолюбивый и нервный папашка подался на север или на восток — за большими «бабками», то есть деньгами, за туманом и за запахом тайги, оставив сыну комсомольско-корейское имя, ну и, конечно, фамилию — она проста, не в ней дело. Мать, не будь дура, подала на развод и на алименты. Развод дали без задержки и навсегда, а алименты приходили нерегулярно и разных размеров: иногда трешник, иногда двадцатка. Если с туманом и тайгой у безлого папашки все было тип-топ, то с большими «бабками», видать, ничего не выгорело.

Впрочем, ни мать, ни Ким по нему не сохли: нет его — и фиг с ним.

Мать работала на фабрике — там, конечно, фабрика имелась, в родном городке, ну, к примеру, шпикомотальная или палочно-засовочная, — зарабатывала пристойно, на еду-питье хватало, на штаны с рубахой да на школьную форму — тоже, а однажды хватило и на билет в театр, где давала гастроль хорошая столичная труппа. Этот культпоход и определил дальнейшую судьбу Кима. Судьба его была прекрасна и светла. Он играл и ставил в театральном кружке Дома пионеров. Он играл и ставил в студии городского ДК имени Кого-То-Там. Он имел сто грамот и двести дипломов за убедительную игру. И как закономерный итог — три года назад поступил в суперэлитарный, суперпрестижный институт театральных звезд, но не на факультет звезд-актеров, как следовало ожидать, а на факультет звезд-режиссеров, ибо по характеру был лидером, что от режиссера и требуется. Кроме таланта, естественно.

Биография простого советского паренька начисто разбивает пошлые аргументы тех критиканов, которые считают, будто в литературу и искусство нашей социалистической Родины можно протыриться только по блату или по наследству.

Кстати, принадлежность Кима к миру театра объяснит все уже приведенные и еще ожидаемые метафоры, эпитеты и сравнения, аллюзии и иллюзии, ловко прихваченные из данного мира.

Однако вернемся к мистике. Ким не терпел ее, потому что его воспитание было построено на реальных и даже приземленных понятиях и правилах. Чудес не бывает, учила его мать, манна с неба не падает, дензнаки на елках не растут, все надо делать самому: сначала пошевелить мозгами, а потом — руками. И все кругом так поступают, в чудеса не веря. Кто-то лучше шевелит мозгами, а кто-то — руками, отсюда результаты.

Ким стоял в пустом тамбуре и думал. Искал реальную зацепку для объяснения происходящего. Оно, происходящее, пока виделось некоей большой Тайной, про которую никто из встреченных Кимом не знал и, похоже, знать не стремился. Встреча с компанией лысого тоже ничего не прояснила, но зацепку дала: тамбур-мажоры делали дело. Они охраняли. Или сторожили. Или караулили. Короче — тащили и не пушали.

Правда, Ким не исключал, что сами опричники-охранники толком не ведали, кого и куда они должны не пушать, но и это вполне укладывалось в известные правила игры: шестерки, толтуны, статисты не посвящаются в суть дела, они функциональны и знают лишь свою функцию. А если никакой игры нет, если почудилась она будущему режиссеру, если они никого не охраняли, а просто-напросто курили, выйдя из тесного купе для некурящих? Будь они при деле, рванули бы сейчас за Кимом, догнали бы и отмутузили. А они не рванули. Остались в своем тамбуре. А вагон перед Кимом — не таинственный, не охраняемый, а самый обыкновенный. И умерь свои фантазии, парень, не возникай зря...

Так было бы славно, подумал Ким.

Но режиссерский глаз его, уже умеющий ловить нюансы в актерской игре — да и вообще в человеческом поведении! — вернул в память престранное волнение опричников, необъяснимый испуг от каратистских скоростей Кима и — сквозь дверное стекло! — застывшие, как при игре в «замри», фигуры, которым по роли, по режиссерской разводке нельзя перейти черту...

Какую черту?

А ту, образно выражаясь, что мелом на сцене рисуют плохим актерам, обозначая точные границы перемещений. Но Ким-то актер хороший, он эту черту даже не заметил. И оказался в другом вагоне, где быть ему не положено. И тамбур-мажорам не положено. Но они — там, а он — здесь. Судьба.

Если честно, ситуация все же пахивала мистикой. Не сумел Ким все объяснить, разложить по полочкам, развесить нужные ярлыки и бирки. Но в том-то и преимущество юного возраста, что можно, когда подопрет, легко выкинуть из логической цепи рассуждений пару-тройку звеньев — только потому, что они не очень к ней подходят: то ли формой, то ли размерами, то ли весом. Выкинул и пошел дальше. К цели.

А как пошел?

Точнее всего: и г р а ю ч и. Ким же без пяти минут режиссер, мир для него — театр, а непонятный мир соответственно — театр абсурда. И пусть все остальные ведут не ведают, что они — актеры в театре Кима, что они не живут, а лицедействуют. Киму на это начхать: пусть думают, что живут. Его театр начинался не с вешалки, а с чего угодно, с вагонного тамбура, например...

Ким легко открыл дверь из тамбура в вагонный коридор и... замер — оторопев, остолбенев, одеревенев, опупев. Выбирайте любое понравившееся дееспричастие, соответствующее образу.

И было от чего опупеть!

Вагона Ким не увидел. То есть вагон, конечно, имелся как таковой — что-то ведь ехало по рельсам, покачивалось, погромыхивало! — но ни купе, ни, извините, туалетов, ни даже титана с кипятком в нем не было. Только крыша, пол, стены и окна в них. Занавески на окнах. Ковер на полу — не обычная дорожка, а настоящий ковер, с разводами и зигзагами. А на ковре — длинный многоногий стол, за коим сидело человек десять — двенадцать Больших Начальников, перед каждым лежали блокнот и карандаш, стояла бутылка целебного боржома и стакан, и все Большие Начальники внимательно слушали Самого Большого, который сей стол ненавязчиво возглавлял. Славная, заметим, мизансцена. Неожиданная для Кима.

Так, вероятно, было за секунду до его появления. А в самую секунду появления все присутствующие удивленно повернули умные головы к Киму, а Самый Большой Начальник прервал речь и вежливо сказал:

— Заходите, товарищ. Ждем.

Почему Ким решил, что перед ним именно Большие Начальники?

Причин несколько. Во-первых, вагон. Простые советские граждане в таких вагонах не путешествуют, им, простым, полку подавай, белишко посуше, вид из окна. Во-вторых, простые советские граждане в таких вагонах не заседают, они вообще в вагонах не заседают. В-третьих, дуракам известно, что Большие Начальники даже в сильную жару не снимают пиджаков и тем более галстуков. Эти не сняли. А на дворе — как и в вагоне — стояла приличествующая времени жара.

Не аргумент, скажете вы. Никакой не начальник Ким, скажете вы, тоже потеет — не в пиджаке, так в кожанке своей металлизированной. Все так, подмечено верно, но причины-то одни и те же. И современный студент-неформал, и Большие Начальники пуще всего на свете страшатся развеять придуманные и взлелеянные ими образы. По-заграничному — имиджи. У неформала — свои, у формалов (простите за новообразование) — свои. Другое дело, что у Кима этот страх со временем пропадет, а у этих... у этих он навсегда...

Ну и тон, конечно, соответствующий — в-четвертых:

— Заходите, товарищ. Ждем.

Все-таки реакция у Кима была отменной, актерски отточенной. Заmeshательство — считанные доли секунды, и тут же мгновенная группировка — скромная поза, мягкая улыбка, вежливый ответ:

— Прошу прощения. Задержался в райкоме.

И, похоже, не попал с репликой.

— Э-э, в каком райкоме? — осторожно спросил Самый Большой Начальник.

— В своем, — импровизируя, спасая положение, подпустил туману Ким, — в родном, в единственном, в каком же еще... — И добил их чистой правдой: — Еле-еле на поезд успел. На последнюю площадку прыгал.

— А-а, — с некоторым облегчением протянул Самый Большой, — вот от почему-у вы из вагона сопровождения появились... Ваша фамилия, простите...

— Без фамилии, — мило улыбаясь, сказал Ким. — Не заработал пока. Просто Ким... — И быстро добавил: — Имя такое. Не корейское. Аббревиатура: Коммунистический интернационал молодежи. В честь деда, первого комсомольца-интернационалиста.

— Эт-то хорошо, — кивнул Самый Большой Начальник, совсем уже

успокоившийся. Комсомольское имя полностью притупило его профессиональную бдительность. — Присаживайтесь. Включайтесь. Мы тут обсуждаем весьма серьезный вопрос.

— Не сомневаюсь, — подтвердил Ким, скромно усаживаясь в дальнем от Самого Большого конце стола рядом с Большим Начальником в шевиотовом пиджаке и напротив Большого Начальника в импортном твиде.

Со своей серьгой, со своим потерханым «Георгием», в своих желтых заклепках Ким выглядел нахальным огородным путалом в чистой среде культурных растений.

— Чуть повторюсь для представителя неформальных объединений, — сказал Самый Большой, — коротенько. Нам предстоит, как вы знаете, долгий и трудный путь. Мы, как вы знаете, выехали заранее, дорога к Светлому Будущему еще не дотянута, могут быть задержки, остановки, даже, товарищи, тулики. И здесь многое, если не все, зависит от нас, от нашей организованности, от нашего, товарищи, умения владеть ситуацией. Дело громадное, оно только начато, как вы знаете, всех ситуаций не предусмотреть, но предусмотреть надо. Люди в нашем поезде, как вы знаете, собрались достойные, единомышленники, подвести не должны, но, как вы знаете, и в среде единомышленников могут быть сомневающиеся, неверящие, в чем-то даже противящиеся нашему неуклонному поступательному движению вперед по стальной, товарищи, магистрали...

— Да чего там ля-ля разводите, — раздраженно заметил Начальник в твиде, — враги они и в Африке враги.

Из чего Ким сделал вывод, что Начальник в твиде в свободное от заседаний время любит поиграть в преферанс. Но это мимоходом. А вообще-то Ким на частности не отвлекался, держал ушки на макушке, слушал наивнимательно, надеясь все-таки уловить суть сюжета. Маршрут, например. Географическое положение Светлого Будущего, например. Состав пассажиров, например. Да много чего, например, хотел он уловить, но ни черта не получалось: Самый Большой Начальник говорил складно, но абсолютно не по делу. Или он рассчитывал, что все обо всем знают, вникать в детали незачем. Или это у него манера такая была, начальническая: складно говорить не по делу. Тоже, знаете, талант...

— Стоп! — сказал Самый Большой. — Осторожнее в терминологии. Враги — это откуда, а?.. Оттуда, да!.. И забудьте все этот термин, зачеркните его в памяти народной. Терпимее надо быть, мягче, гибче, тоньше... Но вернемся, товарищи, к сомневающимся. Их надо выявлять!

— Отлавливать! — хохотнул Начальник в синей тройке наискосок от Кима.

— Выявлять! — жестко повторил Самый Большой. — И помогать рассеивать сомнения. Терпеливо. Пусть долго. Пусть неблагодарно. Но это наша забота, дорогие мои...

О чем они говорят, в легкой панике думал Ким, кого имеют в виду под «врагами», которых надо «отлавливать»?.. Он ощущал себя полнейшим идиотом. Даже в театре абсурда должен быть хоть какой-то смысл. Иначе безнадега.

Можно, конечно, пойти ва-банк, то есть на такую импровизацию. Можно встать и сказать так: «Дорогие старшие товарищи! Как вы знаете, я — представитель неформалов. Но тот представитель неформалов, который нужен, тот, товарищи, в последний момент сильно захворал. СПИДом. И его заменили мной. В последний момент. И в подробности не успели посвятить, поезд, как вы знаете, быстро отходил. Поэтому, товарищи, я ни уха, ни рыла не петрю в той ахинее, которую вы здесь несете, и вообще: куда мы едем?»

Можно, конечно, пойти ва-банк, но можно и представить, что после этого «ва-банка» начнется. Всполошатся: вот он — скрытый противник нашего поступательного движения, ату его! Подать сюда старика Фестальча с дружиной! Хватай сомневающегося! Хуже того: некомпетентного...

Ким проиграл в воображении ситуацию и понял: пока стоит молчать в тряпочку. Особенно добило его слово «некомпетентный». Очень он не любил себя таковым чувствовать. Как там у классика: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» Суть по-прежнему покоилась неизвестно где,

может, даже и рядом, но Ким ничего о ней не ведал, где ее искать — не знал. Да и была ли суть?..

Последний самовопрос остался без ответа, ибо в дальнюю дверь вагона (рабочий термин: конференц-вагон...) неслышно вплыл новый персонаж: дородная дама, этакая Даная в строгом синем костюме, отлично подчеркивающим ее рубенсовские параметры. Дама склонилась к Самому Большому Начальнику и что-то интимно шепнула.

— Да вон он сидит. — Самый Большой указал на Кима. — Ему и скажите.

— Вами там интересуются, товарищ, — колоратурно пропела Даная, судя по всему — секретарша.

— Кто? — ошарашенно спросил Ким.

В который раз уж мы употребляем в отношении Кима такие слова, как «ошарашенно», «замешательство» и пр., и др.! Скажи ему кто-нибудь часа два назад, что его можно выбить из равновесия, загнать в тупик, он бы в глаза рассмеялся. Его, великого импровизатора, загнать в тупик? Да кому удастся? Да решится-то кто?.. За двадцать один год его земного существования никому подобное не удавалось, даже незнакомому папашке, который в свое время создал в семье поистине тупиковую ситуацию. Ан нет! По-прежнему мчимся на парах, как и задумано, как и запланировано, как матерью родной благословлено. Пусть не в Светлое Будущее, но в будущее-то наверняка!

А здесь, в поезде, — что ни разговор, то тупик. Логический. Пока Ким не справлялся с реальностью, она не только вырывалась из рук, но и била по башке. Ну кто, кто мог интересоваться Кимом в этом поезде, да еще по т у сторону конференц-вагона?..

— Ведь вы же, товарищ, представляете у нас неформальные объединения? — почему-то обижено спросила секретарша.

— Я, — сказал Ким.

— Тогда следуйте за мной.

Большие Начальники во время диалога Кима с Данаей застыли, будто их выключили из сети, — сидели, не шелохнувшись, мертво смотрели, как Ким шел за Данаей к дальнему выходу.

Иными словами, все ближе и ближе к разлучнице Нинке с заветной гитарой. Знали бы женщины, вольно покинутые Кимом в вагоне номер шестнадцать сопровождения, на сколь трудный путь он себя обрек — не без их посильной помощи! Прямо по сказке: поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...

Да горела бы она ясным огнем, гитара эта дурацкая! Сидел бы сейчас Ким в прохладном служебном купе, дул бы чай с колбасой, а на первой же остановке соскочил бы в никуда — пишете письма... Так нет же, поперся за гитарой, кретин... Песен ему не хватило...

Ой, не криви душой, парень, не за песнями ты пошел, гитара — чушь, предмет фуфловый, а пошел ты именно за «не знаю что», и греет оно тебя, несмотря на твои довольно дурацкие промахи. Что с тобой, крутой мэн? Собраться надо. Ощетиниться, как Мастер в институте говорит. Надо быть готовым ко всему. Даже к тому, что по ту сторону конференц-вагона ждет тебя... ну, кто, кто?.. да кто бы ни ждал — вот им всем!..

И Ким, произнеся данный монолог про себя, внутренним голосом вполне и а р у ж но показал «вот им всем» древний жест, известный любому культурному гражданину от Бреста до Находки, не говоря уж о Светлом Будущем.

Даная шустрила впереди, покачивая бедрами пятьдесят второго размера.

— Сюда, товарищ. Прошу вас, — пропела она, открывая дверь из вагона и выпуская Кима в переход-гармонику.

Ким, кавалер воспитанный, подал руку даме, провел ее над бегущей пропастью сквозь грохот и лязг. И сразу попали они вроде бы в приемную какого-то из Больших Начальников, в уютную приемную со всеми положенными ей атрибутами, как-то: письменным столом, селекторным аппаратом, тремя разноцветными телефонами, креслом для хозяйки, креслом для посетителей, фикусом, кактусом, аспарагусом, бегонией, а также настенным японским календарем с загорелой японкой в крохотном бикини на июньском листе.

Даная уселась за стол, приоткрыла правый верхний ящик, пошуровала там рукой, словно хотела убедиться: на месте ли верный «магнум», не исчезла ли родная «беретта», не забился ли в щель любимый автомат «узи». Все, похоже, оказалось на своих местах, поскольку Даная успокоилась, сцепила красивые руки замочком, уложила на них красивый подбородок, уставилась на Кима красивыми черными глазами.

— Ну, что будем делать? — красиво проговорила.

Спокойствие, сказал себе Ким, держим мазу.

Для не посвященных в молодежный жаргон. Последнее выражение означает: не ронять достоинство, позицию не сдавать. Имеется в виду позиция крутого мэна (смотри предьдущий внутренний монолог Кима), то есть человека сильного, волевого, умного, всегда готового к любым неожиданностям.

— Вы, кажется, сказали, что мною кто-то интересовался. — Ким был сама вежливость, само обаяние, сама кротость.

Но мадам не купилась.

— Сказала, — по-прежнему красиво (голос у нее такой был!), но весьма сухо подтвердила она. — Я интересовалась.

— Не понял, — не понял Ким.

— Кому вы морочите голову, юноша? — чуть усмехнувшись красивым ртом, сказала Даная, похожая сейчас не на Даная, а на мадам Бонг из малопопулярного фильма узбекских кинематографистов. — Он, видите ли, от неформалов, он, видите ли, в райкоме задержался.. Мама вас, наверно, учила: обманывать старших нехорошо..

Главное — не терять лица, помнил Ким; эту истину знает любой, даже не очень крутой, мэна.

— Вы ошибаетесь, — спокойно сказал он. — Я никога никогда не обманывал. Так меня учила мама..

Ну, хорошо, то, что он — чужак, догадаться можно. Без больших усилий.. Хотя, с другой стороны, по сюжету кто-то от неформалов в этом ковчеге быть обязан и почему-то не явился, так чем Ким на роль не подходит? И возраст, и кожанка, и косичка, и «Георгий» вон.. Или представитель и х неформалов — по замыслу их режиссера! — должен быть в костюме и при галстукe? И почему лысый с компанией не просекли Кима, Большие Начальники купились оптом со всей своей зарплатой, а эта кагебешница выловила его без микроскопа? Она же в приемной сидела, она же о нем даже не ведала.. Или у нее здесь смонтирован аудиовизуальный центр?..

— Как вы узнали, что я в поезде? — деловито спросил Ким. — Микрофоны? Видео?

— А вы как думали? Мы здесь не груши околачиваем, — грубо, хотя по-прежнему красиво, сказала мадам, — мы здесь дело делаем. Большое дело. И не хотим, чтобы нам мешали.

— Выявляете? — вспомнил Ким. — Меня-то за что? Я мальчик безвредный, я на ваш поезд случайно попал. Методом тыка.

— Но попали..

— Попал, попал, И, кажется, в яблочко? То-то вы засуетились, то-то вы занервничали.. Что делать станете? Расстреляете?

— Зачем? Мы не звери.

— Догадался. А кто вы тогда? Вы лично? Дураки эти прозаседавшие? Бандиты из шестнадцатого? Кто? Куда вы намылились? Почему такая таинственность? Раз вы меня не расстреляете, так объясните ситуацию. Может, я пойму. Может, я проникнусь, встану в ваши ряды и с криком «ура!» побегу впереди паровоза.

Мадам, по-прежнему не снимая подбородка со сцепленных рук, внимательно разглядывала Кима, на его филиппику ответа не давала. Молчание висело в приемной, как топор из поговорки: неизвестно, на кого он свалится острым краем.. Впрочем, Кима молчание не слишком тяготило. Молчание — это актерская пауза. Пауза в импровизации — время на раздумье. Раз мадам молчит, значит, решения пока нет.

— А что, — хорошо выдержав паузу, сказала мадам, — в этом что-то есть. Нам нужны сторонники отовсюду, металлисты — не исключение.

— А то! — подтвердил Ким. — Металлисты — воины! По духу. Помните песню: «Броня крепка, и танки наши быстры»? Про нас.

Мадам засмеялась. Первый раз, отметил Ким, значит— решение принято, значит— с облегчением ее...

— Вы, конечно, слышали про Светлое Будущее? — издали начала мадам.

— Конечно, слышал, — соврал Ким.

Про светлое будущее ему с детства пели, но оно, помнится, писалось со строчных букв, несмотря на всеобщую любовь к заглавным. А сейчас заглавные не в почете, сейчас о них редко вспоминают, а кто вспоминает— тому позор и народное осуждение.

Мадам, похоже, считала иначе.

— Раз вы слышали, то вам не надо подробно рассказывать о тех неисчерпаемых возможностях, которые ожидают каждого гражданина на этой— конечной для нас! —станции.

— Конечной? — на всякий случай усомнился Ким.

И оказался прав.

— Нет, нет, — чуть смутилась мадам, — нет, естественно. Дорога пойдет дальше, дорога не оборвется, это закон дорожного строительства. Но это— в очень далекой перспективе. Там, — она указала перстом вверх, — думают о ней, прогнозируют... Но пока наша цель вполне конкретна и предельно ясна— Светлое Будущее. Его надо обустроить, обжить, предстоит широко развить экономическую структуру, поднять и расширить социальную сферу, еще более укрепить демократию и гласность...

— Простите, — перебил ее Ким. — Насколько я понял вас и предыдущих ...э-э... — он искал слово, — ораторов, речь идет о конкретной железной дороге к конкретному населенному пункту, так?

Мадам поморщилась.

— Можно трактовать и так.

— А как еще можно трактовать?

— Шире и глубже. Обернитесь в историю, юноша. Возьмите, например, Комсомольск, Город-на-Заре. Ведь о нем тоже можно было сказать: конкретная стройка конкретного населенного пункта. Но значение ее было шире и глубже вульгарной конкретики. Любое всенародное дело превращалось у нас в символ...

— ...за которым быстро терялось дело, — вроде бы случайно вставил Ким.

— Не понимаю и не могу принять ваш нигилизм, — сухо сказала мадам.

— Извините, — быстро проговорил Ким, — сорвалось... — Дурак, про себя ругнулся он, потерпи, не лезь раньше времени со своими подколками. Все испортишь. Дай ей выговориться, а тогда уж... — Я вас очень внимательно слушаю, очень.

Мадам помолчала мгновение, прикидывая: продолжать урок политграмоты или гнать нахала вшаей. Решила, видимо, что гнать— всегда успеется.

— Да, мы тянем дорогу к дальней и пока совсем не обустроенной станции. Дорога будет доведена, станция будет обустроена. Это конкретика, которая столь вам любезна. И вы, коль вы у нас, примете в том прямое участие. Но мне, мне хотелось бы, чтоб вы увидели за голым фактом высокий образ...

— Простите, — снова перебил ее Ким, — я опять с вульгарной конкретикой. Вы строители? Железнодорожники? Вы сами и эти, ваши, в том вагоне...

Мадам опять засмеялась, но сей раз покровительственно: ну что, мол, ты будешь делать, коли собеседник умственно неполноценен!

— У нас разные профессии, — мягко, как умственно неполноценному, сказала она. — Есть и строители, есть и железнодорожники, есть и другие специалисты— по дипломам.

Ким медленно, но верно зверел.

Было у него вредное для жизни качество: любовь резать правду-матку, когда обстоятельства диктуют иное. Промолчать, например. Мило улыбнуться. Ну, как максимум, выматериться про себя. Наконец, раскланяться и удалиться— но молча, молча! А он лез напролом. В школе спорил с учителями, за что не раз имел «неуд» по поведению. В институте определил себя в неформалы, так как они выступали против ректоратско-дека-

натско-комсомольско-партийного администрирования и числились угнетенным классом. Он и в «металле» ходил из принципа, по роли, а не по убеждениям...

Вы спросите: почему его терпели в школе, почему не бичевали, не гвоздили, не дергали мать на педсоветы и родительские собрания? Да потому, что учился неплохо, без троек — раз. А два — уважение к матери-одиночке, знатной шишкотальщице или кем она там числилась... Вы спросите: почему его держат в престижном вузе, почему не гонят вон или хотя бы не лишают стипендии? Да потому, что в престижном вузе — как и везде нынче! — неформалы разного толка уже не числятся угнетенным классом, их и побаиваются, с ними и заигрывают, держа, вестимо, камень за пазухой, а фамилии неформалов — в тайных досье: а вдруг да изменится ситуация, а вдруг да можно будет пазуху от камня резко освободить? Это — раз. А два: Ким и здесь, подлец, хорошо учился, профессию свою успешно осваивал, Мастер им весьма доволен был...

Но надо отдать Киму справедливое должное: от года к году он становился старше (не его в том заслуга), умнее и терпимее (а это — его) и зверел не сразу, а — как сказано выше! — медленно, но верно. Терпел, куда терпится.

Мадам — со своей махровой демагогией на уровне провинциальной «датской» (то есть к важной дате сляпанной) драматургии — подвела его к посылному пределу.

— По дипломам, значит? — обманчиво улыбаясь, понес текст Ким. — Специалисты, значит?.. А-отлична-а!.. Шесть лет на халяву учились, государственные бабки тратили, чтобы потом шакалить возле хорошего дела, так?.. — Ким намеренно нажимал на жаргон, чтоб вышло поглубже, чтоб суперуравновешенная мадам обозлилась и пошла в атаку, а стало быть, раскрылась, позволила бы себе кое-что лишнее брякнуть. — И здесь вы ляля-разводите — высокий образ! символ! громадьё планов! — а в вашем Светлом Будущем еще конь не валялся... Утопили дело в лозунгах, заваляли словами, и — хрен с ним, пусть под откос катится... Что скажете, тетенька?

— Вы хам, — сказала тетенька.

Нет, подумал Ким, она еще не до конца обозлилась, надо добить.

— Я, может, и хам, — согласился он, — но вы хуже. Вы — дармоеды. Буквально: даром едите. На вас, бездельников, все ищачат, тащат ваш паровоз к Светлому Будущему на ручной тяге, а вы, блин, за чужой счет хаваете, шак-калы-ы!

Всю эту похабень Ким нес, как бы он выразился, от фонаря, на чистой терминологии. Он по-прежнему не имел понятия: кто перед ним. Не исключено было, что лишь на время пути отчуждения она — ударница и застрельщица трудовых починов, а все Большие Начальники — не начальники вовсе, а группа туннельщиков-забойщиков на временном отдыхе: рожи у них и вправду забойные, поперек себя шире... Но ведь похабень от фонаря как раз и задумывалась Кимом для того, чтобы больнее ударить, обидеть, сломать. Пусть сейчас мадам встанет и вмажет Киму по физиономии. Пусть она рванет на груди английский костюм и делом докажет, что Ким неправ, что он — демагог и болтун. Докажет и покажет, куда этот поезд катится, дымкою маня, — так вроде бы пелось в давней хорошей песне...

И ведь добился-таки своего, демагог и болтун!

Почти разъяренная мадам встала во весь свой нехилый рост — как там в соответствующих романах лишется? — сверкнула глазами, грудь ее взволнованно вздымалась, а щеки раскраснелись от праведного гнева (так пишется, так, автор т а к о е неоднократно читал).

— Шакалы? — с хорошо слышимой злостью спросила она. — Хаваем за чужой счет?.. Что ты понимаешь, сопляк! Если кто здесь и работает, так это мы. Только мы! И без нас ни-че-го не будет: ни Светлого Будущего, ни дороги к нему, ни даже страны не будет. Мы ее держим...

— Не шакалы, выходит, ошибся, — вроде бы сам с собой заговорил Ким, — а вовсе атланты и кариатиды. Странодержцы — вот! Хороший термин...

Говорил сам с собой, а мадам — как и требовалось — прекрасно слышала.

— Хороший термин, — подтвердила. — Главное — точный. А теперь ты убедись в его справедливости.

— Это как? — успел поинтересоваться Ким, потому что на дополнительные вопросы времени уже не было.

Впрочем, и на этот, невольный, устного ответа он не получил, зато визуальный последовал незамедлительно. Мадам стремительно подлетела к стене (не к той, где японка, а к противоположной), полностью заклеенной закордонными фотообоями. Они превратили скучную линкрустовую переборку в старую кирпичную стену. На ней висели (якобы!) старинные натюрморты, выполненные в манере Снайдерса. По ней тянулся (якобы!) темно-зеленый плющ. В нее был встроен (якобы!) уютный камин — с мраморной облицовкой, с кованой фигурной решеткой, за которой плясало (якобы!) пламя, лизало хорошо подсушенные сосновые полешки. Славно потрудились угнетенные капиталистами фотографы и полиграфисты, правдивая получилась стена! Огонь только что не грел...

Мадам нажала какую-то кнопку, спрятанную в фотоплюще, и камин раскололся на две половинки, а из обнаружившегося входа выехал странный механизм, похожий одновременно на инвалидную коляску и роботоманипулятора, которого Ким увидел недавно в павильоне Народного Рукоприкладства на ВДНХ. Робот-коляска подъехал (или подъехала — как будет угодно!) к Киму, зарулил за спину и нагло толкнул его под колени — так, что Ким невольно плюхнулся на мягкое сиденье, крытое прохладным кожаменителем.

— Что такое? — совсем уж глупо спросил Ким.

— Фирма веников не вяжет. — Мадам полностью перешла на молодежно-подъездно-уличную терминологию, откуда-то ей прилично знакомо. — Сиди, мальчик, и сопи в две дырки. Сейчас будет театр. Ты ведь любишь театр?..

Ким не успел спросить: откуда она знает про его любовь к театру? Робот-коляска звучно щелкнул металлическими захватами, прижавшими руки Кима к подлокотникам, а ноги — тоже к чему-то. Он дернулся, но бесполезно: захваты держали крепко.

— Поехали, — буднично сказала мадам, как Юрий Гагарин на старте, и нажала еще одну кнопку на селекторе, который оказался вовсе не селектором.

Робот-коляска споро покатился вперед, въехал в бывший очаг, откуда появился, и Ким услышал, как стенка сзади гулко захлопнулась.

Влип, безнадежно подумал он и, похоже, был прав. Только, куда он впил, Ким не видел. Он вообще ни черта не видел и не слышал, стена снова сдвинулась, наглухо отрезав его от белого дня — раз, от всех звуков — два. Он катился в коляске по какому-то черному тоннелю, и мало было надежды, что тот приведет его к светлому будущему (на сей раз со строчных букв).

Не так-то просто быть статистом в чужой работе!

Похоже, здесь практиковали специалисты посильнее Кима в импровизации. В. И. Даль заявлял в таких случаях: нашла коса на камень.

Киму показалось, что путешествие в темноте длилось бог знает сколько, но показалось так единственно от растерянности, от нелепости ситуации, в которую он неожиданно залетел. Вероятнее всего, он только и добрался, что до конца вагона, как тут же темнота ушла и возник свет: мерзкий довольно, синюшный и неживой, будто высоко над головой разом включился десяток целебных синих ламп. Ким их не мог видеть, поскольку по-прежнему был прикован к самодвижущемуся агрегату, где жесткий подголовник мешал крутить головой, зато Ким увидел, что вагон — вопреки ожиданию! — не хотел кончаться, а — напротив! — тянулся невесть куда, может, даже в бесконечность, что начисто перечеркивало строгие правила вагонного конструирования.

Знакомый эффект театрального освещения: приглушить, «погасить» задник так, что он исчезнет, превратится в черный бесконечный провал.

Это мы проходили, подумал Ким, этим нас не удивить...

Роботюшка остановился, и перед Кимом в сине-покойническом мраке возник письменный канцелярский стол, а за ним—еще стол, а сбоку—еще, и с другого боку тоже, и сзади, и даже над и под первым столом, что уж не правила конструирования перечеркивало, а железные законы физики. И за каждым столом крепко торчал человек, много человечков крепко торчало перед Кимом, много лысых, волосатых, старых и не слишком, усатых и безусых, в костюмчиках и во френчиках, в гимнастерочках и мундирчиках, при галстучках, и все обязательно—в нарукавничках, в черных сатиновых нарукавничках, чтоб не протерлись рукавички на локотках.

И все столы и человечки за ними как-то перемещались в покойническом пространстве, как-то менялись местами, как-то перелетали друг над другом, а человечки за ними в то же время не спускали острых глазок с прикованного Кима, кололи его напраполюю, да так остро, что бедный Ким эти уколы шкурой чувствовал.

С одной стороны, мистика, с другой—гипотетически-научное явление, именуемое концентрацией биополей на близком расстоянии.

Да, еще. Все уменьшительные суффиксы, возникшие в кратком описании вагонной фантазмагорин, объясняются тем, что летающие в идеиния (а как иначе все это назвать? Не материальными же объектами, в самом деле...) и впрямь казались какими-то несерьезно маленькими, вроде бы даже лилипутами, и очень хотелось пугнуть их, как стаю летучих мышей, цыкнуть на них, кышнуть...

— Кыш!—сказал Ким, тут же получил довольно болезненный укол в щеку, ойкнул и прекратил эксперимент. Тем более что от его «кыша» никто никуда не разлетелся, а наоборот: один стол подобрался вплотную к Киму, человек за столом мгновенным махом эстрадного манипулятора вынул левой рукой из синего воздуха канцелярскую папку—Ким успел прочитать на ней выведенное жирными буквами слово: «ДЕЛО», начертанное к тсму же через «ять»,—хлопнул ею по крышке стола, распахнул, нацелился в лист бумаги перьевой ручкой-вставочкой, тоже вынутой из воздуха, но—правой рукой.

— Имя!—пропищал человек и тут же уколол Кима глазками-лазерами, не дожидаясь ответа, застрочил вставочкой на листе.—Профессия?

И отлетел в сторону, а на его месте возник другой стол с другим столоначальником, но папка «ДЕЛО» с первого стола необъяснимым образом перемахнула на этот, и новый человек, пища в иной тональности, зачистил:

— Фамилия матери, имя-отчество, где и когда родилась, место работы, место жительства, партийность, антипартийность, была ли в плену у троцкистов, у фашистов, у страсти, у корысти?..

Не допищал, как его вытеснил третий стол с третьим поганцем, а знакомая папка уже лежала перед ним, и он колол Кима в нос, в лоб, в шею, в грудь—прямо сквозь майку и кожанку!—и пищал, пищал, пищал...

— Кто отец, где служит, где скрывается, есть ли родственники за ирано-иракской границей, когда последний раз был в психдиспансере, кто входил в треугольник, кто подписал характеристику?..

Ким молчал, только дергался от непрерывных уколов в разные части тела, пусть и не очень болезненных, но куда как противных и всегда неожиданных. Молчать-то он молчал, а папка «ДЕЛО» пухла прямо на глазах, все новые и новые листочки влетали в нее, приклеивались, а сама она так и носилась по крышкам гробов... то есть, простите, столов... а гадкие лилипуты что-то там строчили, что-то наяривали чернильными антикварными ручками—видимо, ответы на заданные вопросы: сами задавали и сами, значит, отвечали на них.

Оговорка о гробах не случайна. Ким дотумкал наконец, что напоминает ему престранная картиночка, к которой он, надо отметить, малость притерпелся, попривык и даже с неким интересом наблюдал за вихревым столодвижением, слушал поток риторических вопросов. С младых ногтей любимый эпизод из «Вия»—вот что она ему напоминала...

А вопросы сыпались со всех сторон, множились, повторялись, налезали один на другой, и Ким не всегда мог отделить их друг от друга: так и жили они — обьединенными:

- Имеет ли правительственные награды в местах заключения?..
- Имеет ли партийные взыскания в фашистском плену?..
- Национальность в выборных органах?..
- Пол в командировках за рубеж?..
- Военское звание по месту жительства?..

И так далее, и тому подобное...

В конце концов Ким перестал что-либо соображать. От постоянного писка, бесконечных уколов и занудного столоворчания у него трещала голова, зудела и чесалась кожа. Он вспотел, почти оглох, временно ослеп и вконец потерял всякую возможность здраво оценивать ситуацию. Да и какой умник взялся бы оценить ее здравую?.. Летающий гроб у классика — невинная патриархальная забава по сравнению с воздушной атакой столодержателей: мертвая, но несказанно прекрасная Панночка — нежный отдых зрению и уму по сравнению с мерзкими рожами делопроизводителей...

Но в скоростном экспрессе, на который так опрометчиво прыгнул Ким, все процессы шли с толковой скоростью. Вопросы закончились, папка «ДЕЛО» переполнилась, канцелярские столы выстроились журавлиным клином и растворились в синей темноте. Робот-коляска снялся с якоря и споро покатил вперед — в дальнейшую неизвестность.

Ким даже обрадовался движению: ветерок откуда-то повеял, остудил лицо, и голова потише гудела. Вот только руки и ноги затекли так, что — думалось! — разжались бы сейчас захваты, кончилась попытка, так Ким ни встать, ни рукой пошевелить не смог бы. Но захваты не разжимались, робот аккуратно перевалил через какой-то бугорок на невидимом полу, через какой-то холмик — уж не вагонный ли стык? — и, проехав с метр, снова притормозил.

Свет не изменился, разве что стал чуть ярче. И в синем пространстве вагона — или сцены? — возникла новая декорация. Опять стол, только крытый суконной скатертью, зеленой, по всей вероятности, хотя при таком освещении она смотрелась синей или черной. (Типичная ошибка осветителя, машинально подумал Ким.) За столом — трое, по виду — из Больших Начальников, может быть, из тех самых, с кем Ким успел немного позасесть, — так немного, что и лиц их не запомнил. Да не было, не было у них лиц! Одно Лицо на всех — сытое, гладкое, уверенное, довольное, пахнущее кремом для бритья «Жилетт», одеколоном «Табак», зубной пастой «Пепсодент», а также копченостями, вареностями, соленостями, жареностями и пареностями, щедро отпущенными по спецталонам в спецвагоне.

Одно Лицо в трех лицах сидело перед Кимом, внимательно и недоброжелательно изучало его, закованного, а перед ним (перед ними?) на скатерти лежала давешняя папка «ДЕЛО».

Ну почему ж через «ять», бессмысленно подумал Ким. Какой здесь намек, какая аллюзия, что имел в виду режиссер?.. Может быть, связь его, Кима, с народвольтцами и чернопередельцами? Или с эсэрами и эдеками? Круто, круто...

— Вы признаете себя членом неформального объединения, именуемого «Металлический рок» или «Тяжелый металл»? — сухо спросил один из Лица.

Нет, все-таки — один из трех, Лицо составляющих, поскольку «один из Лица» хоть и верно по сути, но уж больно неграмотно по форме.

На сей раз ответа ждали.

— Не признаю, — сказал Ким.

Не был он членом никакого официального объединения и металлистом, как мы помним, себя всерьез не числил, хотя и носил положенную униформу. А то, что назвался представителем неформалов — так не он сам назвался, его назвали, а он лишь не спорил — из чувства здорового любопытства и чувства естественной безопасности.

— Врет, — сказала второе лицо. — Изобличен полностью. Здесь... — Лицо постучало согнутым пальцем (лицо, пальцем! бедный русский

язык!..) по папке, —...все доказательства, свидетельства очевидцев, видения свидетелей. Да вы посмотрите на него, посмотрите: чистый металлист и педераст...

— Рок, а тем более металлический, — меланхолично отметило третье лицо, — есть не что иное, как форма подмены и даже полной замены всем нам дорогих духовных ценностей. Выходит, что мы не сами строим Светлое Будущее, а некая высшая сила нами руководит. Да еще с металлической — читай: железной! — непреклонностью.

— Рок — это музыка! — объяснил Ким.

— Рок — это слепая судьба, — не согласилось третье лицо.

— Почему вы обманываете трибунал? — поинтересовалось первое — среднее! — лицо.

— Это трибунал? — позволил себе удивиться Ким.

Все-таки хорошо он себя держал, спокойно. И привычное чувство юмора вновь обрел. Как ни странно, именно канцелярская чертовня — ее полнейшая неправдоподобность и бредятина! — вернула ему уверенность в себе. А может, и головная боль помогла? Или частое иглоукалывание?..

— Трибунал, — ответило лицо.

— По какому праву?

— По праву сильного.

— С чего вы взяли, что вы — сильные?

Среднее лицо усмехнулось левой стороной рта. И два остальных лица сделали то же самое.

— Посмотрите на себя, — сказала лицо, — и потом на нас. Кто сильнее?

— Вопрос некорректен. Я один, вас трое. Я скован, вы свободны...

— Сами того не желая, юноша, вы сформулировали некоторые принципы нашего преимущества в силе. Вы один, нас трое. Расширьте формулу: вас единицы, нас множество. Дальше. Вы скованны, мы свободны. Тут и расширять нечего... Не вижу необходимости продолжать заседание. Сколько нам на него отпущено?

— Пятнадцать минут, — ответило правое лицо. — По пятнадцать минут на клиента... э-э... на обвиняемого.

— Сэкономили семь... Объявляю приговор. Двадцать лет трудового стажа с обычным поражением в правах. Товарищи согласны?

— Где будет отбывать? — деловито поинтересовалось левое лицо.

— А где бы ни отбывать, — беспечно отвечало среднее лицо. — Широкое страна моя родная. За столом никто у нас не лишний. По заслугам каждый награжден. А с его профессией он всегда на булку с изюмом работает. Лицедеи и шуты любимы народом.

— Лицедеи и шуты опасны для власти, — повернул Ким, который ко всему происходящему относился как к странному — да! страшному — да! но все же спектаклю. А захваты на руках и ногах, всякие там укольчики — так нынешняя режиссура на выдумку горазда...

— Глупой власти опасны, — сказала первое лицо. — Она их боится и преследует, а значит — ожесточает. Умной —нисколько. Она их награждает званиями, премиями, орденами и прочими цацками. Чем больше цацок, тем лучше служат умной власти смелые лицедеи и шуты.

— Где это они должны служить? В зоне? — с сомнением спросило правое лицо.

— Смотря что называть зоной... — Среднее лицо отбросило папку «ДЕЛО» назад, и та растворилась в синеве, как давеча — журавлиный клин столоначальников. — Мне хотелось бы обратиться — не удивляйтесь! — к метеорологии. В этой науке есть один замечательный термин: зона высокого давления. Я склонен распространить этот термин на все сферы человеческой деятельности. Так, например, наказание трудовым стажем человек должен отбывать именно в этой зоне; в ней, кстати, легко происходит процесс поражения в правах... Чтобы вы не сочли меня голословным, прошу оглянуться на пройденный нами путь...

Правое лицо и левое лицо послушно оглянулись. Что уж они смогли разглядеть в синей темноте просцениума, то бишь вагона, Ким не ведал, но повернулись оба явно довольные. Видно, встал перед их мысленным взором пройденный путь, славный и радостный, который, как песня утверждает, никто у нас не отберет.

- Ну как? — поинтересовалось первое лицо.
- Верно, — сказала правое лицо.
- Единственно, — сказала левое лицо.
- Да, — вспомнило первое лицо, — вам, юноша, ясен приговор?
- А то! — сказал Ким. — Только клал я на него...

— Класть — это ваше право, — мило улыбнулось первое лицо. — У вас вообще немало прав, которыми вы поражены, кроме одного: обжало-вать приговор. Он окончателен, кассировать не у кого.

— Ну, и какие ж у меня права? — праздно поинтересовался Ким, изо всех сил шевеля пальцами рук, чтобы хоть как-то погонять застоявшуюся кровь.

— Не-ве-ро-ят-ны-е! — по складам отчеканило первое лицо. — Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Грызть гранит. Ковать железо. Вздыхать знамя... Долго перечислять, назову лишь главное, на мой взгляд: дышать полной грудью. Я, юноша, другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. И вы не знаете. И никто не знает и знать не должен. Я прав?

— Вполне, — сказала правое лицо.

— Предельно, — сказала левое лицо.

— Встать, суд уходит, — подвело итог первое лицо, но не встало.

И остальные продолжали сидеть. — Уведите приговоренного...

Никто, конечно, не явился, чтобы увести — или увезти? — Кима. Стол с тронцей уплыл в темноту, слился с ней, а робот-коляска вновь ожил и покатился в следующий вагон. — Или — так хотелось Киму! — в следующую декорацию, в следующую сцену. Хотя какая, к чертям, декорация, если вагон — все-таки вагон! — трясло на стыках, колеса привычно громыхали под полом, где-то впереди, в темноте, что-то лязгало, булькало и свистело. В действие снова ворвался мир железнодорожных звуков, будто театральный радист отходил ненадолго, на краткосрочную свиданку выбежал, а сейчас вернулся и врубил на полную мощность положенную по сцене фонограмму.

Каждый ходит с ума по-своему, извините за банальность. Ким и г-рал в театр, и сей род сумасшествия помогал ему сохранить здравый рассудок. Парадокс.

Робот въехал на невидимый холмик и остановился. Металлические браслеты с сухим щелчком раскрылись, и Ким немедленно вскочил. Увы ему!.. Театр, конечно, великий маг, однако реально затекшие и исколотые ноги Кима не держали. Они так же реально лодогнулись — ощущение, доселе абсолютно незнакомое Киму! — и Ким, падая, ухватился за что-то тяжелое и массивное. Тяжелое и массивное легко подалось вперед, Ким, вцепившись в какую-то железяку, поволокся — буквально так! — следом и...

В этот момент он думал, конечно же, не о театре, а лишь о том, чтобы не врезаться мордой в какое-нибудь вагонное ребро жесткости, в какую-нибудь перегородку, да и вообще — не выпасть бы из вагона на всем скаку.

...очутился в полном света пространстве, света такого яркого, что Ким немедленно и сильно зажмурился. Движение — точнее: волочение! — вперед прекратилось, Ким опустил железяку и встал на колени на что-то жесткое и покачивающееся, как пол вагона. Это и был пол вагона, что подтвердилось спустя короткое время, когда Ким смог приоткрыть глаза. Он стоял на коленях в тамбуре, упирався руками в открытую межвагонную дверь. Стало быть, туго сообразил Ким, он вывалился из перехода между вагонами, куда довез его тюремный робот. Самого робота не было, он укатился, вероятно, в распоряжение мадам Вонг. Тамбур выглядел вполне обычным, р^мчем не отличающимся от того, к примеру, на который Ким сиганул. Час назад?.. Год назад?..

Первым делом Ким попробовал встать. Удалось. Ноги хоть и плохо, но держали, руки тоже пристойно шевелились, можно было двигаться. Вопрос: куда?.. Назад, к Настасье Петровне и Таньке, к добрым женщинам, которые, поди, и не ждут уж доброго молодца?.. Хорошо бы!.. Но

путь к ним лежал через владения мадам Вонг, летающих столоначальников и триединого Лица, через лихие места — прямо как в сказке! — в которые не положено возвращаться богатырю-первопроходцу.

Ким и вправду чувствовал себя таким сказочным богатырем, который прошел огонь, воду и сейчас дышит полной грудью, как наказало первое лицо, чтоб войти в медные трубы. Да и в какой пьесе богатырь сворачивал с избранного пути? Нет таких!

Так думал Ким, постепенно приходя в себя и уже с неким любопытством ожидая, что встретит он в очередном вагоне.

Не разлучницу ли Верку с голосистой гитарой?..

Открыл дверь и вошел в вагон.

Вагон был плацкартным. Ким такие знал, Ким в таких ездил по родной стране.

Проводница где-то гуляла, ее купе пустовало, на столе звенел строй стаканов в подстаканниках — грязных, заметил Ким, значит, чаек уже отпили, значит, проводница — или проводницы? — умотала на полчаса к подружкам, оставила хозяйство без верного глаза.

А хозяйство, слышал Ким, без верного глаза отлично себя чувствовало. Звенела гитара, может, даже Веркина, постанывал баян, а еще и мандолина откуда-то взвизгивала, и все это покрывалось мощным разноголосьем мужских и женских голосов. Именно разноголосьем: пели разные. Одна компания старалась перекричать другую, другая — третью, третья — следующую, а в результате музыкальный Ким не смог при всем старании разобрать ни одной песни. Просто «тра-та-та, тра-та-та» и мотив общий.

Никак студенты, подумал Ким, никак комсомольцы-добровольцы в едином порыве двинулись строить Светлое Будущее под песни советских композиторов? Подумал он так, остороженько вышел в коридор — ну просто Штирлиц! А может, опыт, накопленный в предыдущих вагонах, научил? — бочком, бочком, прошел по стеночке и...

Плацкартный, повторяем, вагон, ни тебе дверей, ни тебе покоя, ни тебе нормального уединения!

...немедля был замечен группой певцов, обретавшихся в первом отсеке. Не переставая могуче петь, они замахали Киму: мол, гребн сюда, кореш, мол, у нас весело, не прогадаешь. Они даже не обратили внимания, что Ким — из чужаков, что он — металлист проклятый, а может, и обратили, но не придали значения: сегодня комсомол металлистов не чурается.

Теперь-то, поскольку Ким был рядом, он без натуги врубился в песню, которую орал отсек. Она бесхитростно, хотя и на новый лад повторяла мыслишку про дальнюю дорогу, про казенный дом, который будет построен в срок, про счастливый марьяж в этом казенном доме. Ким песню слышал впервые, содержание ее понял не вполне, почему и предположил, что в отсеке едут молодые строители, которым предстоит возвести в Светлом Будущем Дворец Бракосочетаний. И песня эта — их фирменная.

Заметим: в том, что в вагоне обосновались именно строители Светлого Будущего, сомнений у Кима не возникло. Да и откуда сомнения? Гитара, защитные штормовки, комсомольские значки на лацканах, малопонятные эмблемы, вон, даже надпись на чьей-то спине: «We need Clear Future!» (что в переводе означает: «Даешь Светлое Будущее!»). Все это — всем давно привычный реквизит комсомольско-добровольческо-строительно-монтажной романтики. Вдвигать знамя — так, кажется, выразилось первое лицо. Что ж, лицо право: это право (простите за тавтологию) у нас неотъемлемо...

Ким вошел в отсек, добровольцы подвинулись, и Ким уместился на краешке полки. К несчастью, песня окончилась, что дало свободный выход праздным вопросам.

— Сам-то откуда? — завязав с пением, спросил Кима парень с гитарой, широкоплечий, русоволосый (волосы, конечно, непокорные), высо-

колобый, белозубый, голубоглазый. (Ничего не забыл из плакатного набора? Кажется, ничего...)

— Из Москвы, — лаконично ответил Ким.

— А зовут как? — встряла в разговор крепкая дивчина, русоволодая, высоколобая, белозубая, голубоглазая, разве что не широкоплечая.

— Ким, — сказал Ким.

— Кореец, что ли? — удивился парень с гитарой.

— Кореец, — подтвердил Ким, чтоб зря не повторяться.

— Не похож, — усомнилась дивчина, но на долгие сомнения ее не хватило, она плавно перешла к следующему вопросу: — От какой организации?

— Я не от организации, — честно сказал Ким. — Я здесь по приговору «тройки». Двадцать лет с поражением в правах.

В отсеке, извините за литературный штамп, воцарилось гробовое молчание. Кто-то быстро отвернулся и приник к окну, за которым — безо всякой сверхскоростной мистики — не спеша тянулись обычные среднерусские пейзажи. Кто-то ловко вынул из-под задницы затрепанный детектив и принялся внимательно читать. Кто-то книге предпочел популярный журнал «Смена отцов». Парень с гитарой прислонил гитару к стенке и бочком пошел в коридор. А сердобольная дивчина, явная внучка мухинской колхозницы, подперла лицо ладонками, уставилась на Кима, спросила-таки жалобно:

— За что ж тебя так?..

В соседнем отсеке безмятежно пели про яблоки на снегу. Еще дальше — Ким уже отличал песню ближайшую от песни более отдаленной, по привычке немного — наяривали про мадонну в окне, потом — кто-то бельканто уговаривал паровоз постоять, а что пели дальше, разобрать было трудновато.

— А вас разве не по этапу? — ответил Ким вопросом на вопрос.

Он не считал нужным ломать комедию и прикидываться неформалом по мандату. Пройдя несколько кругов железнодорожного ада — или рая? — он не собирался более испытывать собственные нервы, а решил посылить прибрать ситуацию к рукам. Как это сделать, он пока не знал, не придумал, но четко усек одно: с помощью вранья, поддакивания и тихого соглашательства здесь ничего толкового не выведать, а уж тем более не добиться. Здесь надо резать правду-матку (это занятие, как мы помним, Ким любил), бить ею по размягченному мозгу пассажиров, вызывать на себя их опасную реакцию. Коса на камень, говорите? Вот и посмотрим, кто кого...

— Мы по комсомольским путевкам, — гордо и с неким даже превосходством сказала дивчина. — По зову сердца.

— И много вас таких, отзывчивых?

— Наш вагон и еще соседний. И еще один.

— Ты хоть поняла, куда едешь?

— Строить Светлое Будущее.

— Вас здесь в вагоне — человек сто. В двух других — еще сотня плюс сотня, итого — три. Триста добровольцев — не мало ли для строительства Светлого Будущего? Не надорветесь?

— Мы же не первые...

— Это точно. И не последние. Небитых дураков у нас всегда хватало. Вот когда побьют — тут некоторые поумней становятся...

Парень с гитарой (без гитары), который нервно смолит сигаретку в районе купе проводников и, конечно, в оба уха слушал интеллектуальную беседу между чистой комсомолкой и отпетым преступником, не стерпел последней философской максимы и грубо встрял:

— Да что ты его слушаешь, урку поганого! Он же провокатор! Диссидент! Да еще с серьгой...

— За урку можно и в глаз, — спокойно сказал Ким, не вставая, однако, с полки.

А яблоки со снега уже собрали, мадонна закрыла окно и ушла спать, и до других поющих отсеков донеслись отзвуки легкого скандалчика

в первом. Стихли музыкальные инструменты, смолкли молодые голоса, потянулись к первому отсеку комсомольцы-добровольцы, соскучившиеся по горячему диспуту с идейным врагом, столпились вокруг, даже свет собой заслонили.

— Ты, что ли, в глаз? — презрительно спросил парень без гитары. — Да я тебя по стене размажу, два дня отскребываться будешь.

Все слушало — никто не вмешивался. Интересно было.

— Размазать ты меня успеешь, если получится, — спокойно сказал Ким, — а пока ответь-ка мне на простой вопрос. Если я — урка, если я — осужденный, то почему я еду с вами, а не с конвоирами? Почему я — в о л ь н ы й?

— Почему? — встал в тупик парень.

И дивчина не знала ответа. И все кругом молчали. Только самый начитанный, с детективом, догадался:

— Ребя, да он же нам соврал! Да он же наш с потрохами, ребя, честное комсомольское!

Почему-то никто не встретил эти слова бурным ликованием. Все ждали ответа Кима.

— Вы сами-то надолго едете? — Ким опять предпочел вопрос.

— На всю жизнь, — сказала дивчина.

— Как получится, — сказал парень без гитары.

— Пока нужны будем, — сказал любитель книг — источников знаний.

— Как там все обернется, так и порешим, — раздумчиво сказал кто-то из толпы.

— Наконец-то разумный ответ! — воскликнул Ким. — Я к нему еще вернусь, а для начала напомню: обязательный трудовой стаж в нашей стране равен... чему?.. правильно — двадцати годам. Вот на них-то меня и обрекли. Как и всякого гражданина родной страны. Как и вас, соколы орлами. Двадцать лет жизни — минимум! — каждый из нас, — он обвел рукой слушателей, — должен отдать на строительство Светлого Будущего. И вы, братцы, такие же осужденные, как я...

— Мы добровольцы, — напомнила дивчина.

— Все мы в какой-то степени добровольцы. Кто — где. Вы — здесь.

— А ты?

— А я в другом месте доброволец. Сюда меня насильно прислали.

— Как могли? У каждого есть право выбора! — Реплики шли — ну, прямо из брошюр серии «В помощь комсомольскому активисту». У Кима закономерно вяли уши, но держался он молодцом.

— Милый, — сказал Ким, глядя в чистые глаза парня с гитарой без гитары, — разве все добровольцы — добровольцы? Разве не знаком ты с термином «добровольно-принудительный»? Разве все, что ты делал в жизни, ты делал только по зову сердца? — Парень открыл было рот, чтобы достойно ответить, но Ким не дал, махнул рукой. — Ладно, молчи. Не о том речь. А о том, что вся ваша добровольческая армия развалится и расплзется, если в Светлом Будущем, которое вы рветесь ваять на пустом месте, не будет отдельных квартир, теплых сортиров, набитых продуктами магазинов, театров, киношек, да мало ли чего... Прав товарищ: как там все обернется, так вы и порешите.

— Мы все построим сами! — крикнул кто-то. — Своими руками!

— Ты родом откуда? — Ким опять отбил вопрос вопросом.

— Из Мухачева. Город такой, — важно ответили.

Кто — Ким не видел да и не стремился видеть: спор велся не с конкретным собеседником, а сразу со всеми. Говоря метафорично: с собеседником по имени «Все».

— И что, у вас в Мухачеве все живут в отдельных квартирах? В магазинах всего завались?

— Нет пока... Вот к двухтысячному году...

— А что ж ты, мать твою, невесть куда прешься? — со злостью перебил невидимого оппонента Ким. — Чего ж ты в своем Мухачеве не строишь того, что в Светлом Будущем собираешься? Почему, как дерьмо вывозить, так мы в конце географии рвемся? А у нас дома своего дерьма — по уши, не навывозишь-ся... Сидел бы ты дома, делал свое дело, так, может, и двухтысячного года ждать не пришлось бы...

- Это не разговор, — сказал гитарист.
- Другого не жди, ассенизатор...

Напомним: Ким вырос в маленьком русском городке, где все решенные и нерешенные проблемы страны гляделись такими же маленькими, как и сам городок, а потому заметными всем. Все про все в городке знали: где что недовыполнили, недопоставили, недостроили, недодали, недовесили. Бесчисленные «недо» выглядели привычными, даже родными; любой, кто ни попадя, обвешивал их гирляндами красивых и важных слов, отчего «недо» смотрелись почти как «пере». Не безглазым рос Ким и не безухим; потому и подался в «правдоматколюбцы», что с детских лет нахлебался вранья из корыта с верхом. Первым туда плеснул папанька. Потом школа щедро подлила, боевая пионерская дружина, еженедельные сборы всего-чего-не нужно, «Будь готов! — Всегда готов!», долго перечислять. Улица добавила, родной комсомол в стороне не остался...

Сейчас стало легко. Сейчас правда вышла в почет, хотя всякий, ее несущий, по сей день считался чуть ли не героем, а вранье по-прежнему не сдавало позиций.

Волею случая Ким попал на поезд, нацеленный в Светлое Будущее. Волею Невесты Кого в поезде этом распрекрасном творилось Черт-Те-Что. Для начала Ким хотел бы узнать смутный сюжет Черт-Те-Чего...

А как узнать?..

Ну, резал он правду-матку красивой мадам Вонг, ну, со святой тролицей (начальник-отец, начальник-сын, начальник — дух святой) грубо разговаривал... Чего добился, бунтарь фиговый? Ничего... А потому ничего не добился, считал Ким, что любым начальникам любая правда — звук пустой. В одно ухо влетает, в другое — соответственно... У них своя правда, и другой они знать не хотят и не будут, как бы ни били себя в грудь, как бы ни клялись в верности демократии. Все клятвы для них — слова, слова, слова, как говаривал бессмертный герой сэра Вильяма, а слова для начальников ни хрена не стоят, задарма достаются.

Ну а с этими-то, с добровольцами, чего впустую ля-ля разводите? Они же не люди. Они статисты в славном спектакле, поставленном Невесты Кем. Они такая же нежить, как и летающие столодержатели, вечные исполнители роли «Кушать»... извините... «Строить подано», только та сцена поставлена в жанре гротеска, а эта — в героико-реалистической манере: с Истинными Героями на авансцене и с Хором у задника.

Все так, понимал Ким, все правильно. Но — будущий режиссер! — он прекрасно знал, что именно из статистов, особенно из молодых, рядовых-необученных, вылупляются театральные бунтари и даже революционеры. Именно среди них потихоньку зреют те, кому привычный текст «Строить подано» давно обрыдл, им других текстов хочется, доселе неигранных, даже неслыханных, а память у них емкая, крепкая и пока — п у с т а я.

Вот почему Ким устраивал легкий ликбез этим манекенам в штормовках — не более чем ликбез. Для них «Краткий курс истории ВКП(б)» — почти Гегель по сложности. Формулировки Кима — чеканно-афористично-доходчиво-примитивные — вполне подошли бы для нового «Краткого курса», пока, к счастью, не написанного...

В любом случае Ким хотел разозлить добровольцев. Не на себя, как раньше мадам или Начальников, а на других. Может, как раз на мадам и на Начальников...

Зачем разозлить?.. Точного ответа Ким пока не знал.

— Погоди, — сказал парень с детективом, — а что ты там о поражении в правах плел?

— Это мур, — отмахнулся Ким. Тема его не очень волновала, посему объяснял он просто и сжато — в стиле «Краткого курса». — Вся наша жизнь — это перманентное поражение в правах, говоря языком юриспруденции. То есть я, конечно, не имею в виду права конституционные — на труд там, на здоровье, на подвиг. Я о каждодневных правах говорю, о житейских, о зловых, до конституции не доросших. Скажем, право на жилплощадь в родном городе. Есть оно у тебя? Есть. Иди в райисполком, вставай в очередь, жди — к пенсии получишь... Или вот такое смешное

право: тратить свою зарплату. Имеешь его? На все сто! А как его использовать, коли тратить не на что?.. Да ладно, это неинтересно. Хотите — сами покумекайте... Я только одно скажу. У эсеров был лозунг: в борьбе обретешь ты право свое. Эсеры давным-давно на свалке, в истории — поток фамилий остался, а мы до сих пор по их лозунгу существуем. Прямо как в песне: вся-то наша жизнь есть борьба. Борьба за то, что нам по праву положено. Разве не так?..

Публика молчала. Реплики типа: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» или «Нам нет преград ни в море, ни на суше!» к разговору явно не подходили, это даже Хор у задника понимал. Требовались в ответ свои слова, незаемные, а их-то как раз и не находилось. Будь Ким режиссером этой сцены, он ввел бы сейчас в немоту фонограмму — звук вращающихся, скрежещущих шестерен какого-нибудь гигантского механизма. Для чего? А для иллюстрации мыслительного процесса добровольцев. Очень убедительно получилось бы. И вполне новаторски, хотя и не без хамства.

А хамить ребятам, в общем, не хотелось. В чем они виноваты? В том, что кто-то сверху, все и вся решавший за них, поместил их в этот плацкартный вагон, сунул им в рот стандартные тексты проходных ролишек, примитивно просто выстроил мизансцену — по шаблону, проверенному десятилетиями, залитованному однажды и на все времена? Или в том, что они не взбунтовались против «кого-то сверху», не выплюнули изжеванные слова, не вооружились своими? Так, может, для этого Ким и помещен в поезд, в вагон, в отсек, непредвиденным фактором введен в спектакль — для того, например, чтобы проверить: кто способен на импровизацию, а кто — нет. На импровизацию, а значит, и на большую — новую! — роль. Или иначе, ж и т е й с к и: кто способен на бунт...

Просто старая сказка для детей получается, думал Ким. Просто история про Карабаса-Барабаса и его несчастных актеров. А кто он, Ким, в таком случае? Никак, Буратино? Никак, чурбачок с длинным носом, сующий сей нос во все дырки? А коли отрубят?.. Так не отрубили же у Буратино, если верить Алексею Николаевичу, и у Кима цел пока его тоже немаленький рубильник... И уж если следовать сказке, то куклы-то взбунтовались, повязали Карабаса-Барабаса, ушли с Буратино за яркий занавес с нарисованным на нем горящим камином...

Камином?..

Ким вспомнил фотообои на стене в кабинете мадам.

Выходит, ему с самого начала уготована роль деревянного бунтаря?.. Почетно...

— Слушай, друг, — сказал, наконец, парень с гитарой без гитары, — ты зачем к нам явился? Головы нам морочить?

— Угадал! — обрадовался Ким. — А что, есть что морочить?..

— Не паясничай, — сурово оборвал его гитарист, — не на тусовке. Дело говори. Что ты от нас хочешь?

Что он от них хочет? Знал бы — сказал бы...

Смотря телевизор, читая газеты, краем уха слушая радио, Ким, комсомолец с четырнадцати школьных лет, не раз задавался законным вопросом: есть у комсомольцев своя голова или за них думает многочисленный аппарат родного цэка вээлкаэсэм? Кто именно мчится с горящим сердцем строить все эти бамы, атоммаши, катэки?.. Что их тянет из дому? Что ищут они в стране далекой, что кинули они в краю родном? Деньги? Их там не больше, чем где-либо. Славу? Она догоняет лишь избранных — как, впрочем, везде. Романтику? Ее хватает на месяц — даже для дураков, и те, кто дразнит дураков фальшивой романтикой, отлично знают, что добрая половина через месяц-два поумнеет и вовсю будет стараться смогать удочки. Останутся самые стойкие, самые честные, самые работающие и — оттого! — самые несчастные, которые вполне были бы к месту у себя дома, в родном городе, в родном селе, в родном колхозе-совхозе, где позарез не хватает стойких, честных и работающих.

Самое плановое в мире хозяйство на поверку оказывается самым бесплановым. Самым а в р а л ь н ы м. И затыкать авральные дыры — на сей сомнительный подвиг годятся только молодые, только необстрелянные

и непременно — с горящими сердцами. Которых легко обмануть. Всем, чем угодно: псевдоподвижками, псевдоромантикой, псевдозаработками, псевдонеобходимостью. Псевдожизнью. А псевдожизнь — это не театр, прошу не путать.

Нас бросает из крайности в крайность, и каждая крайность немедля становится передним краем битвы за... за что угодно. А кому в прорыв? Рядовым-необученным — кому ж еще, дураков больше нет! Аврал, ребята, спасай державу, только вы и можете ее спасти, винтики наши разлюбезные! Мы вас отсюда вывинтим, а сюда ввинтим, никто ничего не заметит, машинка как крутилась, так и крутится. Ну и ладно, что по-медленней, ну и ладно, что скрипит сильно, зато какой тембр у скрипа — победный!..

А если бы каждый винтик да на своем месте, да в своей резьбе?..

Ким усмехнулся: который раз уж приходит на ум эта чужая винтичная ассоциация! Повторяешься, режиссер, штампуешь образ...

И все же: если бы каждый винтик да на своем месте? Может, и вправду не пришлось бы ждать двухтысячного года? Может, и вправду жили бы мы сегодня в сильно развитом социализме, и вкусные галушки прямо в рот бы к нам прыгали?..

— Что я от вас хочу? — повторил Ким вопрос. — Да ничего, пожалуй. Задумались на секунду — и то ладушки... А вот остановиться бы нам сейчас, а вот поразмять бы ноги...

Зрело у Кима что-то такое, что-то этакое — что, он и сам толком не догадывался.

— Мы без остановок, — растерянно сказал гитарист. Виделось: он изо всех сил хочет помочь симпатичному попутчику, но нет у него на то сил, нет возможностей. — Каждая остановка — ЧП. Идем по графику...

— ЧП говоришь? ЧП — это разумно... ЧП — это выход...

— Что ты несешь? — взволновалась дивчина, до сих пор молчавшая, в разговор мужчин не вступающая. (Да и никто, заметил Ким, в разговор не лез, кроме двух-трех персонажей. Понятно: Хор — он и есть Хор, реплик на него ни драматургом, ни режиссером не отпущено...) — Какое ЧП? Ты не заболел ли часом?

— Часом заболел, — сказал Ким. Он, похоже, понял, что делать. — Медпункт у вас здесь имеется? Градусник там, пурген, бисептол?..

— Наверно, — предположила дивчина. — Может, сзади?

— Сзади медпункта нет, — быстро сказал Ким, вспомнив декорации, сквозь которые он прошел с боями местного значения. — А что впереди?

— Два вагона с нашими, а дальше — не знаем. Я же говорила...

— Кто у вас старший?

— Вот он. — Дивчина хлопнула по плечу гитариста. — Командир сводного комсомольского добровольческого...

— Понятно, — перебил Ким. — Зовут тебя как, Командир?

— Петр Иванович.

— Иванович, значит?.. Это серьезно, — усмехнулся Ким. Гитарист, если и был старше его, то года на три — не больше. И уже — Иванович. А Ким — всего лишь Ким. Судьба... — Пойдем со мной, Иванович.

— Куда?

— Медпункт искать. Поможешь больному осужденному вечный покой обрести.

— Ты не болтай чушь! — строго сказал Петр Иванович. — Пойти я с тобой пойду, а потом что?

— А потом — суп с котом, — остроумно ответил Ким. — Много будешь знать, скоро состаришься...

Какого, спрашивается, рожна Ким полез в не им и не для него придуманную драматургию? (Газетные зубро-бизоны сочинили рабочий термин: драматургия факта...) Почему же ему так не понравилась очередная рядовая стройка века? Одной больше, одной меньше — державы не убудет. Ну, построят они стальную магистраль, ну, дотянут ее до населенного пункта Светлое Будущее, ну, организуют там театр, рынок, стадион, уни-

версам, Дом быта, десяток унылых «черемушек», ну, заживут припеваючи, детишек нарожают, дождутся миллионного жителя и того прелестного момента, когда их Светлое Будущее нарекут именем какого-нибудь давшего дуба Большого Начальника. Идиллия!.. Киму-то она чем помешала?.. Может, через пяток лет его в сей град пригласят, назначат главрежем аврально возведенного театра и он легко превратит его в новый «Современник», в новую «Таганку», в новый ВДТ...

А вот помешала! А вот не желает он приглашаться в Светлое Будущее! И не ищите тому разумное объяснение! Название ему, допустим, не нравится и — точка!

Медпункт, дураку ясно, предлог. Прорвавшись за нарисованный очаг, Буратино обнаружил отнюдь не идиллическую картинку всеобщего кукольного братства, а нечто иное, куда более паскудное. Что именно — графу Алексею Николаевичу боязно было раскручивать, время на дворе требовало литературных идиллий. Пройдя заветным путем Буратино, Ким очутился в Стране Дураков, куда его намеренно запустила хитрая лиса Алиса, она же — Даная, она же — мадам Вонг, чтобы доказать мощь и незаменимость своры Больших Начальников — в скромном, конечно, масштабе поезда особого назначения.

Доказала? Ким так не считал..

Кстати: о театре сказала она, а способный Ким лишь думал о нем, видел его, но пока не вмешивался, не исправлял режиссуру. Пока не мог. А теперь решил: пора!

Но это он так решил, а у лисы Алисы имелось другое мнение.

Она уже спешила к нему по вагону, вежливо отодвигая ручкою плакатноликих строителей, цокала каблучками, вся — в белом крахмальном халатике, вся — в белой короне с красным крестом, с белым же чемоданчиком-атташе, на коем тоже начертан был красный крест, яркий символ бесплатного милосердия. Вроде она, а вроде не она. Вроде врач самой скорой помощи. А за ней неслись два медбрата с выражением сострадания на сытых физиономиях, два крепких мортуса, один к одному похожих на случайных корешей Кима из дальнего вагона охранения: на лысого топтуна в ковбойке, которому Ким ручку повредил, и на молодого курильщика в майке с надписью «Вся власть Советам!». И появились они, отметим, со стороны тепловоза, а вовсе не с хвостовой, где их оставил Ким.

Как сие могло произойти?

Два варианта. Первый: это не они, а их родичи, сестра-двойняшка Данаи-Алисы и братья-близнецы тамбур-мажоров. Второй: это они, но в поезде нарушены законы пространства-времени, пассажиры (кроме Кима!) существуют не в трех привычных измерениях, а по меньшей мере в пяти-шести. Ким склонялся ко второму варианту: он был интереснее и давал куда больше возможностей.

— Посторонись! Посторонись! — взволнованно кричал бывший тамбур-мажор в майке с надписью «Вся власть Советам!» (назовем его теперь молодым медбратом), а бывший топтун в ковбойке (назовем его пожилым медбратом) довольно похоже изображал сирену «скорой помощи».

Хор строителей расступился, и лиса Алиса (заметили: у нее полно ключик, придуманных Кимом, и нет собственного имени!) впорхнула в командирский отсек вагона.

— Кто вызывал врача? — красиво пропела она, распахивая тем временем медицинский чемоданчик, доставая тем временем шприц, стерильную иглу, ампулу с прозрачной жидкостью. — Кому требуется помощь? Не вам ли, молодой человек? — И подмигнула Киму, как старому приятелю. А сама уж и ампулу голову скрутила, и шприц непонятной жидкостью наполнила, а крепкие медбратья схватили болезненного Кима за белые руки, завели их ему за спину, и мадам обратилась к малость остолбеневшим добровольцам: — Выйдите, товарищи. Человеку плохо, человеку надо сделать животворный укол.

Приключениями Буратино уже не пахло. Наклеивалась ситуация из довольно известного романа «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», по

которому поставлен всемирно известный фильм — за океаном и ряд мало кому известных спектаклей в родной стране.

— Эй, стой! — заорал Ким, пытаясь вырваться из цепких на сей раз захватов медбратьев. — Какой укол?.. Я не хочу!.. Ребята, помогите мне!

— У больного бред, — строго сказала лиса. — Это опасно. Просьба всем покинуть помещение...

Добровольцы нехотя, но неизбежно отходили в коридор. Начальственный голос тети доктора действовал на них гипнотически. Еще бы: она же была в белом халате, а значит, при исполнении!..

Только внучка статуи робко промолвила:

— Может, не надо? Может, так пройдет?

— Не пройдет! — утвердила лиса, вздела горé шприц и чуть прижала поршень. Жидкость брызнула коротким фонтанчиком, вытеснив лишний воздух. — Обнажите место укола, господа...

Господа, слушая и повинуюсь, одновременно потянулись к джинсам Кима, чтоб, значит, расстегнуть их и содрать с задницы, то есть с места укола. Потянулись они и, естественно, ослабили хватку. А Киму-то всего малость и требовалась. Он рванулся, освобождая руки, и, не оборачиваясь, резко и сильно ударил ими назад. Даже не глядя. Знал, что попадет, и попал. Удары пришлись точно по шеем медбратьев. Медбратья охнули и присели. А Ким перехватил лапку тети доктора, сжал ее побольнее (а чего жалеть-то, чего политесы разводите?) и аккуратно вынул из пальчиков шприц.

— Торопитесь, тетенька, — мило улыбаясь, сказал он. — Я еще не со всеми вашими доказательствами ознакомлен. Я еще в сомнениях. У меня еще полпоезда впереди...

Разжал пальцы — шприц упал и разбился.

Мадам молчала, приняла мелкое поражение как должное. У Кима на секунду возникло подозрение: а не проверка ли это с ее стороны «на слабо»? Сейчас бы не справился с медбратьями, получил бы в задницу порцию... чего?.. снотворного, наверно, заснул бы, как суслик, а проснулся где-нибудь на полустаночке, в сельской больничке, куда сдали бы заболевшего неформала гуманные медики из серьезного поезда. За ненадобностью сдали бы. Со слабым зачем дело иметь?.. А может, просто надоел Ким Большим Начальникам, мешать начал?..

Некогда было раздумывать. Выскочил из купе-отсека, схватил за руку Петра Ивановича.

— Рванули отсюда!

И рванули. Добровольцы поспешно расступались, давая дорогу: еще бы — сам Командир спешит. И уже на бегу посетила Кима мыслишка: если все это обычный спектакль, запланированный Большими Начальниками, то он, Ким, равноправное действующее лицо. Одновременно персонаж и актер. И появление мадам с тамбур-мажорами могло означать, например, такое: кому-то нужно ускорить действие. Кому? За других Ким не ручался, но о себе знал точно: ему нужно. Слишком заговорился он с добровольцами, слишком распустил язык, на монологи нажал. А кому они нужны — монологи? Кого они когда убеждали? Привыкли мы к монологам, произносимым откуда ни попадя: «Дорогие товарищи!» — и понеслось без остановки. А все в ответ: мели, Емеля...

Нет, вовремя мадам появилась, спасибо ей: убеждать тоже надо делом.

Они быстренько проскочили два таких же вагона с такими же добровольцами. Добровольцы узнавали Командира и кричали:

— Что случилось?.. Что за пожар?.. Петр Иванович, ты куда?.. Может, помощь нужна?..

А Петр Иванович не отвечал на выкрики подопечных, послушно трусил за целенаправленно рулящим Кимом. Петр Иванович вообще пока особо не выступал, поскольку роль свою не определил. То есть до сих пор она была ему ясна предельно: Командир, отец солдатам, даешь Светлое Будущее, административно-командным методом — нет, демократии — да! А теперь, когда в сюжет влился осужденный плюс он же ненормальный,

плюс социально опасный, плюс дьявольски любопытный Ким, стандартная роль Командира (и это он селезенкой чувствовал) должна была резко измениться. Молодой, но уже хорошо поигравший в жизни Петр Иванович к роли Командира готовил себя с ранней юности, оттачивал амплу, и, хотя последние годы ввели в старую роль немалые коррективы, Петр Иванович все равно был готов к ней, ибо молодость легко восприимчива к коррективам. А что касается селезенки — так плох тот актер, у которого этот орган не ёкает в нужный момент: где гордо выждать, где скромно промолчать, где «ура!» крикнуть. Сейчас настала пора паузы. На авансцене импровизировал пришелец. Петр Иванович не чужд был импровизации, да и пришелец ему нравился. Петр Иванович терпеливо ждал своего выхода и знал: надо будет — не промахнемся.

Мыслишка, которая посетила Кима на бегу, лишь притаилась, но не исчезла, теперь он продолжал ее на бегу же раскручивать.

Итак, как он предположил ранее, все это обычный спектакль, задуманный Большими Начальниками. Допустим. Давно известно из курса истории: во все времена Большие Начальники любили масштабные постановки. Для таких постановок собираются лучшие силы, денег туда вбухивается тьма-тьмущая, строятся гигантские декорации, верная пресса гудит от предвкушаемого народного счастья, реклама работает круглые сутки, статистов никто не жалеет, народ безмолвствует. Правда, всегда почему-то имеет место жанровая ограниченность: Большие Начальники предпочитают только героический эпос. Другое дело, что действие может неожиданно вырваться из-под контроля режиссеров и постепенно или разом перейти совсем в другой жанр. Например, в трагедию. Или в драму. Бывает, что в комедию или даже в фарс, истории такие случаи известны. Но в том-то и сила Больших Начальников и верных им режиссеров (а бывало, что Большие Начальники сами воплощали на сцене свои гигантские замыслы!), что они никогда не признавали провалов, и так, представьте себе, талантливо не признавали, что входили в историю массовых зрелищ как славные победители.

Потом, конечно, к рулю прорывались другие Начальники, которые находили в себе смелость верно оценить уровень той или иной постановки предшественников, находили, оценивали и снова готовили очередной эпос, чтобы непременно оставить нестираемый след в щедрой памяти поколений.

К слову, о поколениях. Ким (и он не оригинален) очень любил повторять к месту ту самую пушкинскую ремарку о безмолвствующем народе. Думая на бегу о спектакле, в котором он волею дуры-судьбы принимал участие, Ким складно сообразил, что весь прошлый эпос был возможен только потому, что народ постоянно безмолвствовал. Точнее: его никто ни о чем не спрашивал. И если эпос все-таки получался героическим, то лишь благодаря народу, который, и безмолвствуя, ковал чего-то железное... Но сейчас-то народ не молчит. Сейчас он ого-го как разговорился. (Иной раз в ущерб делу.) Сейчас без его мнения ничего не начинается, ничего не делается. К примеру, ни одного режиссера не выбрать, ни одному актеру ставку не подтвердить, а уж о репертуаре и говорить нечего. Репертуар сейчас сам народ выбирает... Тогда, позвольте, откуда бы взяться новому героическому эпосу про Светлое Будущее (хотя идея-то не нова, не нова...), если никто никого о нем не спрашивал? А народ, который едет в трех плацкартных вагонах, по-прежнему и стойко безмолвствует...

Ой, Ким, не крути сам с собой! Как будто ты не ведаешь, что старые, много раз игранные-переигранные спектакли еще вовсю играют, еще делают хорошие сборы, еще сладко живут... Ты с ходу, без репетиций, вошел в очень сложный спектакль, и сейчас от тебя зависит, куда его понесет...

Поняли, как цепко держит Кима его будущая — налюбимейшая! — профессия? Все он точно оценил, в пространстве сцены расставил, софитами где надо подсветил — играем Жизнь, господа! Тяжко ему будет жить в этой Жизни, раз он ничего всерьез, взаправду не принимает, все на условный язык театра перекладывает. Но с другой стороны: воспри-

нять происходящее как сухую реальность, как банальное железнодорожное приключение—значит признать себя потенциальным клиентом дурдома.

Лихо проскочив три вагона, набитых поющими добровольцами, Ким и Петр Иванович тормознули в очередном тамбуре.

— Прошу об одном,—сказал Ким,—ничему не удивляйся. Не ори, не беги, не падай в обморок. Держи меня за штаны и будь рядом. Ты мне нужен.

— А что будет?—малость испуганно спросил Петр Иванович.

Его, конечно, любопытство точило, не без того, но и мелкий страх не отпускал. Он-то, солидный Командир, в отличие от напарника, происходящее театром не числил, он, может, в театре только в детстве и был, скажем, на спектакле про Буратино... А тут оптом—осужденный псих с поражением в праках, тетка со шприцем, могучие санитары, бегство по вагонам и таинственная просьба ничему не удивляться. Каков набор, а?..

— Может, и ничего не будет,—толково объяснил Ким.—Может, просто вагон. И Верка-проводница с гитарой. А может, и...—не договорил, так как назрел вопрос:—Кстати, у тебя какой номер вагона?

— Двенадцатый.

— Одиннадцатый и десятый—тоже ваши. Значит, следующий—девятый, как раз с Веркой... Нет, похоже, ничего там не будет. Пошли.—Открыл дверь, потом вторую, потом третью—из тамбура в девятый вагон. Петр Иванович послушно шел за ним.

Самое частое действие, выпавшее на сложную долю героя этой повести,—занудное открывание дверей. Ким открыл дверь. Ким закрыл дверь. Ким взялся за ручку двери. Ким повернул ручку двери... Скучно писать, а как быть? Железнодорожный состав не какое-нибудь бескрайнее поле, здесь особая специфика, изначальная заданность сценографии, если использовать любимую терминологию Кима.

Ким осторожно заглянул в купе проводников.

На диванчике сидел средних лет мужчина в сером железнодорожном кителе, при галстuke и даже в фуражке. Мужчина внимательно читал толстую книгу, обернутую газетой.

Что-то не приглянулось в нем излишне бдительному Киму, что-то насторожило. Может, неснятая фуражка?..

Но тем не менее Ким задал вопрос, потому что молчать не имело смысла,—мужчина оторвался от книги и строго глянул на пришельцев: мол, в чем дело, граждане?

— Простите, где Вера?—вот какой вопрос задал Ким.

— Вера?—задумчиво повторил мужчина в фуражке.—Вера, знаете ли, вышла...

— Куда?

— Туда,—мужчина пальцем указал и словами объяснил:—По вагону она пошла, кажется...

— Извините,—сказал Ким.—Мы тоже пойдем.

— Идите, идите,—согласился мужчина и опять в книгу уставился.

Ким шагнул из купе и... замер. Прямо у титана-кипятильника имела место очередная дверь—на сей раз в коридор!—которой ни по каким вагоностроительным правилам существовать не могло. И ихних дверей у нас не строят!

— Мне это не нравится,—сказал Ким.

— Что?—почему-то шепотом спросил Петр Иванович.

— Откуда здесь дверь?

— Может, спецвагон?—предположил Петр Иванович.—Нас же не остановили. Значит, можно... Ты какую-то Веру ищешь, так?

— Веру, Веру...

Ким осторожно взялся за ручку двери. Ким повернул ручку двери. Ким открыл дверь. (Смотри вышперечисленный набор действий Кима.) И тут же его подхватили под белые руки, прямо-таки внесли куда-то и нежно опустили на пол. И с Петром Ивановичем тот же фортель легко проделали.

«Куда-то» оказалось отлично знакомым Киму, постановщики повторылись. В синем медицинском свете, мертво гасящем истинные размеры

декорации, стоял стол, покрытый длинной скатертью, а за столом покоились те же Большие Начальники, что час назад (неделю назад? Год назад?.. Пространство и время вели себя здесь прихотливо, озорничали направо-влево.) осудили Кима на двадцать лет с поражением в правах. Начальники, не улыбаясь, никак не выдавая знакомства, смотрели на Кима и на ошалевшего Петра Ивановича (не послушался он Кима, не просто удивился—ошалел вон), и взгляды их ничего хорошего не сулили. Ни первому—отпетому, как известно, преступнику, ни второму—примерному, как известно, комсомольцу и Командиру.

— Где мы?—затравленно прошептал Петр Иванович, прихватив Кима, как тот и велел, за штаны и целенаправленно припухая от страха. (Поставьте себя на его, командирское, место. Спецпоезд, ветер в груди, возвышенная цель в финале, все светло и прекрасно, а тут—зловещая темнота, явно стол президиума, а в президиуме—уж он-то их с первого взгляда узнал!—Ба-альшие Начальники!)

— Не бойся,—намеренно громко сказал Ким.—Сейчас нам будут промывать мозги. У тебя есть чего промывать, а, Иваныч?

— Погоди, погоди,—бормотал вконец растерянный Командир. Он, похоже, не ориентировался ни в пространстве, ни во времени.—Какие мозги? Что ты несешь? У меня нет никаких мозгов...

Последняя реплика весьма понравилась среднему лицу.

Мы их станем называть так, как и ранее: среднее лицо, правое и левое. Ибо, как и ранее, они были одним Лицом—единым в трех лицах. Уже упоминавшийся здесь библейский «эффект Троицы».

— Искреннее и важное признание,—задушевно сказала среднее лицо.—Другого я и не ждал. А вы?—обратился он к партнерам.

— Никогда!—сказало левое лицо.

— Всегда!—сказало правое лицо.

— Согласен,—отечески кивнуло среднее лицо.—Так, может, он еще не потерян для нас, а?..

Правое лицо с сомнением молчало. Левое тоже не спешило высказаться.

— К чему он у нас присужден?—поинтересовалось среднее лицо.

Правое лицо подняло руку, требовательно пошевелило пальцами, и в них немедленно оказалась толстая папка с надписью «ДЕЛО» (через «ять»). Такая же, мы помним, и на Кима была составлена. Правое лицо нежно уложило папку перед средним. Среднее подуло на нее, странички мягко зашелестели, сами собой переворачивались, послушно останавливаясь где надо.

— Особая мера пресечения,—сказало среднее лицо.—Пожизненное заключение с постепенным изменением режимов.

— Это как?—спросил Петр Иванович. То ли Кима спросил, то ли членов президиума. Поскольку члены молчали, ответил Ким:

— Это просто, Иваныч. Пожизненное—значит до гроба. Всю жизнь будешь Светлое Будущее ваять. Ну, и расти постепенно. Как они говорят, режим менять.

— Что значит «режим»?

— Ранг. Звание. Должность. Сейчас ты просто Командир, а станешь Самым Большим Командиром.

— Пра-авда?—протянул Командир.—А как же теперь?

— Теперь надо думать,—веско сказала среднее лицо.—Вы совершили преступление. Вы связались с осужденным по другой статье и вступили с ним в сговор.

— В какой сговор? Ни в какой сговор я не вступал.

— А кто ему помог бежать?

— Так ведь напали...

— Не напали, а пришли зафиксировать. По приказу.

— Я же не знал. Надо было предъявить приказ.

— Вы Командир. Вы обязаны предугадывать любой приказ свыше.

— Ну, знаете ли, я не провидец...

Ким с любопытством слушал диалог, сам в него не вмешивался. Неожиданная радость: Петр Иванович медленно, но верно приходил в себя.

Он уже не трясся осиновым листком, не млея под взглядами Больших Начальников, он уже потихоньку начинал отстаивать с о б с т в е н н о е право на поступок.

— Осужденный быть Командиром должен обладать даром провидца. Это позволит ему не ошибаться в своих командах.

— Ну, нет, — не согласился Петр Иванович, — плох тот Командир, который никогда не ошибается. Это значит, что он ошибается, но делает вид, что не ошибается. И других заставляет.

Не очень складно по форме, зато верно по сути, отметил про себя Ким.

— Вы признаете право Командира на ошибку? — В голосе среднего лица слышалась патетически поставленная угроза.

Но Петр Иванович ее не уловил.

— Ясное дело, признаю, — сказал он. — А ребята на что? Чуть что не так — поправят.

— Печально, — печально констатировало среднее лицо. — Положение, видимо, безнадежно. Не так ли, господа?

— Так ли, — сказала правое лицо.

— Увы, — сказала левое лицо.

— И каков же вывод? — спросило среднее и само ответило: — Придется менять меру пресечения... Какие будут предложения?

— Пустите его на свободу! — засмеялся Ким. Ему нравилась мизансцена. Ему нравился диалог — легкий, лаконичный, точный, нравились дурацкие персонажи. Он даже к нелепой декорации привык. — Пустите, пустите. Он на свободе одичает и погибнет.

Но Един в Трех Лицах его не слушал. (Или, вернее, не слушали?..) Лицо советовалось внутри себя.

— Расстрелять? — спросило правое.

— Круто, — поморщилось левое. — Все-таки бывший н а ш.

— Не был я ваш, извините, — быстро вставил Петр Иванович, напряженно вникающий в ход обсуждения, не без волнения ожидающий решения, но собственного достоинства при этом терять не желающий. — Свой я был, свой.

— Тем более, — сказала правое лицо.

— А что? — спросило среднее лицо. — Расстрелять?.. В этом что-то есть... Круто, конечно, мы правы, но каков выход? Кассировать по состоянию здоровья? Рано, молод. На дипломатическую отбывку срока? Не заслужил. Перемена статьи?

— Точно! — утвердило левое лицо. — Перемена. Пожизненное, но без изменения режима!

Лица понимающе переглянулись.

— Хорошо, — легко улынулось среднее лицо. И в тех же скурых пропорциях расцвели улыбки на лицах левом и правом. — Утверждаем. Приговор окончательный и никакому вздорному обжалованию не подлежит.

— Ну, дали! — возликовал Ким, вмазал Петру Ивановичу по широкой спине. — Ну, забой! Ну, улет!.. Ты хоть понял, Иваныч? Они тебе пожизненное впаяли. И — по нулям. Как был простым Командиром, так простым и помрешь. Плакали твои лампасы.

Петр Иванович на приговор реагировал достойно, Петр Иванович не зарыдал, в ноги членам президиума не кинулся. Петр Иванович достал из кармана клетчатый носовой платок, трубно высморкался, аккуратно сложил его и только после этого процесса очищения заявил:

— Во-первых, плевал я на лампасы. А во-вторых, еще поглядим, кто в них щеголять станет... Пошли отсюда, Ким! — И потянул Кима за карман джинсов.

Не тут-то было.

— Стоять! — громогласно воскликнуло среднее лицо. — Еще не все!

— погоди, — сказал Петру Ивановичу Ким. — Слышал: еще не вечер.

— Напрасно паясничаете, подсудимый. Речь на сей раз пойдет о вас. («Стихи!») — быстро вставил Ким, но лицо не заметило. — Есть предложение изменить меру пресечения. Что там у нас было?.. — И точно так же, как раньше, влетела в ладонь правому лицу Кимова заветная палочка с названием через «ять», улеглась перед средним, зашелестела стра-

ничками.— Двадцать лет с поражением? Отменяем!.. Какие будут варианты?

— Расстрелять!—на сей раз мощно утвердило правое лицо.

— Расстрелять!—тоже не усомнилось левое.

— Утверждаю!—утвердило среднее лицо, достало из синего воздуха круглую печать и шлепнуло ею по соответствующей бумажке в папке с делом Кима.

Шлепок прогремел, как выстрел.

— Обвиняемый, вам приговор понятен?—спросило по протоколу правое лицо.

— Чего ж не понять?—паясничал Ким. Ах, нравилась ему постановка, ну ничего бы в ней менять не хотел! И не стал, кстати.—Когда стрелять начнете?

— Немедленно.—Среднее лицо взглянуло на ручные часы:—Время-то как бежит!.. К исполнению—и обедать... Вам, кстати, туда, граждане.—И указал Киму с Петром Ивановичем на выход.

И тут же, пугая сурового Петра Ивановича, стол, как и прежде, уплыл в темноту, а на смену ему из темноты явился, стройно топя каблуками, взвод... слово бы поточнее выбрать... дружинников, так?.. В кожаных, подобно Кимовой, куртках, только подлиннее, до колен, крест-накрест обвешанные подобно нынешним металлистам лентами тяжелых патронов, в кожаных же фуражках с примятым верхом и медными бляхами на околышах—вышли из синюшных кулис двадцать (Ким точно посчитал) исторических металлистов с историческими винтовками Мосина наперевес. Десять из них тесно окружили Петра Ивановича и повели его, несопротивляющегося, куда-то назад. Он только и успел, что крикнуть:

— Ким, что будет-то?

А Ким ему в ответ—залихватски:

— Расстреляют—и занавес.

Но и его самого повели, подталкивая примкнутыми штыками, вперед, в ту самую темноту, откуда только что появились дружинники-металлисты, и он пошел, не сопротивляясь, потому что нутром чувствовал приближение финала, и любопытно ему было: а что же это за финал такой придумают неведомые режиссеры?..

Хотя, будем честными, точила его смешная мыслишка: а вдруг патроны в винтовках окажутся н а с т о я щ и м и?..

И опять радист пустил в сцену звук: четкий стук колес о стыки, лихой свист ветра в открытом где-то окне. И уж совсем не по-театральному ветер этот ворвался на сцену, метко ударил Кима по лицу, рванул волосы...

Декорация изображала вагон-ресторан.

Но, не исключено, это был настоящий вагон-ресторан, поскольку (Ким-фантазер сие признавал) поезд тоже был настоящим, а ресторан Ким углядел из окна вагона, когда только начинал свое путешествие. (Красиво было бы написать: «свою Голгофу», потому что, похоже, минуты Кима сочтены...)

Пустых столиков Ким не заметил. Везде сидели и пили, сидели и ели, а еще обнимали дорожных подруг, а еще целовались взапас, а еще смолили табак, а еще выясняли отношения: ты меня уважаешь? я тебя уважаю? будем братьями! а если по роже? да ты у меня!.. да я у тебя!.. тише, мужики, не в пивной... Взвод (точнее полвзвода) грохотал по проходу: пятеро впереди, Ким с заложенными за спину руками (он читал, что подконвойные ходят именно т а к...), пятеро сзади—ать-два, ать-два, молча, грозно, неминуемо! Но никто кругом ничего и никого не замечал. Мимо Кима туго протиснулась потная официантка, прижимающая к грязно-белой груди (имеется в виду фартук) поднос с тарелками, на которых некрасиво корчились плохо прожаренные лангеты. «Ходят тут...»—пробормотала официантка. «Люба, заberi борщи!»—кричал из-за стойки мордатый раздатчик, а сама Люба, тоже официанточка, обсчитывала каких-то сомнительных клиентов—в кургузых пиджачках, в тельняшках, выглядывающих из-под грязных рубах, с желтыми фиксами в слюнявых ртах. Клиенты были пьяны в дупелину, хотя на столе громоздилась

батарея бутылок с лимонадными этикетками. Видать, лимонад был крепким, выдержанным, забористым... «Куда путь держим, парни?» — на ходу, продираясь между официанткой и чьим-то мочучим задом, спросил Ким. «В Светлое Будущее, куда ж еще, — ответил один из клиентов, сплюнул в тарелку. — Тут, кореш, все туда лыжи наворостили. А тебя никак под пули ведут?» «Точно!» — хохотнул Ким и оборвал смех, потому что идущий сзади дружинник больно кольнул его штыком в спину: «Не разговаривать!» «Куртку порвешь, гад», — не оборачиваясь, бросил Ким. «Не разговаривать!» А за соседним столиком гуляли мощно намазанные девчонки: помада от Кристиана Диора, тени от Эсте Лаудер, румяна от Сан-Суси, платица от Теда Лапидюса, прически от голубого паренька Володи из модного салончика на Олимпийском проспекте. Девоньки вкусно кушали шашлык, вкусно запивали лимонадом, вкусно перекуривали все это черными сигаретами «Мор», вкусно матерились: он, трам-та-ра-рам, кинул мне сто баков — и гуд бай! она, трам-та-ра-рам, поймала на финике трепачок! они, трам-та-ра-рам, вяжут всех, кого видят, гады!.. «Куда тебя?» — нежно спросила Кима крайняя девочка, длиненькая, тоненькая, с глазами-рыбками. «На расстрел», — ответил Ким, стараясь пощекотать девочку за ушком, на котором качались медные целебные кольца-колеса. «Меня тоже водили. Это не больно», — равнодушно ответила девчулька, отстраняясь, теряя к Киму всякий интерес, а конвойный опять ткнул штыком: «Не разговаривать!» «Да не коли же ты, блин!» — заорал Ким, а из-за следующего столика его ликующе окликнули: «Ким, бади, гребни к нам, тут есть чем побалдеть...» Ким взгляделся. За столиком и вправду балдели братья-металлисты, то ли настоящие, то ли ошивающиеся около, нормальные ребята в коже, в бамбошках, в цепях, при серьгах. А орал Киму, кстати, знакомый парнишка, то ли в МГУ лекции по научному атеизму вместе слушали, то ли в НТО ракету на Марс изобретали, то ли в ДК «хеви метал» на пах лудили. «Не могу, — ответил Ким. — Занят сейчас». «Пиф-паф, что ли? — возликовал знакомец. — Помнишь у Спрингстина: а-вау-вву-би-бап-а-ввау-эзу-джапм-па...» «Как же не помнить, — согласился Ким, — помню отлично. Там еще так было: и-чу-пчу, и-чу-пчу...» И весь стол немедленно подхватил знакомое из Спрингстина. А конвоиры совсем зажали Кима, потому что иначе не пройти было: кто-то пер навстречу, не обращая внимания на оцетинившиеся штыками винтовки Мосина, и официантка Люба, торопящаяся к мордатуму раздатчику, не исключено — сожителю и содержанту, толкалась и ругалась: «Совсем стыд потеряли... пришли расстреливать, так расстреливайте скорей, у нас план, у нас смена заканчивается...» Но железным дружинникам начхать было на официанткины причитания, они туго знали свое дело, они пришли сюда из тех свистящих годков, когда пуля знала точно, кого она не любит, как пел в наши уже дни склонный к временной ностальгии шансонье. Кого она не любит, утверждал он, в земле сырой лежит. И лежать Киму, нет сомнений, в сырой земле, вернее — на сырой земле, куда выбросят его молодой труп из тамбура, а поезд помчится дальше в Светлое Будущее, но уже без Кима помчится, и никто не вспомнит о нем, не уронит скупой слезы, Киму вдруг стало себя жалко. «Может, рвануть отсюда?» — мельком подумал он. Но тут же отогнал трусливую мысль, потому что за следующим столиком сидели его знакомцы — лысый, «Вся власть Советам» и ветеран Фесталыч, дули лимонад прямо из горла, закусывали шпротами в масле, частичком в томатном соусе и мойвой в собственном соку. Все они сделали вид, что не узнали Кима, лишь ветеран оторвался на миг от лимонада, спросил сурово у конвоиров: «Патроны не отсырели? Прицел не сбит?» — и, отвернувшись, начал рассказывать собутельникам, как он, молодой еще, палил в гадов-врагов-родного-отечества, и патроны у него всегда были сухими... А мадам в ресторане Ким не увидел. Не пришла мадам проводить опекаемого в последний путь, замечталась, наверное, закутулилась, государственные дела замучили. Да и зачем ей время терять? Она свое государственное дело сделала: привела любопытного Кима прямо к финальной сцене, к драматургической развязке... А конвой довел его до конца вагона, до стойки, за которой суетилась, обвешивал и обмеривал публику мордатый сожитель официантки Любы. «Взвод, стой!» — негромко сказал один из конвойных. И все остановились. И Ким остановился, потому что дальше идти было некуда: впере-

ди—стойка, сзади и с боков—винтовки Мосина. «Двое прикрывают фланги, — так же негромко продолжал конвойный, старшой, видать, у них, ладный такой, крепкий, на вид чуть постарше Кима. — Я держу выход, а семеро рассредоточиваются в цепь в середине вагона. Стрелять по команде «Пли!». И сам подался вбок, к двери, прикрывать вход и выход; а двое с винтовками развернули Кима лицом к жующей, гудящей, волнующейся массе, прислонили спиной к стойке, штыками с двух сторон подперли: чтоб, значит, не утек, стоял смирно, не возникал. А семеро—счастливое число!—пошли назад, раздвигая штыками дорогу в толпе, и вот уже добрались до середины вагона, где дурацкая полуарка делила его на две части, на две официантские сферы влияния, выстроились в цепь, прямо на лавки с ногами влезли, потеснив отдыхающих граждан, такими карающими ангелами вознеслись над толпой. А граждане, к слову, даже не чухнулись, ни черта граждане не заметили, как будто не человека собрались при них расстреливать, а цыпленка табака. И сквозь гул, гам и гомон легко прошел голос старшого: «Готовьсь!..» Семеро в центре вагона вскинули винтовки, уперлись прикладами в кожаные плечи. «Цельсь!..» Прижались бритыми щеками к потемневшим от времени, полированным ложам. На Кима глядели семь стволов, семь черных круглых винтовочных зрачков, глядели не шевелясь—крепкие руки были у семерых. И тут только Ким начал беспокоиться. Что-то уже не нравилась ему мизансцена, и реплики старшого восторга, как прежде, не вызывали. Что-то заняло, заохлодало у него в животе, будто в предчувствии опасности—не театральной, а вполне настоящей. Что ж, давно пора. Давно пора вспомнить, что жизнь все-таки не театр, что жить играючи не всегда удается. Вот сейчас пукнут в него из семи стволов—и фигец всем его театральным иллюзиям... «Постойте!»—закричал Ким. «Цельсь!»—повторил старшой. «Нет, погодите, не надо!»—Ким дернулся, но колкие штыки с флангов удержали его на месте, один даже прорвал плотную кожу «металлической» куртки. А ресторация на колесах катилась в Светлое Будущее, публика гуляла по буфету, радовалась жизни, как всегда, не замечая, что рядом кого-то приканчивают. «Не-е-е-ет!»—заорал Ким, пытаясь прорвать сытую плоть безразличия к своей замечательной особе. «Пли!»—сказал старшой. По-прежнему негромко и веско сказал короткое «Пли!» ладный вершитель ненужных судеб...

Вот и все. Был Ким, который не верил в то, что жизнь фантазмагоричнее театра, и нет Кима, потому что он в это, дурак, не верил. Без Кима теперь поедет-помчится в Светлое Будущее слишком специальный поезд. Впрочем, Ким и не хотел туда ехать, а хотел сойти на первой же остановке. Вот и повезло ему, вот и сойдет. Даже без остановки. Шутка.

И вдруг...

Можно зажечь и погасить свет на сцене и в зале, можно воспользоваться традиционным занавесом—на все воля режиссера. Главное—извечно емкое «и вдруг»...

— Это где это ты шляешься?—перекрывая упомянутые гул, гам и гомон, начисто забывая их прямо-таки мордасовско-зыкинским голосовым раздольем, прогремела такая любимая, такая родненькая, такая единственно-вовремя-приходящая Настасья Петровна, врываясь в вагон-ресторан, мощно шустря по проходу и расталкивая клиентов и официанток. Проносья мимо дружинников, рывком стащила одного, крайнего, с полки, и он грохнулся в проход, не ожидая такой каверзы, грохнулся и громко загремел об пол патронташем, винтовкой, сапогами и крепкой головой.

Не успел сказать «Пли!» старшой, почудилось это «Пли!» Киму, утробный (то есть возникший в животе) страх сильно поторопил события, подогнал их к логическому финалу, а финал, оказалось, еще не приспел.

— Настасья Петровна!—закричал Ким, протягивая к ней руки, как дитенок к маме.

— Полвека уж Настасья Петровна,—громогласно ворчала она, добираясь-таки до Кима, заботливо его отряхивая, приглаживая волосы, одергивая куртку.—Где тебя носит, стервец? Я заждалась, Танька извер-

телась, Верка гитару принесла, а тебя нет как нет. Ведь хороший, говорю, вроде парень и вот сумку же оставил, не взял, значит, вернется, не сбегит... Где это ты куртку разодрал?

Ким чуть не плакал. Металлический Ким — весь из себя деловой-расчетливый, весь творчески-непредсказуемый — непредсказуемо разнюнился и совсем не творчески ткнулся носом в жаркое пространство между двойным подбородком Настасьи и ее форменным воротничком.

— Это конвойный куртку порвал, — счастливо наябедничал Ким.

— Он? — удивилась Настасья Петровна. — Ты, что ли, ее покупал? — напустилась она на парня, а тот, оглядываясь на старшего, отступал, прикрываясь от Настасьи винтовкой Мосина. Но что той винтовка! Она перла на дружинника, как танк на пехотинца. — Ты откуда такой взялся? Ты почему по ресторанам шмонаешься? Из охраны? Вот и охраняй что положено, а куда не надо, не ходи, не ходи... — И стучала его кулаком по кожаной груди, вроде бы отталкивая от себя, вроде бы отгоняя, а Кима между тем не отпускала: ухватила за руку и тянула за собой. Дотолкала конвойного до старшего и, поскольку оба они загораживали выход из ресторана, отпустила на минутку Кима, схватила дружинников за кожаные шивороты и отбросила назад. Ким только успел посторониться, чтобы ему штыком в глаз не попали. — Совсем обнагтели, сволочи! С винтовками по вагонам ходят. Я ж говорила тебе: не верь людям, подлые они, вот и ты чуть не обманул, хорошо, я на все плюнула, Таньку на хозяйстве бросила — и за тобой. Еле нашла... — открыла дверь, вытащила Кима в тамбур, закрыла дверь.

(На этот раз стандартные вагонные манипуляции Кима проделала Настасья Петровна. Ну, ей-то они привычны, вся жизнь — от двери до двери.)

— Я не обманывал, — поднывал сзади донельзя счастливый Ким. — Я хотел вернуться, да в вашем поезде не знаешь, куда войдешь, где выйдешь...

— Это точно, — подтвердила Настасья, открывая очередную дверь очередного вагона. — Вот мы и дома! — И втокнула Кима в знакомое купе, где на него с укором взглянула уже причесанная, уже подчепуренная, уже давно готовая к хорошему пению Танька.

Она сидела на диванчике, гоняла чаек и, похоже, ничуть не беспокоилась о том, что их вагон беспричинно и невозможно перелетел с хвоста, с шестнадцатого номера, к тепловозу. А рядом, прислоненная к стенке, красовалась желтая шестиструнка, украшенная бантом, как кошка.

Беспричинно — вряд ли. В этом поезде на все есть своя причина, Ким сие давно понял. А что до невозможности, так тоже пора бы привыкнуть к игривым шуткам железнодорожного пространства-времени...

— Нашла? — об очевидном спросила Настасью сварливая Танька.

— Еле-еле, — отвечала Настасья, тяжело плюхаясь рядом с чаевничающей девицей. — Представляешь, они там в ресторане какие-то игры затеяли, да еще с ружьями, хулиганье, ряженые какие-то, орут, все перепилились, ножами машут, а наш стоит посреди — бле-едный, ну, прям сейчас упадет. Вовремя подоспела...

— Да уж, — только и сказал Ким. И все-таки не стерпел, спросил: — Чего это ваш вагон с места на место скачет? Был шестнадцатым, стал?..

— Как был шестнадцатым, так и остался, — ответила Настасья Петровна, с беспокойством взглянув на Кима: не перепил ли он часом с ряженым хулиганьем?

А Танька, похоже, играла в обиду, с Кимом принципиально не разговаривала, сосала карамельку.

— Все. Вопрос снят, — успокоился Ким.

Он и вправду успокоился. Ну, подумаешь, расстрелять его хотели! Так это когда было! А сейчас он вернулся в родное (в этом поезде — несомненно!) купе, к родным женщинам, чайку ему нальют, бутерброд с колбасой сварганят, спать уложат... Хотя нет, постойте, эта тихая программа рассчитана на продолжение поездки к Светлому Будущему, а продолжение в планы Кима не входит. К черту колбасу! В планы Кима входит са-авсем иное...

Ким не успел сформулировать для себя, что именно входит в его планы. С грохотом распахнулась дверь, и в вагон ворвались... кто бы вы

думали?.. конечно!.. добровольцы-строители во главе с Петром Ивановичем. Человек сто их было.. Ну, не сто, но не меньше пятнадцати, это уж точно... С гиканьем и свистом шуранули они по вагону, Петр Иванович епреди неся и боковым зрением заметил длинную фигуру Кима в купе проводников. Но, пока сигнал шел от глаза в мозг, а потом от мозга к ногам, Петр Иванович успел проскочить полвагона, там и затормозил (дошел-таки сигнал куда надо) и закричал оттуда:

— Ким, ты, что ли?

— Вряд ли, — не замедлил с ответом Ким. — Меня же кокнули.

— Не-ет, тебя не кокнули! — ликуя, сообщил Петр Иванович, продираясь назад сквозь толпу своих же (тоже резко затормозивших) подопечных. — Ты, я вижу, выкрутился, ты, я вижу, их всех натянул кое-куда...

Добрался до купе, бросился к Киму, облапил его неслабыми ручками — будто век не виделся, будто Ким и впрямь с того света в шестнадцатый вагон возвратился.

А ведь и впрямь с того света...

— Ты чего орешь? — не стерпела безобразия Настасья Петровна. — И топаете тут, как лоси, грязи нанесли — вона сколько. А ну, кыш!

— Не возникай, тетя, — сказал Петр Иванович, не выпуская Кима из суровых мужских объятий. — Я друга нашел, а ты меня позоришь по черному. Нехорошо.

— А орать хорошо? — успокаиваясь, для порядка добавила Настасья. — Нашел, так и обнимись тихонько, а не топай тут... А эти, с тобой, тоже друга нашли?

— А то! — загорланили комсомольцы. — Еще как! Сурово! Спрашиваешь, мамаша!..

Ким терпел объятия, сам себе удивлялся. Он этого Командира всего-ничего знает, даже не знает ни фига, а ведь рад ему. Впрочем, он сейчас, похоже, всему рад. Вон Танька мрачнее мрачного, а он опять рад. Подмигнул ей из-за широкого плеча Петра Ивановича.

— Петр Иванович, познакомься с девушкой. Хорошая девушка. Таней зовут. Рекомендую.

— Кто-то, между прочим, слезь обещал, — индифферентно сказала Танька. — Кому-то, между прочим, дефицитную гитару притаранили...

— Спою, — согласился Ким, выдираясь из объятий нового друга. — Сейчас выясним кое-что — и спою. — Деловой он был, Ким, ужас просто. — Настасья Петровна, остановки никакой не намечается?

— Не слыхала, — пожалала та плечами. — Указаний не поступало. Не должно быть вроде...

— Вы эту трассу знаете?

— Пока знакомая дорожка. А куда свернем — не ведаю.

— Дальше — меня не интересует, — отмахнулся Ким. — Я про сейчас. Если б мы не экспрессом шли, когда б остановились?

Все вокруг поутихло, образовали: человек делю задумал. Какое — потом объяснит. Настасья Петровна на часы посмотрела, в окно глянула.

— Минут через десять, верно. Станция «Большие Грязи».

— Емкое название, — улыбнулся Ким. — Подходящее... Вагоны с твоими орлами где? — это он уже Командира спросил.

— Этот наш, — ответил Командир. — И еще два сзади...

«Почему бы и нет, — подумал Ким, — ведь это мой спектакль, а мне удобно, чтоб они были сзади. Чтоб они были вместе, чтоб Настасья и Танька тоже были в них. Хотя это бред... это бред... это бред...» — повторял он про себя, словно решаясь на что-то. На преступление? На подвиг? История рассудит.

И ведь решил. Шагнул в коридор — прямо к фотографии с Красной площадью, мельком глянул на нее — хоть здесь все на месте, ничего с пространством-временем не напутано: вон Мавзолей, вон Спасская, вон часы на ней, полдесятого показывают. Посмотрел на свои электронные — забавное совпадение: на экранчике серели цифры: 21.30...

К добру, подумал он. Повернулся, резко дернул стоп-кран.

Вскормленный калорийной системой Станиславского, Ким знал точно: если в первом действии на сцене торчит опломбированный стоп-кран, то в последнем пломба должна быть сорвана.

Вагон рванулся вперед, срываясь с колесных осей, а те не пустили его, жестко погасили инерцию, и сами с омерзительным скрежетом и визгом поволоклись по рельсам, намертво зажатые не то тормозом Матросова, не то тормозом Вестингауза, Ким точно не помнил. Он повалился на Настасью Петровну. Петр Иванович грохнулся в объятия Таньки. А комсомольцы попадали друг на друга прямо в коридоре.

— Ты что сделал, оглоед?—заорала из-под Кима вконец перепуганная Настасья, перепуганная происшедшим и теми служебными неприятностями, которые оно сулило.

— Что хотел, то и сделал,—с ходу отрезал Ким, вскакивая, хватая за плечо Командира, который подниматься не спешил.—За мной!

— Ты куда?— успел спросить Командир.

Но Кима уже не было. Он мгновенно оказался в тамбуре, пошуровал в двери треугольным ключом, предусмотрительно прихваченным со стола в купе, отпер ее и спрыгнул на насыпь.

— Ты куда?—повторил Командир, появившийся на площадке.

— Никуда. Ко мне давай.

Состав стоял посреди какого-то поля, похоже пшеничного. Но, не исключено, и ржаного: Ким не слишком разбирался в злаковых культурах, у них в институте хорошо знали только картошку. Шестнадцатый вагон в новой мизансцене оказался на четырнадцатом месте. Сзади него мертво встали еще два вагона с добровольцами. Добровольцы сыпались из всех трех и бежали к Командиру с дикими воплями:

— Что случилось?.. Почему стоим?.. Авария?

— Что случилось?—спросил у Кима Петр Иванович, и в голосе его псевдометаллист Ким уловил некий тяжелый металл: мол, хоть ты и спасся от смерти, хоть тебе сейчас многое простительно, за дурачка меня держать не стоит.

— Иваныч, милый,—взмолился Ким,—я тебе потом все объясню. Попозже. Времени совершенно нет!.. Придержи своих. Ну, отведи их в сторону. Ну, митинг какой-нибудь организуй. И женщин на себя возьми, а?

Он не видел, что принялся делать Петр Иванович: может, действительно митинг организовал или в надвигающейся темноте вывел бойцов... на что?.. предположим, на корчевание сорняков в придорожном культурном поле. Не интересовало это Кима: не мешают, не дергают—и ладно.

Ким присел на корточки между бывшим шестнадцатым вагоном и тем, что по ходу впереди. Прикинул: как их расцепить?.. В каком-то отечественном боевике киносупермен на полном ходу тянул на себя рычаг... Какой рычаг?.. Вот этот рычаг... Ну-ка, на себя его, на себя... Подается... Еще чуть-чуть... Ага, разошлись литавры... Неужто все?.. Нет, не все. Что это натянулось, что за кишка?.. И не кишка вовсе, а тормозной шланг, понимать надо!.. Ножом его, что ли?.. Не надо ножом, вот как просто он соединен... Повернули... Что шипит?..

Ким вынырнул из-под вагона. Вовремя! Вдоль насыпи целеустремленно шел мужчина в железнодорожной форме— тот самый, пожалуй, что давеча сидел в Веркином купе и, кстати, послал Кима с Командиром на финальную сцену суда.

— Кто дернул стоп-кран?—грозно осведомился мужчина, останавливаясь и выглядывая возможных нарушителей.

Добровольцы молчали, кореша не выдавали, сгрудились у вагона и—молодцы!—плотно затерли в толкучке Настасью Петровну и Таньку. Те, видел Ким, рвались на авансцену, явно хотели пообщаться с мужичиной, который, не исключено, являлся их непосредственным бригадиром, хотели, конечно, выгородить Кима, взять вину на себя.

Но Киму это не требовалось.

— Я дернул,—сказал он не без гордости.

— Зачем?—бригадир изумился столь скоростной честности.

— Нечаянно,—соврал Ким, преданно глядя в мрачные глаза бригадира.—Нес чай, вагон качнуло, я схватился, оказалось—стоп-кран. Готов понести любое наказание.

Бригадир с сомнением оглядел нарушителя. Туго думал: что с него взять, с дурачка?

— Придется составлять акт,—безнадежно вздохнув, сказал он.

Очень ему этого не хотелось. Составлять акт—значит надолго са-

диться за качавшийся стол, значит трудно писать, то и дело вспоминая обрыдлую грамматику, значит терять время и ничего взамен не получить.

Интересно бы знать, подумал Ким, бригадир этот из с в о р ы или настоящий? Судя по его мучительным сомнениям — настоящий. Был бы из своры, не усомнился бы, достал бы наган и пальнул нарушителю в лоб.

— Я готов заплатить любой штраф, — пришел ему на помощь Ким.

— Да? — заинтересовался бригадир. Помолчал, прикидывая. Отре- зал: — Десять рублей!

— Согласен. — Ким обернулся к добровольцам, поискал глазами Командира. — Ребята, выручайте...

Добрый десяток рук с зажатými пятерками, трешками, десятками протянулся к нему. Ким взял чью-то красненькую, отдал бригадиру. Тот аккуратно сложил денежку, спрятал в нагрудный карман.

— За квитанцией зайдите ко мне в девятый.

— Всенепременно, — заверил Ким.

— По вагонам! — приказал бригадир и пошел прочь — к своему девятому, который — кто знает! — был сейчас третьим или седьмым.

— По вагонам, по вагонам! — заторопил Ким добровольцев, Петра Ивановича подтолкнул, Таньку по попе шлепнул, Настасью Петровну на ступеньку подсадил.

Тепловоз трижды свистнул, предупреждая.

— Возьми у меня десятку, отдай, у кого взял, — сказала Танька.

Она, значит, решила, что пусть лучше он ей будет должен. Вроде как покупала. В другой раз Ким непременно бы похохмил на этот счет, а сейчас только и кивнул рассеянно:

— Спасибо...

Он не пошел со всеми в купе, задержался в тамбуре, смотрел в грязно-серое стекло межвагонной двери. Ночь спустилась на мир, как занавес, и неторопливо, будто нехотя, отплывал-отчаливал за этот занавес вагон, ставший теперь последним... Кто в нем? Лиса Алиса, мадам Вонг? Товарищи Большие Начальники? Охранники — бравы ребяташки? Какая, в сущности, разница!.. Железнодорожное полотно впереди изгибалось, и Ким видел весь состав (минус три вагона), который, набирая скорость, парадно сверкая окнами, уверенно катил в ночь. То есть не в ночь, конечно, а в Светлое Будущее... Без Кима катил. И без комсомольцев-добровольцев-строителей-монтажников, которым это Светлое Будущее назначено возводить... Парадокс? Никакого парадокса! Зачем, сами подумайте, Большим Начальникам в о з в о д и м о е Светлое Будущее? Что там мадам говорила: им символ нужен. А оглоеды Петра Ивановича, поднатужившись, вдруг да переведут символ в конкретику? Что тогда делать прикажете, куда стремиться, куда народ стремить?.. Да никуда не стремить, не гонять народ с места на место, не обкладывать флагами, то есть флажками, не травить егерями! Дайте остановиться, мать вашу... Какая, сказала Настасья, станция ожидается? Большие Грязи, так?..

Ким прыгнул на насыпь, спустился по ней, оскользясь на сыпучем гравии, сел у кромки поля, сломал колосок, понюхал: чем-то он пахнул, чем-то вкусным, чем-то знакомым, лень вспоминать было. Добровольцы тоже сигали с площадок, медленно стягивались поближе к Киму — непривычно тихие, вроде даже испуганные. Танька тоже протолкалась, встала столбиком, прижимая гитару к животу. Петь она собралась, отдыхать решила, а Ким ей подлянку кинул. Что теперь будет?.. И Настасья Петровна за ней маячила — с тем же риторическим вопросом в круглых глазах. И все странно молчали, будто сил у них не осталось, будто все нужные слова застряли в глотках, будто суперделовой Ким делом своим лихим и оглушил их, оглушил, сбил с ног, с катушек, с толку, с панталыку...

— Что притихли, артисты? — довольно усмехнулся Ким. — Одни остались? Некому за веревочки дергать? Боязно? — Помолчал, добавил непонятно, но гордо: — А финал-то у спектакля вполне счастливый, верно?

Кому непонятно, а кому и понятно. Большие Грязи, говорите?.. Свое оно для ассенизации.

Полночная феерия

* * *

Час шестьдесят частиц натикал,
а слушателей было двое
на дальней улочке, на тихой,
между Ливаном и Литвою.

Никто не понимал момента,
который врезался назло им
под панцирь золотой монеты
и укрывался слой за слоем.

Там различались только тени,
а лица прятались за ними,
как пучеглазые растенья
за тиной плесени в заливе.

В окно летели папиросы,
и задыхались под листвою
два недокуренных вопроса
между Ливаном и Литвою.

* * *

Лето в селе, а точнее — ночь
звезд, разгоревшихся всласть.
Ночь заменила день точь-в-точь,
как власть заменяет власть.

В этой деревне уходят спать,
полночь опередив.
Если июнь — поднимаются в пять,
если декабрь — к девяти.

Сонной деревней сквозят сельдерей
и мята — долог их путь.
И около окон и возле дверей
сядут они отдохнуть.

Ночь беспросветна, когда не ждешь
ничего, кроме сна и крыс.
Деревенская ночь — это звездный
дождь,
не задевающий крыш.

* * *

Ночь прижимает ладонью своей горизонт.
Солнца фрагмент затухает, как киноэкран.
Вырвался ветер и начинает разгон.
Эта игра существует для нас, как игра
для малышей несмышленных — «в слепого кота»,
для стариков — в слепоту без надежды на день.
Если ты выйдешь на улицу, зря не гадай,
что изменилось в измаянной сути людей.
Чувствуешь ветер и в трении с ветром горишь.
Тень укорочена до измеренья подошв.
Сколько секретов хранится под сводами крыш,
сколько голов не остудит нечаянный дождь.
Ночь ни о чем... Начинается новый сюжет:
рописи звезд на границе ума и души.
Мир изменяется не потому, что уже
некуда нам — обитателям мира — спешить,
просто идет наполнение таких тайников,
где никогда не бывала чужая рука,
просто душа твоя на перекрестке веков
дышит причастностью, словно ручьями река.

* * *

Я наполняюсь пустотой
и выдыхаю дым.
Не торопи меня, постой,
позволь быть молодым

на молодость, на крепкий сон,
на столь же крепкий чай.
Я буду в чистый унисон
с бессонницей звучать

еще денек, один, другой,
а после — хоть трава...
Я в три погибели дугой
согнусь, сложу права

про то, что отцвели сады, —
торчат пучками стрел;
про то, что был я молодым,
что все-таки успел.

* * *

Я уже понимаю старость лучше, чем детство.
Наступает осень, и чувствую — здесь я в своей тарелке.
И когда кто-то мне говорит по ошибке: «Действуй!» —
я смотрю на часы, и меня утешают стрелки.

Я старею одновременно со всеми теми,
кто в пути или в море и стрелок совсем не видит.
Пусть мы в разных пространствах, но мы из единой темы
и одной во времени тесно связаны нитью.

И поэтому, если мне сегодня так тошно,
то мое состоянье охватит все поколение.
Это жизнь такая, и в ней происходит то, что
не зависит от лени и от людских стремлений.

Часы

Часы показали, что ночь идет
по своим глубинным кругам.
Уснул опоздавший, уснул и тот,
кто время прибрал к рукам.

часы продвигались дальше, и ход
их заполнял объем

пространства, ушедшего в ночь...
И тут

Все выглядит чистым во сне.
И хоть пахло едой и тряпьем,

особый нужен был взгляд:
ночь показала: часы идут,
вполне возможно, назад.

* * *

Вот и ветер подул с лимана
и гуляет соленым дождь.
Я сегодня — ни много ни мало —
а прощаюсь с любовью долгой.

есть причин, но себе ответа
настоящего не отыщешь.

Так совпало: любовь на ветер
поменялась. И вроде тыщи

Только ветру осталось дунуть,
только телу от ветра вздрогнуть.
Ничего теперь не придумать,
вспоминая любовь подробно.

г. Одесса.

Два белых леса

РАССКАЗ

Меня тогда только что избрали секретарем райкома комсомола. Я сидела одна в большом, холодном, темном кабинете, слышала в соседних комнатах голоса райкомовцев, вроде бы продолжавших свои обычные дела, в действительности же, была я уверена, ждали они и приглядывались, с чего я начну. Но этого я и сама не знала. Не то чтобы работы не было — ее было невпроворот. Каждый день приходили постановления, выписки, решения, требующие срочной организации кружков политпросвещения, молодежных бригад и звеньев, срочных отчетов и докладных, срочных воскресников. И еще, почти ежедневно являлись уполномоченные то по сбору металлолома, то по сдаче макулатуры, то еще по чему-нибудь и тоже требовали срочного содействия, ссылаясь на соответствующие инструкции и постановления. Времени для всех этих мероприятий в природе просто не существовало.

Давний работник райкома, инструктор Смородинов, когда я призывала его на совет и помощь, охотно сортировал «дела».

— Вот это,— деликатно постукивал он по одному из «спущенных сверху» решений,— это нужно в первую очередь. Вот это, Андреевна (деликатное постукивание по другой бумаге), поручи Екатерине Батьковне, оно целиком по ее части. Это — мне. А по этому вот сходи в райком, нам без партийной помощи тут и соваться нечего. Об этом пусть Маша позвонит, а еще лучше — отпечатать и разослать по организациям, сами не маленькие, справятся.

— Григорич, а это как же? Здесь же срок указан — месяц назад.

— Месяц назад ты была? Не было тебя. Если очень нужно — напомнят. Сортировке он обучал здорово. Но разве для этого была я здесь? И, как алхимик «философский камень», искала я «решающее звено».

Секретарь райкома партии по идеологии Малахова Алевтина Алексеевна, с которой советовалась я по этому «звену», улыбалась ободряюще:

— Ищи-ищи! Найдешь! Повертись, пораскинешь мыслями — найдешь. Ничего, разберешься! А кому легко? Что ж тут попишешь — дело делать надо.

— Кабы дело! — сокрушалась я. — А то иногда кажется — в словах утонушь.

— У партийного работника слово делом делается.

— Как у господ бога? — позволяла я себе пошутить, хотя и с почтением.

— Потруднее, пожалуй что. — И советовала: — Когда где будешь ездить по своим комсомольским делам, обязательно, кроме всего прочего, проводи беседы, лекции. Подготовь какую-нибудь тему, полистай разработки — об Островском, о мужестве, например. Ну, сама посмотри. Говорить ты умеешь — это все на общее дело работать станет.

Беседовать пришлось, однако, раньше, чем подготовилась. Я еще и трех недель не работала, когда вызвала меня срочно к себе Малахова. Рассказала вкратце, что в большом селе Ямы после ссоры с братом повесилась в сарайчике одиннадцатилетняя девочка — со зла, впопыхах даже дверь за собой не прикрыла. Но брат не хватился сразу, а потом уже поздно было. Я моргала растерянно.

— За такие истории, — объяснила мне Алевтина Алексеевна, — учителя с работы вылетают, секретарям комсомольским, в том числе и райкомовским, выговоры навешивают.

— Да я-то тут при чем? — поразилась я.

— Ты за всех — до единого — комсомольцев и пионеров в ответе. — И по-

дытожила: — Короче, надо выезжать в Ямы, вообще в этот куст — объехать школы, поговорить с ребятами.

— О чем говорить? О вреде самоубийства?

— Наверное. Об ответственности. О коммунизме. — И незаметно перешла на официальное «вы»: — Сегодня же выезжайте.

— А в райкоме как? — уже без особой надежды возразила я. — Дел ведь много срочных.

— Справятся без вас, как до вас справлялись. Всё! — закончила Малахова разговор, прижав ладони к столу с неистребимой и в старости кокетливостью двуликого женского движения — столь же решительного, сколь и мягкого, замедленного в изогнутом движении пальцев.

На крыльце я с неприязнью поглядела на ветреное, в облаках, небо, на пожухлую от ночных заморозков траву.

«Кошмар! — твердила я себе, пока шла к переезду узнать, когда будет попутная машина в Ямы. — Просто кошмар! Погибла девочка — и как, что стану я говорить? «Дети, не надо вешаться, это нехорошо»?

Машина из Ям, сказали мне, отправится обратно часа через два-три.

Дома, у тетки Клавди, я принялась быстренько собирать свой походный саквояж — попросту говоря, обыкновенную хозяйственную сумку. Портфелей в районе не любили, как не уважали и накрашенные губы или маникюр. Завивка — единственно, чем разрешалось приличной женщине или девице подправить свою внешность. Ну, еще брови выщипать и покрасить. Таков был стиль. Раньше я слегка грешила против него. Теперь уже нельзя. Как говорила Алевтина Алексеевна, «комсомольский руководитель не имеет права нарушать какие бы то ни было общественные приличия — репутация должна быть, как стеклышко».

Сбиралась, а сама уже лихорадочно прикидывала: о чем же говорить все-таки? Маяковский? Конечно, «На смерть Есенина». Память у меня была хорошая, раньше вроде бы и ненадобная, разве что для экзаменов. И теперь строчки Маяковского шли в памяти сплошняком, и я перебирала их, примеряя для своей беседы, но все как-то вязло, не подходило. «В этой жизни помереть не трудно...» А как в нашей жизни? Малахова говорила, что жила девочка с братом в нормальной семье, отец не пил, мать не гуляла, небедная семья, нескандальная... «Умер звонкий забулдыга-подмастерье». Но мы-то, скажут, не поэты. Да вот еще — сам Маяковский покончил с собой. Но все равно, конечно, Маяковский. А еще? Всплывали и другие стихи, других поэтов, но тоже все неподходящее. «Он мертв, и он не скажет. Я жив, и я молчу». И почему-то стояли передо мною Сизиф, который просит смерти, и Гамлет, у которого смерть так близка, что он хотел бы ее разглядеть заранее.

Пришла из школы Алка, десятилетняя внучка хозяев. Забавная была девочка — развесистогубая, сфероглазая. И красных губ, и голубого белка глаз было слишком много, а волосы пряменько-реденькие. Она уже знала о слу-чае в Ямах, скучливо и мрачно расспрашивала.

Тетка Клавдя собрала обед. И тут, за столом, Алка «выдала»:

— Вот получу двойку по контрольной — тоже повешусь.

Тетка Клавдя даже чугуном пристукнула об стол:

— Да ты что — грех какой!

— А почему, тетя Клава, такой уж грех? — тут же ухватилась я.

— Самоубивцу, — строго сказала хозяйка, — даже в освященной ограде не хоронят.

Ну да, это я знала: «И велел где-нибудь закопать».

— Убийцу, — спросила я, — тоже не хоронят в ограде?

— Убивец, если спокается, может грех отмолить. Самоубивец уже не спокается.

— А если человек безнадежно болен?

— Все в воле божьей.

Из-за стола я встала, вспоминая Гамлета: «О, если бы предвечный не занес в грехи самоубийства». И опять в густых размышлениях вязла я, нащупывая твердое, убедительное, несомненное и не в силах нащупать. «Это время трудновато для пера». Трудноватое время. Как говорит, вздыхая, Алка: «Неужели и мы когда-нибудь доживем, что у нас элктрические утюги будут?» Интересно, зачем ей именно утюги? Так, от неопределенной тоски, вернее всего. От неопределенной мечтательности. Впрочем, не нужно отвлекаться. О трудностях сказать, конечно, обязательно. Но ведь не от них покончила

с собою девочка — по глупости, от плохого характера. «Надо вырвать радость у грядущих дней». Будущее не торопится, так, наверное? Но... вот я, к примеру, хотела бы положить жизнь на то, чтобы поторопить грядущее? Конфисковать немного радости у богатенького грядущего?

Должно, должно было существовать точное доказательство бессмысленной преступности самоубийства. И не было.

И снова Гамлет и Сизиф. Сизиф, у которого нет смерти. И Гамлет, у которого все стало смертью. Тень смерти легла на все и на всех. Он чувствует, как мертвец все вокруг. У Гамлета дни сочтены. У Сизифа счет дней потерял: все та же гора и тот же камень — его не сточили века. Он молит смерти, Сизиф. А тетка Клавдия ему: «Да ты что — грех-то какой!»

Оскользясь когтями на масляно-красном полу, пронесся за какой-то бумажкой, которую сам же и гнал, дымчато-рыжий котенок, и я испуганно вспомнила, что надо спешить, сунула в сумку блокнот, сунула на всякий случай и «спущенную» нам из обкома разработку об Островском, хотя даже и взглянуть-то в нее не успела.

Пока я бежала к поезду, остались только поспешание и опаска опоздать. Но ямовский грузовичок был на месте, даже и шофер еще не пришел. Правда, кузов уже сплошь был завален мебелью, ведрами, вещами. Где можно и где почти уже невозможно, мостились люди. Был пуст только диван, возвышавшийся над кабиной. Конечно, подумала я, на нем негде будет укрыться от встречного ветра, но это все же место, да еще мягкое. Наступая на ноги и даже на колени угнездившихся кто как людей, пробралась я на это мягкое место, приладила сумку, огляделась, отдышалась и обрадовалась свежести дня под низкими темными тучами, обрадовалась деловым посвистам товарняка, маневрирующего у поезда. Терпеливо ожидающие шофера люди, развязав узелки с едой, закусывали, вели неторопливые разговоры. С одной стороны рассказывала о сыне женщина:

— Уж как он обмирал об ей!

С другой стороны философствовал дяденька:

— Так вот век и работаем: на живот да на одежду!

И, как это часто случается, когда из духоты дома, из духоты усилия и самокружения мысли выходишь на воздух, на люди, оставляя в покое мысли, а они вдруг со счастливой непринужденностью возвращаются к тебе обновленные, я вдруг поняла отчетливо: да ведь эти люди и есть Сизиф! Что Сизиф — Сизиф пигмей перед ними! Из века в век вкатывают они камень на гору: рожают, растят детей, возделывают землю и мозг — и вот войны, голод, мор, жестокость, смерть и унижение скатывают вниз этот камень, этот комок жизни, души и мысли. И снова люди, обливаясь кровавым потом, тянут, подпирая ободранными плечами, вкатывают в гору жизнь. Сколько раз втащил камень на гору Сизиф? Сколько раз в день он его вкатывает на гору? Два, три раза? Сколько тысячелетий? Пять? Пусть десять миллионов раз втащил глыбу на гору Сизиф. И все-таки он пигмей перед миллионами этих людей, перед миллионами их лет и усилий. «Век на живот да на одежду». От амебы через миллиардолетия — роды родов, круги кругов, миллиарды лет до этой девочки, — и умереть, предать усилия рода. Тебе, родив тебя, доверился весь род твой — и прошлые поколения, и будущие, — и вот оборвана нить, прервалась связь времен. «Да ты что — грех какой!» — это ведь их, этих Сизифов вера и завет: самоубийство — грех...

Немолодой сумрачный шофер подошел к кузову и окинул его внимательным взглядом. Несколькое дольше задержал он свой взгляд на мне. Довольная своими мыслями, я крикнула лихо:

— Не бойтесь, не замерзну!

Ничего не ответив, он полез в кабину.

На первом же ухабе я поняла, что он беспокоился не о здоровье — о самой жизни моей: в кузове люди только слегка качнулись, я же, подкинутая новенькими пружинами дивана, взвилась в небо. Кто-то подхватил мою сумку, кто-то ухватил за ногу — и с раскрытым ртом, с выпученными глазами я вернулась на свое одинокое коварное ложе. Грузовичок набирал ход, ветер свистел вовсю, но мне было жарко. Я цеплялась за спинку дивана, умоляла попутчиков крепче держать меня, но то и дело теряла вес, взмывала, беспомощная, в воздух. Наконец, не выдержала, попросила, чтобы потеснились в кузове и приняли там меня. Попробовала сидеть на чьей-то выварке — зад от-

била. Приладилась опять, вцепившись в кабину,— ветер свистел такой, что слезы из глаз выдавливал.

Кто бы поверил, что все это вместе продолжалось какие-нибудь полчаса! Слеза с машины я на дрожащих, слабых ногах. Озябшими, трясущимися пальцами привела себя кое-как в порядок, подошла к шоферу поблагодарить все же.

Шофер, взглянув на меня, улыбнулся — улыбка у него оказалась мягкая, добродушная.

— Не стоит благодарности,— сказал он.— На здоровьечко!

В ожидании директора сидела я в учительской вдвоем с пожилой, лет сорока пяти, преподавательницей литературы. Анна Георгиевна ее звали. Была она суховатая, со строгой простотой одетая и причесанная. Такие, представлялось мне, обязательно курят. Но нет, она не курила. Говорила же увлеченно и резко, не без кокетливости резко.

— Вздорная была девочка, упрямая,— говорила Анна Георгиевна.— Знаете, из характеров, что и тонуть будет, а пальцами над водой стричь: «Стрижено, стрижено!»

На минуту за этим «стрижено» мелькнуло для меня что-то живое, родственное даже — я ведь тоже подростком упряма была до самозабвения. На минуту я как бы угадала состояние девочки перед тем, как вбежала она в сарай. Вспомнила, как это бывает: когда в глазах темно и никакое другое чувство уже не властно. Одно только яростное, ненавидящее. Да, точно, такую головой под воду, она все пальцами стричь над водой будет. С кем я в тот день ни говорила, все удивлялись ничтожности повода, пустячности препирательства ее с братом, но я-то вспомнила, по себе вспомнила, что упрямство потому и необъяснимо, что уже за чертою разума. Вспомнила, угадала на минуту — и прошло.

— Внучка моей хозяйки,— сказала я,— тоже грозитя повеситься, если контрольную на двойку напишет.

— Вот-вот,— подхватила Анна Георгиевна,— мои остолопки тоже: «Повешусь!», «Утоплюсь!» А я им: «Давайте-давайте, вешайтесь, чего там долго мудрить! В жизни-то еще ого-го сколько попотеть придется. А лень ваша раньше вас родилась. Валяйте—вешайтесь, топитесь!» Директриса: «Ах, ах, как можно, что вы такое говорите!» А я уверена, что только так с ними и надо. Поменьше ужаса, трагедий вокруг глупости — оно больше толку будет. «Бед-ный ребенок!» Вот-вот, говорю, давайте, создавайте ореол мученичества, героизма — на это они быстро клонут. На дело-то их не сразу подвигнешь. А где мы подвигнем, там колхознички наоборот постараются. Летом наши ребята в колхозе работают. Я как-то пришла позже, дети меня еще не видели, посмотрела из-за кустов: прекрасно работают ребята. А бабы им кричат: «Бросьте вы, ребята, надрываться-та. Нас...» Вы понимаете? Нас..., наплевать — вот философия, которую выносят наши ребята из дому. Школьники готовы горы своротить, они выходят на работу в семь, бабы — в одиннадцать. «Бросьте вы! — орут.— Наплявать!» Вот она, главная наша трагедия! Сводят на нет всю нашу работу. А еще — студенты, которых присылают к нам из города летом на работу. «Эй ты, деревня, валенок, лапоть, скука тут у вас зеленая». А я, грешница, не по-ни-маю, что тут такого ужасного, что это такое — провинция. Я приеду в Москву, в Ленинград, все театры обегу, все музеи, на всех выставках побываю. Спрашиваю свою приятельницу: «Ты там была? Это видела?» «Нет, некогда». «Так в чем же,— говорю,— твоя столичность? В теплом клозете да в Елисейском магазине?» Бывала я и на уроках в городских школах. Сказать, что там уровень выше, так нет. Кто у нас хочет учиться, те и по конкурсам в городе прекрасно проходят, и занимаются нормально, и работают. Ну а кто лодырничает, кому начхать и наплевать... У него, лодыря, кругом завал, а он на пустыре в футбол гоняет. Мать в три погибели под коромыслом согнулась, а он, оболтус, который за парту не мститя, мячик, понимаете ли, катает. «Да оболтус же ты этакий, чего же ты шляешься, спрашивается?» «А я, Анна Георгиевна, все равно не успею. У меня все равно не получится». Да ведь не твое это дело, получится или не получится,— ты делай, ты работай. Знаешь ли ты, балабан, как две лягушки в молоко попали? Лягушки или, может быть, мыши. Наверное, мыши все-таки, для них ведь жидкость — смерть. «А как? — спрашивает мой оболтус.— Расскажите, Анна Георгиевна». Знает, конечно, от меня же слышал, небось, но,

хитрец великий, от своей особы меня отвлекает, подлизывается вниманием. А вот так, говорю, дорогой мой ученичок. Одна говорит: «Зачем биться — все одно пропадать» — и вытянула лапки. А другая билась-билась, брыкалась-брыкалась, чувствует — лапки-то во что-то уперлись, из молока-то масло обилось. Не в час, говорю, и не в два, а все же смолотила для себя опору...

Эта мышь, помню, чрезвычайно заняла мои мысли. Мышь или, может, лягушка. Непременно, думала я, надо о ней вспомнить в моей беседе с ребятами. Прямо со ссылкой на Анну Георгиевну: слышали, мол, историю с мышками? Так вот, сдаваться нельзя, усилия образуют твердь там, где до этого была только хлябь. И Фауст: «Прочь отвести гнилой воды застой — вот высший и последний подвиг мой». А что? Мышь и Фауст, Есенин и Маяковский, Гамлет и Сизиф.

«Понятно ли, — спрашиваю, — балбес, о чем байка?» — услышала я снова голос учительницы. — «У мышки, — отвечает мой балбес, — лапки ловкие». «А у тебя, — стучу по его твердому лбу, — ум неповоротлив».

Подошедший мужчина-завуч подхватил:

— Точно так, Анна Георгиевна. Ты в него долбишь-долбишь, а он, — завуч постучал о подоконник, и я невольно улыбнулась мысли, что сегодня что-то все, подкрепляя свою мысль, нажимают, стучат о столы, подоконники, — с него все как с гуся вода. И опять же ты виноват: не сумел! подхода нет! Ругаю я бабку теперь. Хотел же я пойти в рабочие. У меня и сейчас душа к этому расположена. Милое дело — плотничать. А теперь вот учительствуй, вдавливай в него разумное, доброе, вечное. — Завуч снова надавил на подоконник. — Так ведь подоконник подавишь, подавишь, да он и стронется, а ученичка — нет, не сдвинешь с места. И даже если двадцать лет спустя встретишь его, никогда не скажешь, почему он плох или хорош, ты ли в нем посеял это самое «разумное» или уж чего в нем есть от природы — то и все.

Анна Георгиевна, которая неожиданной поддержке завуча почему-то не обрадовалась — это было видно по ее отводимому от завуча взгляду, по неприятному лицу, — вдруг возразила:

— Ай, бросьте! Всегда знаешь, где ты сумел, а где напортал.

И, выходя, проворчала:

— Руководитель глупил, так сами бы сообразили, что с деревом проще, чем с детьми.

— Хороший педагог, но трудный характер, — сказал вслед ей завуч.

Выступать мне определили на другой день на втором или третьем уроке. Брала меня к себе ночевать директор школы — в районе всегда командировочных разбирали по домам те, к кому они были командированы. Но у меня тут были знакомые отец и мать моей сотрудницы, и я отправилась к ним.

За столом, конечно, опять о девочке говорили.

— Горей не видели — ото и чудят, — говорила с сердцем хозяйка.

— Как коло нас смерть полжизни ходила, так мы не к ней, а от ней бежали, — вторил ей муж, горбоносый высокий старик Мокеич. — Наши Ямы в гражданскую войну комиссаров изничтожили и от красных оборонялись. Да как сказать, почему. Комиссары-то присланные были и бога хаяли. Сейчас-то я и сам не верю ни в бога, ни в черта...

— Тьфу на тебя! — рассердилась хозяйка.

— Ни в бога, ни в черта, хотя под бомбежками и крестился, и молился. А тогда... Да и заразительное это дело, когда сход решит. Опять же комиссаров повесили, изнущались над ними. Хоть из нашего семейства никто не вешал, не изнущался, но и не мешали же. На сходе все одно полагали: если красные Ямы возьмут, должны село спалить к чертовой бабушке по всем правилам. И легли мы в круговую оборону. Сутки пролежали серьезно — бабы нам исть носили. Но дом же рядом. А дома жены. Да и спать на земле удобства мало. Вот и стали по одному домой ночевать тянуться. Тут красные и нагрянули. Мы с братьями в исподнем из дому выскочили. Старшой не успел — зарубили его. А мы в дальней деревне у сродственников отсиделись. Но работать-то дома надо, детям пить-исть надобно — мы и вернулись.

— Не забрали?

— Не всех же забирать! Да и самое зло уже схлынуло. Тоже и красные позверствовали в отместку. Хоть правильная идея, а люди те ж самые. А после того и я уже в красных был — по мобилизации. Да и сам уже стал к Советской власти склоняться.

— Раскулачивание в Ямах было?

— Да было — на смех курам. Какие у нас кулаки? У нас и помещиков-то, считай, крепких не было. Как и сейчас колхозов крепких нету. Кто к шоссейке поближе, ко льнозаводу, те только и богатеют. А от нас пока тресту доведут, она из рублей в копейки оборотилась. Вот наш колхоз, к примеру, после укрупнения миллионер, а что с того? У меня, скажем, в кармане десятка, у тебя, у третьего, у четвертого, а взять нас всех вместе — вот мы и миллионер. А только в кармане как она была, десятка, так и есть. Тут нужнее смотреть, какой доход на гектар, да не в поле считать, а в мешке. А мы знай одно: то укрупнимся, то разукрупнимся, вроде этих животных, которые то так, то эдак садились, чтобы лучше песню сыграть.

Жена вмешалась:

— Эка ты, старик, разголчился! Ино болтнешь — не воротишь. Я не про тебя, доча. Но он и со всяким то — вот балаболит, вот балаболит!

— А меня, старуха, разжаловать некуда. Нет мне чего бояться. Ну, вилы у меня отымут — лопату дадут. Колхознику, мать, бояться нет чего. Пускай лошадь по кругу на водокачке слепая ходит, а нам глаза прикрывать, я так думаю, ни к чему. Смотреть да говорить — ай кто мне воспретит?

— Многое говорёно, да говорёное еще не сварёно, — проворчала хозяйка, но отошла.

Ночью спать хотелось, а не спалось. Завтрашнее выступление складывалось во всей своей доказательности и пафосе. Где смехом, где всерьез, вспоминая тех и этих писателей, разговоры, анекдоты, легенды, все подбирая, из всего лепя, вести эту беседу в живом общении! Ариаднова же нить — нет, не об усилиях рода говорить, понятно ли это ребятам? — ариадновой нитью будут неожиданные возможности жизни! Почему медлит Гамлет? Осуждая себя и презирая, все же медлит. У него нет выбора — вот в чем дело! Вот почему он медлит. Всего лишь один круг предопределен ему отцом, и потому-то невольно злой смех срывается с его губ: «Что, старый крот, уж подкопался?» С самого начала этой истории ясно, чем она кончится, — не только нам, но и самому Гамлету. И если сверх краткого пересказа свершившихся-свершающихся событий есть что-то еще, так это попытка помедлить и понять. Не смерть, а предопределенность томит Гамлета, делает его злым не только с дядей и придворными, но и с Офелией, с самою тенью отца своего. И оттого же стонет Сизиф. Но он не прав, Сизиф. Долгота дней таит в себе выбор, возможность, что выбор все же возникнет. Пока ты есть, есть возможность. Выбора нет уже у девочки, потому что она покончила с собой. Смерть унижительна — вот что я должна завтра сказать! Как я счастлива была в тот вечер, в ту ночь. Даже какие-то поэтические образы роились в моей голове: Сизиф, который миллион раз вкатил камень на гору, а в миллион первый раз камень, вместо того чтобы скатиться, как извечно предназначено ему, вдруг воспаряет! Как радовалась я, что пошла, решилась на эту работу, где нужно говорить о смерти, и жизни, и выборе. И так и заснула я в блаженном перебирании доводов и слов.

И встала я бодро и весело, но уже было легкое сомнение, легкий холодок: да полно, бывают ли когда произнесены такие речи?

Когда же вошла в зал, полный голов, рук, плеч, смешков, тычков, переглядываний, взглядываний, топота, вскриков, я не поверила, что это многоголовое, многошевелиющееся можно утишить, заставить замолчать и слушать. Сердце заколотилось, вся я как-то онемела. Странно, ведь выступала же я до того сколько раз. Но не со своим, выношенным в доме у тетки Клавди, на грузовике, в учительской, на кровати за лежанкой у Мокеича! Высказать же это свое казалось просто невыносимым.

— Внимание, — проговорила директор. И через паузу, тише и раздельнее: — Вни-ма-ние...

Еще два-три окрика, взглядывание в ряды — и все смолкло. Обморочно я поняла, что теперь уже мне говорить и что я ничего не помню и не знаю. И в самом деле, на первых же строчках Маяковского, с которого я и решила начинать, чтобы не сбиться, я как раз и сбилась, задрожала голосом и испугалась самой этой предательской, необоримой дрожи голоса. Все сошлось в одно — невозможность продолжать этим жалким голосом какую бы то ни было беседу и невозможность ее прервать. А между тем я говорила, продолжала говорить, не слыша себя и пугаясь еще и этого: может, я вообще одно и то же говорю? Ни до каких Гамлета и Сизифа — я даже до мыши, сбивающей молоко: масло, не дошла. Но о смерти и выборе что-то говорила. А мо-

жет, и о Сизифе. Потому что помню фразу: «Он несчастен — ведь у него нет выбора».

И юношеский, насмешливый, с перепадом от баска к фистуле голос в ответ на эту мою фразу:

— Как наш председатель!

И сейчас же с криком в задние ряды, откуда прозвучал юношеский голос, двинулась директор, и облегченно зашевелились, заоборачивались назад передние ряды, и даже я почувствовала облегчение передышки и молчания вместе с унижением от того, что не могу сама справиться с залом. Помню еще, успела я подумать: не тот ли это «оболтус», с которым ведет воспитательные беседы Анна Георгиевна?

В общем, договорила я кое-как и кое-как досидели, дослушали меня дети и взрослые. Помню еще, как торопилась я проговорить начатое, как на ходу сокращала и ужимала все, что собиралась развернуть, как было у меня ощущение предательства собственной речи и в то же время как были мне уже совершенно безразличны и речь моя, и вообще все.

Я была так молода тогда, что мой позор казался мне бóльшим тупиком, чем смерть девочки. Только об одном я думала — бежать, бежать, как можно скорее и навсегда, из Ям. Бежать от старика, которого никто и ни во что не мог разжаловать, даже в смерть. Бежать от учительницы, которая знала, что все грехи в мире от лени. Бежать от смешливого голоса из задних рядов. Бежать из комсомола, где я не умею, не способна работать.

Отупевшая и придавленная, вошла я в учительскую, и кто-то сказал, что меня просили срочно, как только освобожусь, позвонить в райком Малаховой.

Пока ждала соединения, я слышала разноцветные голоса телефонисток:

— Мо-олдино? Я — Озерища.

— Смородино, помолчи.

— Девочки, дайте райком!

— Дубки, Дубки!

И снова:

— Я — Мо-олдино!

Недостижимо свободен и беззаботен, певуч и насмешлив казался мне этот мир разноцветных голосов.

Внезапно сквозь них прорвался знакомый голос:

— Малахова у телефона. Это вы? Плохие новости. Плохие новости, я говорю. В Полянах застрелился мальчонка двенадцати лет. Из охотничьего ружья. Вчера. Нам сегодня стало известно.

Я молчала.

— Поспешай, Андреевна! — велела Малахова.

— Куда? — спросила я неприязненно. — В Поляны или где еще не стрелялись?

— Пока в Поляны, а там подумаем, — озабоченно и вполне серьезно отвечала Малахова.

Следующее утро, когда шла я в Поляны, было теплое — в пальто даже и жарко. Меня провожали, и я не очень помню дорогу. Помню только, что чем ближе подходили мы к Полянам, тем гуще и хвойнее становился лес. Помню, что в каком-то крайнем домике малой деревеньки, проходя обочь, попросили мы воды — и было вокруг этого дома медно и зелено от сосен, мерещато от берез, мостки через ручей были свежее-розовые, а сам затишной ручей рыж от иголок. Но увидела я это равнодушным взглядом человека, лишеного выбора, обреченного на повторение вчерашней неудачи.

Сами же Поляны оказались деревней с большими черными избами и столь же большими неуклюжими пристройками, грубовато теснящими лес, повернутыми к нему глухими стенами. Так, во всяком случае, предстали они моему мрачному, безрадостному взгляду.

Заставила я себя зайти с учителем к матери застрелившегося мальчика — выразить соболезнование и, может, спросить, что, почему. Мальчика похоронили накануне, в избе было уже обычно, топилась пччка, пахло щами. Из второй комнаты выглядывали дети. Плакала тихо мать. Не знала она, как не знали и учителя, и ребята, отчего ее сын надумал такое: снял сапог да и нажал крючок охотничьего ружья. Уже и совсем сумасшедшие мысли приходили мне в голову: что была у мальчика с девочкой любовь. Примерно ровес-

ники. Но мальчик в Ямах не бывал, не бывала здесь и девочка — они даже знакомы не были. А слышать, что повесилась, конечно, слышал — при нем говорили, и, вспоминают теперь, он как-то притих, задумался. А так, что же, всё было «путем» в его жизни — спокойный, приветливый был паренек, и по дому помощник, и рыбалил, и охотничал... ну только что без бабки рос, да мало ли их таких.

К вечеру собрали в клубе школьников, молодежь, даже из соседних деревенек пришли. Движок не работал почему-то в тот вечер — горели три керосиновые лампы. Сидели одетые — клуб уже нахолодал. Вчерашнего испуга у меня не было. Но не было и позавчерашнего восторга найденных доказательств. Было опасение, что опять слушателям будет томительно и скучно. Было сильное нежелание втаскивать свой камень. Но что поделаешь, работа есть работа.

Я сказала о том, что случилось, сказала, что самоубийство — не героизм, а слабость и трусость, уход в смерть, в ничто, в бездействие... Кто-то кому-то что-то громко молвил от дверей, и громко же ответили из рядов — как если бы я была просто вещающей коробкой радио. Я прочла еще из Маяковского, уже ничего не забыв и не спутав, но, верно, голос мой не подходил к этим словам — все не было отклика. Тогда я вытянула присланную из области разработку о Николае Островском, хорошо хоть успела просмотреть накануне, и пошла шпарить по ней, где читая, где излагая своими словами. И — тихо стало. Я читала и читала, рассказывала и рассказывала — о самом Островском, о его книге, о тех, кто с именем Островского побеждал инвалидность и смерть. Стояла тишина, в которой невозможно было ошибиться. Глаза горели, стаскивались шапки с разгоряченных голов.

Я дочитала — ребята сгрудились вокруг меня, заглядывали в лекцию, расспрашивали, как называются книги Островского и где можно их прочесть. Не нужно было слов о том, что лучше — жизнь или смерть. Оказывалось, лучше трудная жизнь, чем легкая смерть. Оказывалось, что человеку нужно вкатывать камень на гору, что к воспарившему камню ведет не миллион повторенных дорог, а одна восплававшая жизнь. Я стояла среди них, ошеломленная. Я не знала, почему не трогали Сизиф и Гамлет, почему не трогал их Маяковский и вдруг так тронул Островский. Но камень свалился с моей души.

На другой день дали мне в провозатые до шоссеи мальчика. Ночью был заморозок, иней. Я ежилась в своем куце палтишке, пока мы «сокращали» путь по каким-то задворкам, по мосткам и перекладинам через канавы, промоины и ручьи. Вообще у деревни было мокро и ветрено. Но, едва вошли в лес, ветер почти стих, и мокро здесь уже не было. На дороге было влажно, но не грязно, идти было мягко, легко. Высок был в этой стороне лес. Дорога вела то вверх, то вниз, листьев в ветвях уже совсем немного оставалось, и оттого лес был далеко виден и сквозь, и сверху, с пригорков, и снизу, из оврагов, частых в этой стороне. В чистом прохладном воздухе сильно и хорошо пахло, и катились мы в этом высококом, осеннем, душистом лесу, как жучки в сандаловой или кипарисовой какой-нибудь шкатулке. Расслабленная и свободная, шла я, удивляясь всему вокруг. И голосам птиц. Я почему-то думала, что только весною голосисты птицы, и лишь сейчас поняла, что летом птицы молчаливы из осторожности: малые дети в гнезде, таскай им еду да помалкивай. Сейчас вольница: весенние страсти позади, и дети выросли. И тому удивлялась я, что черные хвосты сороки и ворона черны по-разному: зеленым отливал хвост сороки и фиолетовым — ворона. И тому, как любопытны эти птицы и как не для себя только любопытна сорока, как весело и радостно оповещает она лес о том, что мы проходим по дороге. И черноте стволов, когда оказывались деревья меж нами и солнцем, и сухому поблескиванию горизонтальных веточек, и тому, как на пригорке каждое дерево, уже не заслонявшее солнце и не заслоняемое им, являло нам свой цвет и облик. Были стволы и ветви розовые, красные даже, и серые, и зеленые, и белые; и гладкие, и пупырчатые, и пятнистые, и складчатые; были замысловато корявые и прямые, ровные. И ветви у каждого дерева были по-своему вытянуты-раскинуты.

Каждое место в этих краях на особицу. Вчера подходили мы к Полянам с другой стороны, и был хвойный почти сплошь лес, и был на окраине малой деревеньки дом, а вокруг него медно и зелено от сосен, мерещтато от берез, и невозможно было даже представить, как же ощущает мир человек, всю

жизнь живущий в этом доме у рыжего от иголок ручья. И Поляны — тяжелое, громоздкое село. И вот мы ушли от него в другую сторону — и опять мир нов и неповторим. И за каждым поворотом, через дорогу, овраг или поле — уже и лес, и деревеньки, и реки, и озера другие...

Мальчик почти и не шел рядом. Он куда-то отбегал, что-то рассматривал, раздвигал кусты, даже ковырял в иных местах землю. Мне хотелось спросить его, что это он смотрит или ищет, что видит и понимает, но я стеснялась, как стесняются глухие своей глухоты, а слепые слепоты своей. Я и неповоротливости своей стеснялась, когда по перекинутому стволу нужно было переходить овраг.

Мы шли уже порядочно, а усталости не было.

Мальчик шел теперь рядом. Я спросила его, хорошо ли он знал парнишку-самоубийцу.

— Зна-ал,— с непонятным выражением ответил мальчик.

— Что ж ему в голову взбрело такое устроить?

— А кто ж его знает: может, на что обиделся, а может, попробовать захотел.

Легкое эхо, что ли, было? Странно, как повторялись не то вокруг, не то во мне его ответы: кто-ж-его-знает, кто-ж-его-знает, может-спробовать-захотел, спробовать...

— Да как же спробовать? — даже остановилась я. — Ведь это уже навсегда — и ничего нет!

— Ну, глупый!

— Ты вчера был на лекции в клубе?

— Не, нельзя мне было. Хорошая лекция?

— Про Островского.

— А! — И помолчал: — Глупый! Лета не дождался — самое хорошее время.

Глупый-не-дождался — самое-хорошее...

— Самое время, — повторил мальчик. — Шестой класс не закончил...

Он довел меня до прямой дороги — какой-нибудь час пути оставался мне до шоссейки. Скоро задумчивый свист его пропал, растворился в лесу.

Однообразно шуршали под ногами листья. Солнце уже опускалось, слепяще светило в глаза. В вершинах ровно и широко шумел ветер.

Дорога свернула вбок, повела круто вверх. На взгорке обдало меня резким ветром. И вдруг я замерла. Прямо передо мной стояли два белых от берез угора и меж ними иссиня-темное озеро. Ни одного человека не было видно. Никто, кроме меня, не дышал этим чистым, прозрачным для близкого и далекого запаха воздухом. Ни один человек, кроме меня, не видел исчерна-синей, тяжелой от глубины воды, не видел этих поднятых к небу ослепительно белых берез. Странную острою болью отозвался во мне этот затерянный, возникший за поворотом мир. И на какое-то мгновение двумя черными провалами обернулись белые косогоры, и ослепительно мрело меж ними плоское озеро.

И опять бесстрашно белы были крутые, как шлемы, холмы и глубоко — тяжелое, как драгоценный камень, — озерцо между ними. Безмерна была предо мной красота. И безмерны утраты. Кручи и пропасти не складывались, и не вычитались, и не искупимы были друг другом.



Георгий НОСКОВ

Г о л о с в х о р е

ЗАМЕТКИ МОЛОДОГО КРИТИКА

Политический потенциал искусства содержится лишь в собственно эстетическом измерении искусства.

Герберт МАРКУЗЕ

Во времена, когда мы по кухням читали «тамиздатовских» Сашу Соколова, Василия Аксенова, Эдуарда Лимонова и Фридриха Горенштейна, а также многих «тут живущих — там издающихся», ведь и тогда существовали вроде бы «проза тридцатилетних» и «поэзия тридцатилетних», регулярно созывались очередные совещания каких-то никому не известных писателей, которые якобы олицетворяли собой «поколение» и служили для нашего поколения творческими предшественниками.

Теперь, конечно, не та погода на дворе, однако вряд ли так уж интересны, как тогда, давно известные стихотворения Д. Пригова, урезанная и подчищенная поэма В. Коркии, несколько рассказов Виктора Ерофеева, да, собственно, большинство широко публикуемых в нашей «толстой» прессе рассказов Евг. Попова. Все это мы, как говорится, уже видели или слышали, читали, передавали друг другу потрепанные ксерокопии и в общем и целом обсудили и пережили. В какой же степени эту литературу можно считать действительно новой? Давно бы, по логике вещей, следовало издавать «полного» Пригова и «полного» Ерофеева (поклонников творчества последнего могу поздравить с выходом во Франции «Русской красавицы» на французском языке). Но оставим в стороне мечтания, обратимся к грубой реальности.

Реальность в том, что публикуемые в наши дни произведения уже во многом принадлежат истории литературы. Вместе с тем они преподносятся нашей прессой в качестве самых что ни на есть новинок.

Мы, разумеется, далеки от того, чтобы «писать со счетов» Пригова, Ерофеева или Драгомощенко — хорошая литература вообще не поддается списыванию, именно поэтому мы читаем сегодня и Набокова, и Замятина, и Платонова, и

кого-нибудь еще. Совершенно очевидно и другое: «широкие круги мыслящей интеллигенции» пока даже не приблизились к пониманию таких современных нам реалий, как московский концептуализм, «барочная поэзия» Драгомощенко, экзистенциальная проза Вик. Ерофеева. Рядом с нами, как и во все времена, живет, действует и, так сказать, бытует действительно интересная и самобытная культура, по сей день предаваемая бессмысленному небрежению. Однако на дворе не семидесятые, но девяностые: иные времена — и глаз привычно ищет иные имена, дающие свой «значимый ответ» на соответствующие проблемы и реалии, которых не знало поколение предыдущее.

Если речь идет о развитии некоторых эстетических идей, поколение «семидесятников», возможно, продвинулось в чем-то вперед по сравнению со своими предшественниками, черпая, впрочем, во многом у тех же «шестидесятников» — у Бродского и Сосноры, Кушнера и Аксенова (список образцов, разумеется, не полон) — некоторые определяющие темы и приемы работы. Посмотрев на проблему шире, мы отметим для себя, что даже такие «козыри» «семидесятников», как поэзия Пригова и проза Виктора Ерофеева, — явления скорее шестидесятых годов: где, если не в проблематике мая 68-го и не в «сексуальной революции» корни ерофеевской прозы? Не приходит ли в голову читателю и особенно слушателю Д. Пригова американский поп-арт и концептуализм, поэзия Эдварда Каммингса и популярного в «узких кругах» 60-х годов Д. Хармса? Настаивая на своей исключительной интеллектуальности (как будто Бродский или Битов профаны и недоучки), высоко вынося над головой знамя «рока» и «формотворчества», «семидесятники» заимствовали у своих духовных отцов (которых не воспринимали

в качестве таковых и от которых яростно открепивались: да не бойся, сынку, подойди, поцелуй батьку!) склонность сбиваться в кучи, ходить, как в старые, добрые времена, стенка на стенку и политический пафос. Последний обнаруживает себя не только в стихотворениях Тимура Кибирова и многочисленных «иронических стихах», которые, кажется, пишут уже решительно все, но также в страдальческой позе «неприятя социума», в обязательном «антиреализме». Стоит ли удивляться тогда изрядной политизированности нашего сознания? Читать только Маркса и Чернышевского или никогда и ни за что не читать — тьфу и тьфу! — Чернышевского и Маркса — какая, собственно говоря, разница?

Всем нам понятно происхождение этой политизированности сознания. В уродливых условиях подполья, причем вынужденного, «реализм» и «классовость» могли породить лишь «антиреализм» и «бесклассовость». Подчеркнем, «антиреализм», а не просто «нереализм»: это в странах Запада писатель свободно и спокойно выбирает, быть ему «реалистом», «модернистом» или просто сознательно потрафлять неприятязательному вкусу (в чем нет ничего ужасного), а наш общественный дух пронизан оппозиционностью, мы любим все противопоставлять и сталкивать. На это, конечно, подталкивали нас и до сих пор подталкивают соответствующие политические обстоятельства. И опять мы приходим к политике!

И все же, вдумываясь в современную нам литературную ситуацию, мы обнаруживаем, что не политика только и даже не главным образом политика — причина подпольного существования части литературы. Совершенно неожиданно (не для всех, конечно, неожиданно) выясняется, что не от политической цензуры страдает литература — и от нее тоже! — в большей степени страдает она от нетерпения к эстетическому инакомыслию: для большинства так называемых прогрессивных журналов Драгомощенко или Л. Рубинштейн неприемлемы отнюдь не потому, что они думают «не в том» («почвеннически-демократическом», как заявили в редакции одного из форпостов перестройки одному моему знакомому писателю) направлении, но потому, что стихотворение Драгомощенко — совершенно непроницаемая для сидящего в отделе поэзии вещь, а значит, совершенно бессмысленная. Начиная судить нетрадиционное творчество по законам традиционного, «рецензент» неминуемо попадает в грех «причесывания» либо просто отвергает тот или иной текст, так и не прочитав его (если понимать под этим «прочитав» — «восприняв», «уяснив»). Это примерно то же самое, что требовать от Годара бондарчуковского сюжета. И речь тут идет вовсе не о том, кто «лучше», Годар или Бондарчук, — всякий сам для себя рассудит. Речь идет о том, чтобы «нетрадиционный» текст имел шанс быть прочитанным, адекватно понятым. При-

нятым он может и не быть — однако отвергнуть можно то, что понимаешь, но с чем не согласен. Впрочем, давно замечено, что подлинно культурные люди способны воспринимать разное — такой человек «врубается» и в живопись Ватто, и в «живопись» Раушенберга. И, однако же, именно эстетические распри всегда играли решающую роль, решимся предположить, в истории культуры. Эстетические, а не политические. За примерами далеко ходить не придется.

В рамках французского сюрреализма легко до поры до времени уживались «свободный художник» С. Дали, троцкист А. Бретон и известные своими коммунистическими симпатиями П. Элюар и Арагон. Напротив, весьма сходные в своих политических симпатиях и антипатиях В. Набоков и И. Бунин были, как известно, в своем роде антагонистами. Или, скажем, тот же Бунин раздражал чету Мережковских отнюдь не старообрядностью, не барством и не русским мифотворчеством (по этой части и Мережковские), но, как писал Антон Крайний, «примитивностью техники стиха» и «философской бедностью». Претензии скорее эстетического порядка, не правда ли? И философского — а не «политического».

Дали и дают себя знать наша вечная русская политическая лихорадка, пропитанность всей нашей жизни «освободительной борьбой» и постоянная до сей поры угроза возникновения тоталитаризма. И все же теперь, когда наконец «заработали» в нормальном направлении и занялись своими прямыми обязанностями «Вопросы философии» и «Вопросы экономики», когда в тех же «толстых» журналах выступают по вопросам философии, экономики и политики специалисты, литература могла бы наконец обратиться к самой себе и решить свои не менее горящие проблемы.

Мы-то думали, придет новое время, и посыплются на нас стихи почище, чем у Мандельштама, фильмы получше годовских... а посыпались на нас мемуары, да «иронические стихи», да еще «крутые» критические статьи. И вот уже Л. Разгон на первом у нас месте по популярности, как сообщает «Вечерняя Москва», по разделу художественной прозы (замечу, что против действительно интересной публицистики Л. Разгона я ничего не имею), а в редакцию «Октября» приходят возмущенные письма относительно «Школы для дураков», написанной одним из лучших на сегодняшний день русскоязычных писателей, Сашей Соколовым. И в нынешнюю «широкую популярность» Андрея Платонова как-то не верится: сдается мне, «считали» в «Котловане» только слой политического сообщения, так и не коснувшись слоя метафизического. Хотя Платонову еще повезло — о нем неплохо написала С. Семенова. Но все ли прочитали ее сложную статью?

«Ага! злорадно воскликнет оппонент. — А я что говорил?! Сами же про-

говорились! Даже если вы в чем-то и правы, все равно критика Вик. Ерофеева, М. Эпштейна или С. Семеновой никогда не будет популярной в народе и имеющей «широкий резонанс». И вообще, — добавит, — народ сперва надо просветить, заинтересовать собственной же его жизнью, а потом он сам, народ, станет читать Эзру Паунда и Бодлера. Сперва неплохо было бы ему, то есть народу, растолковать, что Эзра Паунд не женщина, но мужчина».

И что прикажете ответить? Что не всякая книжка про всех писана? Что должно быть «Сердце из стекла» Херцога и должен быть «Тарзан»? Хотя ведь и к «Тарзану» ничего близкого нет... Отчего же тогда вся критика должна быть всем понятной? Отчего я должен свое сознание подделывать под сознание какого-либо непросвещенного товарища? И почему такие, как я, не имеют права на свою критику и свои печатные издания? Конечно, критика должна быть всякой, но ведь должна быть и эстетической! В любой развитой культуре существует множество уровней, все они живут по своим законам, выполняют свою функцию. Именно поэтому нужны и Годар, и «Робот-Полицейский», книга Борхеса и книга Флеминга. Сам вопрос «кому это надо?» всегда отдает невежеством и непониманием, что такое культура, зачем она нужна. Абсурдно было бы стремиться все привести к единому стилистическому знаменателю, и, однако, это у нас по-прежнему и под шумок делается. Ясно, что стилистика «Звездных войн» не годится для Бергмана, хотя, заметим, наличие в культуре разрабатанных уровней создает почву для их неожиданных пересечений и плодотворных взаимодействий, достаточно назвать хотя бы фильмы Рене и Годара, американский поп-арт, тонко подделывающиеся под всеми забытый Голливуд 30—40-х годов, под комиксы, «Имя розы» У. Эко да хотя бы и «тексты» Д. Пригова, воплощающие «авторитарный стиль» (Г. Белая) и штампы массового сознания. Невнятица в жанрах и полное отсутствие представлений о них — готов поспорить, что немногие из наших современных критиков внятно скажут, что такое роман, что такое повесть и т. д., — сегодня достигают апогея, именно поэтому мемуары и публицистика считаются романами и рассказами, а типичные эстрадные «хохмы» — стихотворениями. Одновременно становится затруднительно, если не сказать невозможно, определить жанр «Школы для дураков» Саши Соколова, и уж совсем растерян читатель при соприкосновении с прозой Виктора Ерофеева или Евг. Попова. Тот принцип, что не всем интересно знать о ритмике Бродского, но всем любопытно знать историю процесса над Бродским, оказывается несостоятельным: очевидно, что человек, нимало не понимающий в ритмике стихотворений Бродского, вряд ли что-нибудь смыслит в поэзии Бродского как таковой. Не помогают по-

стижению современной культуры внедренные в массовое сознание «формы-образцы» и создание иерархической системы жанров: в прозе это «реалистическая» проза «ложнотолстовского» направления, в поэзии — незыблемость ломоносовско-третиаковских изобретений, в критике — политическое ложнодобролюбское направление. Любая художественная форма есть не бог, а только форма — и она изнашивается и стареет, модифицируется, возрождается и гибнет. Искусство связано с изменяющейся социальной структурой и изменяющимся мышлением, поэтому оно тоже изменяется. У нас тем не менее до сих пор нельзя печатно усомниться, например, в том, насколько ямбы и хорей подходят для современной поэзии.

Что нового открывают нам в поэзии «накатанные» стихи Дениса Новикова или кого-нибудь еще? По части ритмики и метрики — ничего нового, и притом ни малейших модуляций старого (а что, метрический и ритмический плагиат — это не плагиат?). По части «нового отношения к миру»? Так ведь аналогичное и даже, решимся сказать, идентичное отношение к миру мы обнаруживаем с тем же успехом у известных нам И. Иртеньева или у А. Еременко. Если верить Цветану Тодорову, цель писателя заключается в «создании нового текста»; притом, разумеется, старое вовсе не подлежит забвению — недаром Б. Эйхенбаум говорит в одной из ранних работ, что Лермонтов ничего не изобретает — лишь «сплавивает» старый материал, имеющийся под рукой. Гениальным было именно такое «сплавивание» — это и было новым ходом. Прямое повторение, воспроизводство всегда играло некоторую важную роль в культуре — прежде всего речь может идти об усвоении культурой некоторых творческих приемов и некоторой ментальности. И все же определяющей роли «чистое воспроизводство» никогда не играло, в том числе стилистическое воспроизводство. Всякое воспроизводство — уже повторение, а ведь, вспомним, «не любят повторений». Ан нет — любят! Вот инакомыслия, в том числе стилистического, не терпят. И хотя не всякое инакомыслие интересно само по себе — тут я не соглашусь с моими «левыми» оппонентами, — а интересно лишь в связи с его эстетической актуальностью, у инакомыслия больше шансов на то, чтобы быть искусством в пронизанной социальными токами жизни. Повторяться могут, конечно, не только система рифмовки или принципы сюжетосложения — они как раз следствия повторений другого рода, повторений определенных вкусов и умонастроений. Однако в повторениях нет еще особенной беды — беда приходит, когда все потребности сводятся к повторению, воспроизводству каких-либо элементов.

Мощная эпопея, постепенно вытеснившая в 30-е годы роман, удвлетворяла запросам времени: после «взвхренно-

сти» и растерянности мировой и гражданской войн, после революционных неразберих требовалось построить наконец всецело логичную и гомогенную структуру, овеещающую новый непротиворечивый идеал сознания. Именно с этим связаны такие конститутивные черты новой эпопеи, как антитетичность композиции, герои-богатыри (положительные) и безукоризненно плохие враги (отрицательные), наличие мудрого руководителя (Красного Солнышка) и хитрого, часто мифического врага (Соловья Разбойника). Эпопея, отличаясь, как известно, предельной выясненностью композиции, по крайней мере стремлением к этому, культом надличностного события, наконец «изображающим», а не «рассказывающим» стилем, по возможности более объективным и «ясным», призвана была максимально раскрыть отчетливую и заранее выясненную эпическую идею: с самого начала автор знает, что такое хорошо, что такое плохо. По этим причинам эпопея претит «онтологическое беспокойство» романа с его незавершенностью, невыясненностью посылок философского и эстетического порядков (отсюда романый стиль, чаще всего «громоздкий», как у Толстого и Достоевского, и почти всегда с «эпической точки зрения» некомпактный) и особенно с самодостаточной личностью-космосом. Унификации подверглось практически все — и сюжет, и романый герой, и стиль (дискуссии об аутентичном стиле — важнейшая составная часть практические всех литературно-критических и — шире — политических выступлений 20—30-х годов). «Взвихренный» стиль Пильняка, «сказ» Бабеля и «орнаменталистика» серапионов оказались ненужными при эпической ясности идеи, которую художнику предстояло раскрыть, а критику — прокомментировать.

В поэзии возник тот же самый идеал «ясности» и «доступности», вполне соотносенный с господствующим эпическим идеалом.

И сейчас редко встретишь даже у молодого поэта в стихах следы глубокого прочтения Хлебникова и Бурлюка, Введенского и Заболоцкого, Л. Лаврова и С. Третьякова, А. Гастева и поэтов-символистов, не говоря уже о более труднодоступных иноязычных поэтах. Опять-таки под «прочтением» мы подразумеваем уяснение культурного смысла того или иного явления, предполагающее некоторый актуальный для современной культуры вывод — подражателей и Хлебникова, и Крученых, и обзристов у нас хоть отбавляй. Разумеется, существуют и в наше время «старые пути быть новым», как выразился Роберт Фрост (который, впрочем, продумал для себя и «имажизм» Эзры Паунда, и экспериментальную поэтику У. Стивенса, и многое другое, отреагировав на все это в своем творчестве), но все-таки скорее как исключение. Несомненно одно: искусство, по крайней мере часть его, должно разви-

ваться, в чем-то идти вперед и захватывать какие-то новые области изменяющегося мироощущения. Эту часть искусства мы назвали бы искусством прогрессивным в отличие от другой части искусства — искусства воспроизводящего. В идеале эти две составляющие любого искусства и вообще любой культуры должны находиться в равновесии, что обеспечивает, с одной стороны, культурное развитие, а с другой стороны — культурную непрерывность, недискретность.

Огостелое реформаторство приводит к забвению традиций, о чем знают все. Забывая при этом одно «но» — но только при отсутствии в культуре мощного воспроизводства. На поверку заботы о сохранении традиции путем «зажимания шланга» выглядят безосновательными: дело в том, что большая часть населения в любом обществе и так весьма консервативна и нуждается в эрзацах и готовых к употреблению духовных продуктах; кроме того, немногим по душе одиночество и непризнание, на которые обрекает себя «прогрессивный художник», да к тому же воспроизводящая деятельность во всех областях всегда спокойнее, надежнее, она лучше оплачивается и пользуется большим почетом, нежели всегда весьма сомнительное экспериментаторство. Воспроизводящее искусство по сути дела есть искусство массовое: оно предлагает готовые формы и готовые настроения готовой к их употреблению публике, будь это «народ» или группа эстетов-филологов. Это искусство во многих отношениях полезно, потому что именно оно, забавляя людей, отвечая их потребностям и попутно внедряя им в головы некоторые общие места и культурные клише (без которых существование в социуме вряд ли возможно), творит культуру здесь и сейчас, не когда-нибудь потом. В этом смысле духовные эпигоны Цветаевой оказали на общество большее влияние, чем она сама: она создавала некоторые духовные модели, тогда не востребованные, они теперь их обживали и внедряли весьма успешно в массовое сознание. Теперь практически любая школьница знает и любит «Под лаской плюшевого пледа» (не беда, что больше по кинофильму).

Совсем по другому счету приходится расплачиваться искусству прогрессивному. Тут произведение может интересоваться нас лишь постольку, поскольку в нем содержится определенное эстетическое и вообще ментальное «приращение», либо постольку, поскольку оно знаменует собой возникновение новой точки культурного развития. С этой точки зрения закономерен вопрос к «метафористам»: «А что нового по сравнению с французским сюрреализмом в вашем «метаметарформизме», если уж вы претендуете на новый метод? И вообще, так ли уместен сегодня «сюр», изрядно исчерпанный мировой культурой и воплощенный уже в историю как некоторый целостный метод? Разумеется, этот вопрос

неправомерен в отношении «метафоризма» как феномена массового искусства: кто спорит, освоение массами сюрреалистического наследия необходимо, как в определенном смысле прогрессивно всякое воспроизводство. Применительно к нашей стране, однако, явления, подобные «метаметафоризму», объясняются скорее наличием долгие годы практически несокрушимого «железного занавеса», о котором нельзя не сказать в связи с былячками и проблемами нашей культуры.

Вот уже много лет у нас, если перефразировать выражение Ю. Давыдова, пишут «другую прозу и другие стихи», чем в «оставшемся мире», строят «другие» здания и, добавим, по-другому понимают задачи критики. Весь вопрос заключается в том, «лучше» они, эти наши проза, поэзия, архитектура и критика, чем «другие», или «хуже». Неизбежный русский вопрос. Теперь, разумеется, не те времена, когда все «наше» априорно объявляется лучшим — чаще высказывания на этот счет строятся по такой схеме: да, у «них», конечно, автомобили лучше, зато наша культура духовнее. Выраженная в таком виде оппозиция, однако, чревата неизбежно возникающими вопросами.

Во-первых, возникает вопрос: что же такое «духовность», о которой столько веков идет речь? Вдумываясь в этот вопрос, мы приходим к заключению, что весь спектр ответов более или менее умещается между двумя. В первом случае под «духовностью» понимается некоторая ирреальная категория и «духовная культура» противоплагается культуре «бездуховной», как, например, христианство — другим религиям и особенно выпукло материализму. «Духовность», по сути дела, отождествляется с «богочеловечностью», а «бездуховность» — с «богооставленностью». С этой точки зрения «творец» в России противопоставит «ремесленнику» Запада.

Другая точка зрения состоит в том, что «духовность» (далее следует неизбежный родительный падеж — кого? чего?) представляет собой не что иное, как совокупность ментальностей и, будучи исчерпанной этими категориями, не имеет шансов выступать в качестве обособленной категории. С этой точки зрения общество тем «духовнее», чем разнообразнее и сложнее бытующие в его пределах ментальные структуры, чем в конечном счете развитее социальная дифференциация, охватывающая все общество сверху донизу. Так, например, «панк-культура», выступающая как антикультура по отношению ко вполне определенным социокультурным реалиям, парадоксальным образом является частью «духовного богатства» общества, воплощая определенные социокультурные устремления и ценности определенных, пусть маргинальных, общественных слоев и питая, добавим, «элитарную культуру», как питали американские ко-

миксы кинематограф Алена Рене и Жан-Люка Годара и как питал фольклор хиппи творчество американских неоэкспрессионистов 70-х годов. Искусство в обществе такой обещательной, «реальной» «духовности» выполняет существенно другую функцию, нежели в обществе, так сказать, «трансцендированной духовности»: писатель, отказываясь от своей «богочеловечности», становится выразителем, а не устроителем жизни. Вся его энергия уходит теперь на создание совершенного произведения искусства, соответствующего социально развитому обществу со всеми его многообразными отношениями, умонастроениями, точками зрения, потребностями и ценностями. В таком обществе ценность явления культуры или деятеля культуры измеряется по-другому: если в обществе «трансцендированной духовности» ценностная проблематика сводится в общем-то к тому, чтобы определить, какое явление и какой деятель культуры в большей степени «богочеловечны», а какие в меньшей, в «бездуховном», скажем так, обществе нас интересует прежде всего прогрессивность, занимательность и особенно качество выработки той или иной «вещи» (как выражался на этот счет полузабытый ныне Н. Чужак). Две описанные системы находятся по отношению друг к другу практически в антагонистическом отношении. Так, например, известный итальянист заявил автору этих строк во время посторонней по отношению к «культурологической проблематике» беседы, что ни в Италии, ни в Америке, конечно, нет такой поэзии, как у нас, разумея поэзию XX века. Так, скажем, популярные певцы и артисты Борис Гребенщиков и Владимир Высоцкий у нас не просто артисты и певцы, но своеобразные вожди, гуру, наставники и в своем роде эталоны. Таково же массовое отношение интеллигенции к Марине Цветаевой, Пастернаку, Андрею Тарковскому или к Бродскому. Кто следующий?.. Точно так же наши критики редко довольствуются критикой, то есть разбором (каким угодно — структуралистским, культурологическим, социологическим, психоаналитическим и т. д.) конкретного явления или конкретных явлений, рамки собственно критики оказываются (или кажутся) им тесны, критик перестает быть критиком, становится проповедником, иконоборцем или иконозидителем.

Следует, однако, помнить, что «трансцендированная духовность» вовсе не всегда бывает реальной. Относясь к феномену веры (мой собеседник ведь просто верил, что ни в Италии, ни в США нет, не может быть ничего равного поэзии Цветаевой и Пастернака, Мандельштама и Ахматовой), «трансцендированная духовность» то и дело вступает в ссору с логикой и здравым смыслом, держащимися подальше от неба, поближе к земле. И все же какой тип культуры «лучше»?

С точки зрения культурологии данный вопрос вряд ли интересен: культурология имеет дело с реальностями, пытаясь, конечно, корректировать культурный процесс в меру своих возможностей. Разумеется, в некоторых странах Африки и Азии существует в высшей степени интересная национальная культура: поэзия, фольклор, танцы и т. д. — при почти полном отсутствии цивилизации. Однако Россия, как нам представляется, все-таки весьма тесно — последние несколько веков — связана с европейской культурой и весьма многим этой культуре обязана (как и европейская русская).

Как мы уже выяснили, в современном нашем обществе, скорее открытом, нежели закрытом, культура вообще чрезвычайно многослойна, многорусна и в то же самое время едина: например, изобразительное искусство не отделено китайской стеной от производства, музыка — от шоу-бизнеса и т. д. Логично предположить, что в стране, где красивые салоны и развитый дизайн, неплохо и «Пушкину», если воспользоваться знаменитой русской антитезой. Сдается мне, нам так же далеко до американских библиотек, как нашим автомобилям до автомобилей американских. Кроме того, вопрос «кому это нужно?», похоже, практически не занимает наших империалистических соседей, не знающих болезненного и противоестественного разрыва между материальным и духовным. В самом деле, казалось бы, зачем Америке исследования Ермолаева и Борлэнда, посвященные «нашим» РАППу и Пролеткульту? Зачем издательство «Ардис» с маниакальным упорством выпускает репринтные издания «Современных записок» или издает тщательно прокомментированный двухтомник А. Введенского? А затем, могут ответить, что культура живет за счет контекста и введение, скажем, в американский контекст прозы Пильняка или рапповских теорий может быть полезным для самосознания нации, той самой «нации», о которой у нас столько ведется дискуссий. На поверку оказывается, что не только «набоковцы» (Ю. Давыдов) и не только Драгомощенко «не нужны» нам — не нужны, например, еще древнегреческий словарь или солидная биография Баратынского (исследователи творчества поэта знают, что лучшая биография Баратынского издана в Норвегии). Не слишком ли многое остается не востребованным нашей культурой, один ли только «авангард»?

Унифицированность сознания, проявляется ли она в неистовом поклонении Сталину, Бродскому, национальной идее или чему-нибудь еще (в данном случае мы позволяем себе запятую, разделяющую диаметрально противоположные явления, так как нас интересует исключительно сам факт унификации безотносительно к порождающему ее явлению), чревата вовсе не созданием полицент-

ричной культуры, но лишь очередным перемещением массового спроса: просто-напросто от «раздумий о малой родине» в стихах мы постепенно переходим к расхожей «ироничности городских поэтов» с той же самой унифицированностью стиля, при которой Салимона не отличишь от Вишневского, Вишневского — от Дениса Новикова... Совершенно аналогично в прозе мы переходим от «комсомольско-производственных» писаний к массовому потоку сознания и слиянию всего и вся в единый стиль. Убеден, что будущие публикации «новой прозы» или «другой прозы» продемонстрируют это широкому читателю со всей убедительностью.

Подобные же примеры унифицированности внимательный читатель легко обнаружит и в литературной критике, причем не только на уровне «позиции» критика относительно общества и литературы, но и на чисто стилистическом уровне.

Коснувшись политизированности нашего сознания, мы стремились показать, каким опасным может быть презрение к этим функциям и «простое воспроизводство» каких-либо эталонных моделей за счет усекновения других частей культуры. Разумеется, и литературе следовало бы осознать свою специфику, свой общий смысл, с тем чтобы, как выразился В. Ерофеев, «двигаться к литературе, а не от нее».

Перелистаем теперь развлечения и поучения ради каталог «Сотбис», выпущенный в Швейцарии в 1988 году. Несколько наугад взятых имен: Родченко, Варвара Степанова, Удальцова... Можно ли сказать, что Александр Родченко отличался христианским гуманизмом? Кажется, нет: разве не веет от его парадов на Красной площади, от его характерного воспевания машины и индустриальной мощи тоталитаризмом? Разве не продирает нас холодок от плакатов Г. Клуциса, изображающих храбрых летчиков и крепких девиц? Вся поэзия А. Гастева вопиюще антигуманна: человек тут превращен в функционирующую единицу, его можно жать, как металл, видоизменить, выбросить в «шлак». Русский костюм для производства, известная всему миру «прозодежда», к избранию которой имели самое прямое отношение и Родченко, и Степанова, и Клуцис и другие, чем-то неуловимо напоминает френчи и азиатское х/б... И, однако, изобразительное искусство и конструктивные поиски Степановой и Родченко, Клуциса и многих других независимо от политических взглядов художников остаются безусловно заслуживающими самого пристального внимания.

Как ни странно, лишь критики-опоязвцы открыли нам Некрасова как поэта, а не только как гражданина. «Прогрессивная» же критика, близкая к народническому движению, чуть было не задушила поэта в своих объятиях и добилась своего: редко кто теперь по-настоящему чи-

тает Некрасова. Годами по всем учебникам литературы кочевал сугубо «политический» подход, и на основании этого подхода мы вынуждены были поэзию Ап. Майкова ставить «ниже» поэзии А. Плещеева, а поэзию Водсворта — «ниже» поэзии Байрона, причем только потому, что Хомяков, Майков, Водсворт и кто-нибудь еще были «консерваторами». Нельзя ли, однако, быть консерватором и гением?

Великий мексиканец Сикейрос был, как известно, ярким леваком — вспомним хотя бы только «некрасивую» историю с покушением на убийство Л. Троцкого, но вряд ли его фрески потускнеют от этого. Раскройте любой номер «ЛЕФа», и вы ужаснетесь многим суждениям, однако именно лефовцы и конструктивисты обогатили наше и мировое искусство наиболее плодотворными и имевшими далекие последствия открытиями. Значение творчества В. Мейерхольда вовсе не умаляется тем фактом, что он потрясал маузером перед носом знакомого и грозился сдать того «в чеку». Можно также заметить, что почвеннические взгляды Достоевского и аполитизм Фета также весьма сомнительны с «прогрессивистской» точки зрения (не путать с «прогрессивным искусством»!), особенно учитывая политику российских царей, репрессии, отсутствие демократических свобод и т. д. Только возможно ли считать на этом основании стихи Фета «ерундой», как это делает Добролюбов: не тот, мол, политический размах и нет «гражданской скорби»? Точнее даже: можно ли теперь — Добролюбов был человеком своего времени — придерживаться аналогичных позиций?

«Из этого следует, — скажут, — что вы проповедуете аполитизм, вас буквально тошнит от политики в искусстве».

«А вот и нет, — отвечу я, — эпиграф к моей статье говорит как раз об обратном, ведь речь у Маркузе — о политичности искусства. Я вовсе не утверждаю, что искусство непременно должно быть «аполитичным»: «политичность» «Предчувствия гражданской войны» С. Дали или «Герники» Пикассо ничуть не вредит этим картинам, как «перст указующий, страшно поднятый», не вредит прозе Достоевского, в частности «Бесам». В фильмах Феллини и Пазолини, О. Струна и Копполы, в сокурвском «Скорбном бесчувствии» или «Перемене участи» Киры Муратовой я обнаруживаю мощный социальный и политический уровни — и это не мешает получать от этих фильмов эстетическое наслаждение. Мне вообще совершенно чужд созданный теперь многими из моих коллег по «поколению» жупел «социальности»: как будто можно писать книги, стихи или картины, сочинять музыку и создавать здания вне совершенно конкретных социальных условий, никак с ними не соотносясь (включая сюда и негативное соотношение), и якобы совершенно независимо от господствующего менталитета. Для меня, на-

пример, неубедительными выглядят отмежевания Вик. Ерофеева от «социальности»: во-первых, человек, постоянно подчеркивающий свою «несоциальность», всегда очень и даже агрессивно социален, во-вторых, мудро в ерофеевском рассказе «Попугайчик» усмотреть только антимифотворческий и экзистенциальный уровни, не поняв, что перед нами в определенном смысле и «антисталинская», точнее, антитоталитаристская штука, пусть и в пародийном значении. Хотя, слов нет, нельзя сводить этот один из первых опубликованных в нашей стране рассказов в стиле «постмодернизма» к жанру «обличающей прозы» или воспринять его как «голый кич», что часто с прозой Ерофеева и происходит: так же, как в случае с «поэзией» Пригова или Рубинштейна, происходит считывание «шокового» или анекдотического уровня, но не происходит считывания уровня метафизического. В идеале, разумеется, читатель должен считывать все или почти все уровни текста, но в силу закоренелой эстетической неграмотности, усугубленной, конечно, и «годами застоя», и хронической политизацией сознания, наш самый массовый в мире читатель в массе своей просто не в состоянии «сделать своим» текст не только упомянутых Пригова и Драгомощенко, но также текст Пушкина, Вяземского или Толстого. Как справедливо заметил однажды Д. Пригов, для большинства весь «Евгений Онегин» сводится к тому, что «Таня полюбила Женю»; в лучших случаях эта любовь приправлена также «трагедией лишнего человека» и «восстанием на Сенатской площади».

Однако такой катастрофически низкий уровень эстетической культуры (за который мы знаем, кому сказать спасибо) волнует нашу критику, похоже, не слишком — упускает она из виду, что «наш читатель» зачастую попросту не может прочитать «пробитых» ею Платонова или Набокова. Прочитай он их, не потребуются ему длинные монологи критиков-парламентариев, изыски их стиля и яркие обличительные речи.

«Что вы все толкуете об эстетике да об эстетике, — вижу поморщившееся лицо моего собеседника, — как будто располагаете гарантированным и верным способом испытать на эстетическую прочность любую прозаическую, критическую или поэтическую конструкцию! Где он, этот ваш верный и надежный метод отделения зерна от плевел? А то представляете перед нами, дураками, эдаким месией и снобом — ишь, какой *magister elegantiarum* выискался!»

«На самом деле, — отвечу, — не стоит с такой уж категоричностью утверждать, будто никаких методов нет и даже не может быть. Их нет скорее в нашей нынешней критике (не употребляю слово «современной»). Сразу же обращу внимание оппонента на плюрализм «методов»: речь идет не о том, чтобы взять и применить один и самый

надежный метод к анализу литературы — такого рода примеров как раз множество. Речь идет о применении самых различных методик при анализе самых разных уровней и подуровней текста, а также условий его социокультурного бытования. И, надо сказать, мы располагаем достаточно широким выбором таких методов — от генетического структурализма Л. Гольдмана и социологического анализа Эскарпи, от теоретических построений теоретиков франкфуртской школы и марксистской школы социологии искусства в Италии до лингвистического и семиотического анализа. Причем существуют многочисленные «промежуточные» концепции. «Выбирай на вкус». Тем более что социологические и политологические методы точно так же не усвоены нами, как методы так называемого «имманентного анализа» текста, — скорее даже в последнем мы больше преуспели благодаря стараниям нашей структуралистской школы. Собственно «марксистское литературоведение и критика» усвоены нами вообще крайне слабо: истории было угодно распорядиться так, что на долгие годы в нашем литературоведении утвердилась в качестве «социологической школы» посепеловщина, в то время как работы так называемых «вульгарных социологов» (под эту «шапку» попало много отнюдь не «вульгарных» социологов), широко известные в странах Запада, остаются невостребованными и подлежат ostrакизму. А кто их, собственно, прочитал? За исключением Г. Маркузе и Л. Гольдмана? По понятным причинам нами совершенно не усвоены марксистские социологические концепции Европы и Америки, заочно обыванные в «ревизионизме».

По сути, мы очень недалеко ушли в наших размышлениях о литературе от «реальной критики» середины XIX века, с одной стороны, и от социологической критики Г. Плеханова, с другой стороны, мы также — в пик «реальной критике» — недалеко ушли от знаменитого бальмонтского «Поэзия как волшебство». Однако со времен «реальной критики» и первых опытов социологии культуры, предпринятых Плехановым, как говорится, «много воды утекло», точно так же, как со времени марксистских литературно-критических штудий В. Воровского и Ольминского; не меньше воды утекло со времени бальмонтских импрессионистских рассуждений-чувствований по поводу «волшебного искусства». Опязовская критика, работы Б. Арватова — все это, казалось бы, кануло в Лету, как и футуристы и обэриуты, Пильняк и Ремизов, советский плакат и дизайн, конструктивистские здания и экономические концепции Чайнова.

Не смотря даже на Запад, где все канувшее в Лету здесь было подхвачено и развито, можно обратиться также к нашей отечественной критической традиции. Можно назвать экзистенциально-ре-

лигиозную критику Л. Шестова и «экзерсисы» В. Розанова, компаративистский метод Веселовского, получивший у нас некоторое распространение, в частности в работах Мелетинского и его школы, уже упоминавшиеся опязовские работы, работы В. Жирмунского, «психологическую критику» Выготского и работы советских фрейдистов 20-х годов (неплохо было бы обратиться и к самому Фрейду и неофрейдистам), можно, наконец, заново прочитать — не с «доброблюбовско-поспеловской» точки зрения — классическую русскую критику: убежден, что подобное прочтение, например, Жуковского или Герцена, В. Боткина или Б. Алмазова может принести пользу и современному критику. Равно как прочтение В. Соловьева и критиков мифологической школы, идеи которых широко восприняты и переработаны в общих чертах на Западе и пока что совершенно не восприняты в русской критической традиции. История нашей критики по сей день сводится в подавляющем большинстве работ к противостоянию «западников» и «славянофилов», «критиков натуральной школы» и адептов «чистого искусства», что в значительной мере переносит наше внимание из зоны разрешения методологических проблем критики в зону ее политического бытования. Впрочем, для нас, как мне представляется, вообще очень характерно пренебрежительное отношение к рационализации художественного произведения, потому что для русского читателя текст романа или стихотворения неизменно есть нечто от Бога, нечто сакральное, некий «мифотекст», всякая декодировка которого воспринимается как демифологизация и десакрализация: наш писатель — это не просто писатель, но носитель «таинственной русской Психеи». Всякое критическое прочтение уже есть некоторое посягновение на священную непроницаемость текста, а потому вызывает почти всегда раздражение — поэзия должна для нас оставаться только «волшебством», только «несказанным». Это тоже проявление нашего, как сказал бы К. Юнг, «коллективного бессознательного».

Конечно, дело обстоит не так просто, чтобы взять и применить методы Шестова и Бердяева, Эйхенбаума и Бахтина к нашим реалиям, что означало бы судить явления сегодняшнего дня с точки зрения дня вчерашнего. Предстоит сделать отбор, усвоить перспективное, вообще все то, что по разным причинам не попадало в зону нашего внимания. Это потребует времени, однако важно хотя бы идти в правильном направлении, тогда есть какая-то надежда понемногу приблизиться к тексту.

Как уже, надеюсь, ясно, политологическая критика не вызывает у нас раздражения. И все же о политике надлежит судить политологам, отчего нам интересно читать Збигнева Бжезинского, Маркузе и Питирима Сорокина и неинтересно

многие наши «литературно-критические статьи».

Положение в нашей культуре остается удручающим, и до сих пор мы не осмеливаемся себе в этом признаться. Некогда великая литература стала, по сути дела, пятой спицей в колеснице мировой литературы. Молодые писатели вместо того, чтобы сидеть по библиотекам и учиться, лихорадочно пробивают свои сырые рукописи, пытаются писать прозу так, как будто до них не было ни Сартра, ни Джойса, ни Платонова, поэзию — будто не существовало ни русского авангарда, ни всей западноевропейской и вообще мировой поэзии последних 50 лет. Все это сопровождается, кроме того, пустыми претензиями и надуванием с важностью щек, в то время как осмысление сделанного в мировой культуре находится на смехотворном уровне. Само же образование носит преимущественно односторонний характер, и это справедливо даже по отношению к таким крепким академистам, как И. Серман и Е. Эткинд, редакторам и авторам «Русской литературы», выходящей сейчас во Францию. Как ни печально, эта очередная история нашей литературы опять страдает односторонней тенденциозностью, и в ней, например, наблюдается апологетический подход к Пастернаку или Цветаевой, Флоренскому и символистам и одновременно несправедливое отношение к другим авторам, не завоевавшим признания Эткинда и Сермана. Истории сколько-нибудь полной и объективной советской литературы до сих пор нет, хотя есть немало интересных работ того же Эткинда, С. Бочарова, Г. Белой, Н. Харджиева, зарубежных авторов...

В «метрополии», как теперь часто на эмигрантский манер «именуют» нашу страну, для серьезной культурной деятельности пока попросту не хватает информации, журналов и библиотек, о чем много говорили и Д. Лихачев, и Вяч. Вс. Иванов, и другие сопротивляющиеся тотальному бескультурью люди. На университетских кафедрах теории литературы и по сей день царят бессмертные Поспелов и Тимофеев или в качестве самого последнего слова науки рассматривается структурализм 50—60-х годов. Развал высшей школы достигает невиданных масштабов. Нашим студентам до сих пор внушаются какие-то весьма сомнительные сведения и представления относительно теории и истории литературы, в частности советской. По существу, каждому студенту-советологу в дальнейшем предстоит переучиваться, если, конечно, он преследует цель стать серьезным ученым, а не только «вписаться» в соответствующий критическо-академический контекст.

Эта статья сама по себе, конечно, все не является образцом критики, о которой идет речь; может показаться, что автор сам «влипает» в ненужные споры

и дрязги. Однако, как мне думается, поднятые вопросы принципиальны. Образцы же подлинной литературной критики уже имеются, хотя их очень мало, — вспомним хотя бы статьи Вик. Ерофеева о Набокове и Бродском, статьи М. Эпштейна, С. Семеновой, некоторые другие работы. В нашу задачу входило лишь доказательство явной пагубности «усечения традиции»; мы стремились обосновать ту мысль, что жизнь культуры не сводится ни к политике партии, ни к аполитичности, ни к «национальной борьбе», ни к борьбе «освободительной». Для того чтобы отметить несовершенство существующих общественно-политических структур, достаточно зайти в любой советский магазин, и вряд ли стоит всякий раз сюда прилетать Замятина или Платонова. Старая истина, которую, увы, все еще приходится доказывать. В этой связи мы и критиковали «добролюбовское» направление, которое не представляется нам перспективным. Чем далее, тем более мы убеждаемся в ограниченности такого подхода к литературе, в методологическом несовершенстве «реальной критики», в ее национальной замкнутости, невовлеченности в мировую традицию. Из средства определения реальной эстетической ценности того или иного культурного феномена критика под пером наших добролюбовых все более и более превращается в средство ведения политической борьбы и сведения каких-то старых счетов, до которых, откровенно говоря, нашему поколению не всегда есть дело, ведь перед нами стоит очень сложная задача — разобраться в окружающих социокультурных реалиях, преодолеть вопиющий провинциализм нашей национальной культуры, переосмыслить опыт, творческий и житейский, наших предшественников, «шестидесятников» и «семидесятников». Уповать на подрастающее поколение невозможно, потому что именно сегодня в культуре такой очевидный кризис, именно сегодня так тяжело дышать, именно сегодня потеряны все пути. Повидимому, настает время трудной и упорной работы, которая как-то сможет помочь подойти к тем или иным проблемам.

«Да ладно тебе кипятиться, — скажет приятель, — если они не хотят нас оставить в покое, давай оставим их», — и покажет авиабилет до Рима и далее без остановок. «Да не лезьте вы в эту свалку, — скажет уважаемый писатель, — занимайтесь спокойно своим делом, а то влипнете — не выберетесь. Кому и что вы хотите доказать? Все и так уже ясно. Зачем лишний раз говорить очевидные вещи? Советую вообще не обращать внимания на критику — пусть себе критикуют, что х'тят, что они, в самом деле, смыслят?.. Какая разница — все равно настоящей критики у нас нет и никогда не будет».

Хотел бы я знать, что мешает мне полностью присоединиться к высказанному мнению и поставить в этой истории точку.

Соображения по поводу начинающейся писательской судьбы

Наверное, еще ни разу за все время моей работы в приемной комиссии СП РСФСР не говорил я с такой радостью и энтузиазмом: «Да!», «Да!». Это когда познакомился со старыми работами Татьяны Горбулиной, с ее рассказами в книжечке «Одна жизнь». «Принудилровка» — чтение приемных работ и материалов, дело обычно не самое веселое — иногда, оказывается, оборачивается удовольствием. Ну, а роман Т. Горбулиной «Расстаемся живыми», ее повесть «Что он ответит», так счастливо напечатанные в один и тот же год в воронежском «Подъеме»? Будет и о них, но мне пришлось читать их чуть раньше, под Минском, в Доме творчества, где состоялся всероссийский семинар молодых прозаиков. Перед комиссией я эти журнальные публикации только перечитывал. Не поблекнут ли впечатления? Нет, не поблекли!

Мы тогда с Дмитрием Яковлевичем Гусаровым — представлять его не надо, писатель известнейший, редактор «Севера», роман его «За чертой милосердия» в свое время прогремел — в Ислоче «семинарили». Третьим в семинаре «судьей» у нас был Иван Иванович Евсеенко. Он эти тексты как заведующий отделом прозы «Подъема» знал хорошо, но до поры до времени «темнил», нам ничего определенного не говорил, наверное, хотел проверить на свежаках: ведь литература, как и сколько бы мы ни говорили об ее объективном характере, — вещь не простая, многое здесь зависит от вкуса. Итак, прочитав «дамскую» повесть и роман, мы немножко с Дмитрием Яковлевичем обомлели: молодая женщина, хрупкая, обидчивая, а здесь такая мужская крепость и завершенность слова. Ну, с первой повестью «Что он ответит» можно было бы еще и смириться: в конце концов традиционная повесть о детстве, — а с какого там у нас года Горбулина?

Аннотация-представление в «Просторе» не очень галантно, но прямо по-солдатски (в литературе, дескать, не дамы и кавалеры, а пишущие единицы) сооб-

щает: родилась в 50-м году в Боровичах, окончила автомобильно-дорожный техникум, работала... (пышный веер специальностей). Значит, повесть о детстве, годы 60-е. Сюжет довольно традиционный: послевоенное детство, родной класс, мальчик, в которого героиня влюблена, — отличник, из обеспеченной семьи, «богатым пребудет», традиционное расслоение, грубо выражаясь, на «богатых» и «бедных», на детей, родители которых получают много и добились многого, и детей, родители которых и жили в коммуналках, и продолжают вместе со своими чадами жить. Это ведь социализм — «каждому по труду», но дети-то в своем по учебникам, понимании мира уже живут при коммунизме: в равенстве по справедливости. Грустно, и грустные годы. И грустная повесть, но какие в ней детали! Как все это оказалось близким мне — я ведь тоже почти очевидец! И «китайские нитки мулине», и походы в кино, и гарусные — о, незабываемая мода тех времен! — девичьи шапки, и обстановка коммуналки с дорожками, подзорами и диванами с валиками. Но — главное! — какие точные, вызывающие сердцебиение — да ведь это почти с тобой было — детали! Какое у Горбулиной здесь психологическое бесстрашие. Мы-то, люди предыдущего поколения, еще больше просвещены, нежели нынешние читатели, мы-то, «судьи», ведь знаем, какой материал стоит за этой исповедальной прозой! О, эти подарки учительнице к 8 Марта!

Невольно переносюсь памятью на несколько десятилетий назад. Последний год войны, московская школа в Померанцевом переулке возле Кропоткинской улицы, где сейчас открыто первое в Москве кооперативное кафе, то же самое «расслоение» школьного класса, и вот 8 Марта два моих соученика — один из них потом стал моим другом, нежность к которому и воспоминание я пронесу через все оставшиеся годы, вот так-то, Боря, — и вот два моих соученика, крохи, второклассники, переглянувшись, вытаскивают из парт по блоку запак-

ванных в серую оберточную бумагу папирос «Беломор-канал» и несут на стол Серафимы Петровны: наша незабвенная учительница курила. Один парнишечка, Аркаша, был просто из военной офицерской семьи, а другой, Боря, — из семьи генеральской. А что мы, остальные, что я, когда отец мой, тоже офицер, в это самое время отбывал свое «политическое» в знаменитых Щербаковских лагерях?

Итак, теперь уже из Горбулиной. Как удивительно в этой цитатке из повести «Что он ответит» сплывались любви и «то самое»!

«Помнишь, как тебе трудно было выпросить дома десятку? Но ты выпросила. Ты плакала, ты отказалась от обеда; сидела в маленькой комнате и зажимала уши, чтобы не слышать звяканье ложек. И во время ужина ты не села за стол, и почему-то тебе было уже легче, ты не очень хотела есть, но именно этот отказ принес победу.

Женькина мать (Женька — это «кавалер», первая любовь героини повести. — С. Е.) собирала деньги на подарок учительнице к Восьмому марта. Как бы тебе было стыдно, если б против твоей фамилии ее изящная рука нарисовала минус. Может, в этом есть какая-то странность, но тебе больше хотелось понравиться его матери, чем ему самому...

И вот ты достаешь десятку из кармана, заколотого булавкой, и издали протягиваешь ей, не решаясь подойти и вдохнуть ее неизъяснимый запах. Замусоленная, склеенная желтым крестом из кальки десятка дрожит, готовая от прикосновения божественных пальцев взлететь к потолку, залитому мертвенным светом дневных ламп.

Не глядя на тебя, она вынимает десятку из твоих измазанных чернилами пальцев и, осмотрев, вздыхает, присоединяя ее к тоненькой пачечке. Твою! Ту, которой ты владеешь впервые в жизни. Против твоей фамилии, подсказанной кем-то, она небрежно рисует крест. Карандаш туп, крест еле виден. И ты переживаешь: а вдруг, перечитывая список, она примет крест за минус? Ты думаешь об этом на всех уроках».

Не слабо? Повторим про себя: «Карандаш туп, крест еле виден...» И что бы ни говорили горбулинские оппоненты о том, что в литературе не очень-то хорошо, когда на уроке подсказывает безликий «кто-то» и не так уж свежо и славно видится «потолок, залитый мертвенным светом дневных ламп», да и «изящная рука» в словесности не так уж изыскана и не так уж грациозна, но эти переживания бедной — в прямом смысле — девочки, что плюс могут принять за минус, теперь навсегда со мной. Не из моих ли все это беднячких воспоминаний?

Но не только я тогда, под Минском, умилался над прозой Горбулиной. После прочтения романа «Расстаемся живыми» очень интересная была реакция Дмитрия

Яковлевича Гусарова. (Ваня Евсеенко опять посмеивался: ученик по латинисту С. П. Залыгина, он знал цену слова и, видимо, предполагал реакцию профессионалов.) Но сначала несколько слов о самом романе.

Романное действие продолжается час или полтора: именно столько времени требуется, чтобы убрать комнату Старика, Старик — это Алексей Иванович. Но романное действие — это еще и вся его жизнь. Он уже привык монотонную приборку расцветивать монотонным воспоминанием о прошедшей жизни. А что в ней? А как у всех. Как у всех людей его возраста. И война, и довоенные годы, и дети, и внезапная любовь, и неумение — трусость? — ответить на нее, и дети, и внуки. Все — как обычно в романе. И как, видимо, всегда будет у Горбулиной, поразительные и точные подробности рядом с поразительными по головотяпству «ляпами». «В госпитале, где Алексей лежал с перебитой ключицей, повесился изуродованный танкист... У него было нечеловеческое лицо, но сильные, хотя и покрытые шрамами, руки и почти невидимые ноги». Нескладуха это. Иногда балуется Горбулина и красотью: «Он смотрит в окно, за которым догорают осенние листья, покрываются пеллом сумерек... Бесшумным призраком вздувается и медленно падает тюлевая занавеска».

Но хватит крохоборства.

Самое поразительное, что роман этот — об очень старом человеке и его жизненном пути. И с какой достоверностью описывает молодая женщина и старческие хворости, и старческую психологию. И всегда молодые воспоминания старика. Что-нибудь привести, процитировать из этого ряда? Будет, хотя и не следует длинными цитатами губить читательское любопытство к роману. И здесь очень своевременно привести одно соображение Д. Я. Гусарова. Сначала доверительно мне, а уж потом прилюдно этот опытнейший литератор и человек прямолинейнейший сказал: «Да ведь она войну пишет так, что ей веришь!» О, как много значит эта мини-рецензия фронтовика.

«И тогда он вспоминает, как, заблудившись в лесу, прихватил «языка» — связиста. Как гнал его перед собой, думая, что если пропасть, то не напрасно, и как тот сопливый ефрейтор торопливо шел впереди со связанными ремнем руками и оскальзывался на перестоявших грибах, которых было видимо-невидимо в тот год и которыми не прельстилось даже зверье, покинувшее место. Но когда подошли к болоту, немец заартачился и лег неподъемной колодой на землю, отказываясь идти первым. И Алексей повел его, словно козу, прицепив свой ремень к тому, которым были скручены руки немца. А потом, мокрый, измученный, с холодным «цыганским» потом по лбу и с бесильной дрожью в ногах, он

сидел рядом с пленным и с бездумным недоумением глядел на фиолетовый от холода прыщ на его щеке, не испытывая ненависти — одну лишь брезгливость».

Это о женском письме в литературе.

Имея дело на приемной комиссии с этими романом и повестью, читанными ранее, надо бы мне покопаться в своих старых записях, в семинарских соображениях, там наверняка есть какие-нибудь ехидные наблюдения и «методологические» замечания. Вот бы все это внести в рецензию. Но, с другой стороны, разве литература состоит из литературоведческой мелочевки? К чему щегольство сыщичким даром, возможностью «прищучить»? Да, литературный образ составляется из слов, но литература грандиозна тем отпечатком чужих судеб в наших душах, которые мы воспринимаем болезненнее и яростнее, чем впечатления собственные. Да, да, есть у меня теперь в душе некий заветный ящичек, в котором попридерживаю я переживания, которые возникли после чтения романа и повести молодой писательницы из Курска. Есть некие видения и смутные тени, несколько иная, чем обычно, пластика думания — и все это я теперь буду называть «миром Татьяны Горбулиной».

А еще у нее есть рассказы.

Вот, собственно, на них-то с жадностью я и накинулся, когда в деле приемной комиссии обнаружилась тоненькая книжечка «Одна жизнь», изданная в 1985 году в Воронеже, — как же, истоки! Мы-то ведь знаем: для того чтобы книжечка была напечатана в 85-м, рассказы надо написать минимум в 80-м. Сколько лет тогда было Горбулиной? Ой, была она очень юна!

А может быть, с грустью констатировать, что как рассказчица Татьяна Горбулина интереснее и лучше, чем как романистка? А чем берет? Тем же, чем и все стремящиеся на бумаге впервые доказать, что их жизнь неповторима. Как неповторимо детство. Горбулина в этом признается, в первом же рассказе ссылочка — как оговорка у Фрейда: «Это из детства еще пошло: мои друзья старше меня» («Ландыши»). «На много ли, на

мало, а все равно. Это еще из детства». И второй раз повторила.

Но вот возникает вопрос: почему маленькие картинки детства, которые пишут одни начинающие писатели, запоминаются на всю жизнь, вызывают при чтении неизъяснимое душевное движение, западают в память надолго, а картинки, написанные другими, читаются как скучноватая информатика: отчитал, отжевал, забыл. Что в этой традиционной, как молчаливо, поездке в лес маленькой девочки и трех очень и очень взрослых людей? Или: какие переживания могут возникнуть вокруг коротенькой черной юбочки за двадцать рублей? А именно вокруг этой юбочки все и крутится в рассказе «Балетная студия в Боровичах». А может быть, эта юбочка из детства — некая фата-моргана, вызывающая в памяти и старую няньку, и взрослого подругу Марусю, которая «зимой и летом носила капроновые чулки и прозрачные капроновые кофты, что было модно и по тем временам дорого». И все же это, наверное, дар автора не просто оживлять и показывать детали, а показывать их так, что они вызывают у читателя целую цепочку своих деталей. Как вот это добавление Горбулиной к странностям гардероба подруги: «Что было модно и по тем временам дорого». Вот они и приплыли ко мне, те времена. Вот здесь и отгадка маленькой тайны писательницы: за каждым человеком умеет она показать и его неповторимое время. Но вот что меня по-настоящему беспокоит и волнует: все эти подробности и детали интересны только мне и моему поколению, помнящему не столь далекие времена, или всем, разным читателям? А что видит за этими деталями молодой человек, из всех видов рока предпочитающий тяжелый?

А если?.. И все равно я жду от Тани Горбулиной многого и верю, что литературная судьба ее только начинается. А впрочем, встретил недавно в Союзе писателей в Москве Ивана Евсеенко, приехавшего в командировку: у Татьяны Горбулиной написан новый роман. Так, может быть, у нас не так плохо с литературной сменой?

Г о р ь к и й¹

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей начиная с 1921 г. либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул Советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время своего пребывания за границей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни — потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие — потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной части прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг — сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот

период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происшедшее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммой данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе — писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением издательства «Всемирная Литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А. Н. Тихонова и З. И. Гржебина.

«Всемирная Литература» числилась состоящей «при народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и Наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 г., ассигновки на «Всемирную Литературу» шли через Госиздат, и

¹ Впервые опубликован в «Современных записках», 1940, № 70.

я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года Н... однажды позвонил мне по телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска ген. Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для «Всемирной Литературы». Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправьтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал Н... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном издательстве. Кроме того, деньги Временного правительства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развивать планы, основанные на предстоящих неудачах Красной армии. Поэтому я ответил Н..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств Н... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведовал им В. В. Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой — может быть, даже слегка поддвигал ее — и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились хорошие отношения. Раз или два случилось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

— Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

— Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была

уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть — в «Известиях») появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающего себе карманы на заказах советского правительства — в частности комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной Литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу, — и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так наз. Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было бы справедливо, потому что она как-никак бывшая артистка, а Каменева — не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихла. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В. Э. Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, симпровизировал я на эту тему целую былинку, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай свою коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку!
Как Андреева, ведьма лютая,
Извести меня обещалася,
Из Тео меня хочет вымести,
Из Кремля меня хочет вытрясти,
Малых детушек в полон забрать!»
Седлай Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее об сыру землю — и т. д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотичес-

ка. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевицкая колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же казалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 г., когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведовать «Всемирной Литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

— Удивляюсь, как вы можете зняться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников, — и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует слышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно, сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917—1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя от-

рицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу — отдыхать и лечиться.

Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку — в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать — об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозит арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно — Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар — можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта — воспоминания о пребывании в Советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама — под условным именем Мара.

Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному уменью притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т. п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским общест-

вом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала бар. В. И. Иксуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 г. ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент Октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог ее взять с собой. Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной Литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большею частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встречным рабочим, кричали:

— Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и, наконец, в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что самое восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева — не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решил ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву несдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екаторины Павловны Пешковой, своей

первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком — по мнению Горького, симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

Весной того же года Луначарский подал Политбюро заявление, поддержанное Горьким, — о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Таймс'е, а Сологуб — наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький тесный кабинет, говоря: «Пойдемте, я вам покажу штукювину», — и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22 числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». «Не осел, а сукин сын», — возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста» (он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял).

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальный: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по зна-

менитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю — меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что в связи с Зиновьевым заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя по обыкновению своему не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем на него надвигалась еще беда, еще одно поражение — может быть, самое тяжелое из всех понесенных им в Кремле.

Уже с весны делалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле наконец переполошились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворившийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский комитет помощи голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т. д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось — лиха беда начат, а уж там, однажды вступив в контакт с «живыми силами страны», Советская власть будет в этом направлении эволюционировать, — замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили

красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой okazji кто-то что-то еще сказал, кто-то успел отпустить «смелую» шуточку, а затем отправились в тюрьму. Горький был в это время в Москве — а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

— Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случилось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький наконец понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул Советскую Россию. Он поехал в Германию.

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просил меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которых нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду видеть вас и рад, что вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: «До свидания со мной — пождите принимать предложения «Накануне».

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Толстого я еще не видал и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!»

В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянул о провокации Зиновьева в кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос — где же написать? — он ответил: «Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького началось мое сперва тайное,

под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднее осенью Горький меня убедил переселиться в городок Сааров, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров). Надо принять во внимание, что до 1922 г. в России существовала только военная цензура. В 1922 г. была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в сов. России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допустить в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на этой мине. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т. д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, повторю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составила из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали «Беседой» в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпуска-

ло издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 г. появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая. «Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобрела наш журнал в количестве не то десяти, не то двенадцати экземпляров, уверяя, однако, что как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма — не знаю, кому, — при мне говорил о «Беседе» с приезжавшим в Сааров Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседа» не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался — даже ригористически. Некто Лежнев еще ухитрился издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 г. он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривают». О, Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи от туда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Кремле свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, не смотря на то, что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет — значило «испортить биографию», потерять ореол любимица «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию.

Меж тем Германия в самом деле грозила опасностью превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала — просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но, лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопроводила его во всех скитаниях по Европе. Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это как соблазнительный, но несбыточный поступок — вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может — до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как бы то ни было, он, по видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два, она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату — «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подклевывания, не выпадаая из тона дружеской беседы, в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства неведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, нам нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего

не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, — несколько раз напоминала она, — но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, — всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», — прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроение Алексея Максимовича внушает окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два — общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич скончался, телеграфируя текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине — были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий «Международной книгой» Крючков. Алексею Максимовичу доказали как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т. е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить напечатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н. К. Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письмо Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Бесе-

ды», издание которой за несколько месяцев до того стало единственным делом С. Г. Сумского, находились в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С. Г. Сумский сообщил мне, что «Международная книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что, «по-видимому, разрешение дано А. М. для утешения, «Беседу» приказано душить». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3-го номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров: итого — восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, — вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма и в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз), тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского музея.) Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; возторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» — советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболеву уйти — маска снималась. Соответствующую личи-

ну надевал и Соболев при Горьком: ложь порождала ложь.

Однажды Соболев не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходящей в Берлине под редакцией А. Ф. Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне написать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». «Позвольте, — возразил я, — ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» «Но я же вас знаю», — ответил Горький. «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей, напечатанной в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда по крайней мере пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь полпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что если бы секретарь прилепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона — она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть — государственными проблемами. Высказывалась

лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предназначениях Советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самой настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидела, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчишками — и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов — на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синема-тограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкою умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтобы отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по-детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой остороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я и до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную словесную точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятни.

Максим. Вот какая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно, — в Чека. Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахчуя.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом — когда был инструктором Всеобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это — приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведовала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем — здрастье пожалуйста! Вот мы раз выловили этих самых эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в «Днях» и в «Современных записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок — у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно Максим поджимает колени, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцей. Потом его левая рука выбрасывается вбок — Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!»

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница Максимовой биографии меня, впрочем не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмышлениш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской

семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т. д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же, кстати, расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскормился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. «Вот кстати! — говорит она. — Зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, я сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него папиросу, испробовал, хорошо ли тянет, — а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания было мне тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

— Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека — ни звука.)

— Что ж, пускай едет, коли ему хочется, — сказал я.

Горький слегка рассердился.

— А когда их там всех перебьют, что будет? — спросил он. — Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают — за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она — важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» — и, собрав пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

— Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

— Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

— Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность поки-

нуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всему так называемому «движению возвращения».

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого, номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «Беседа» — кончилась. Очень жалко... По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Камнев и Велицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротился! Он тоже упрямый».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию — по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размакаться и под давлением Мары и Екатерины Павловны пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: «Разрешение на «Беседу» было дано, и книги в Россию допускались, — он писал. — Затем разрешение было опротестовано и аннулировано». Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал типа «Беседы» в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал изда-

вался за границей и что «ограничительные условия» уже налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 г. нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский Современник» — последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами журнала в России. Дух журнала былвольный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали в нем и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова и К. Чуковского. В конце 1924 г., по выходе четвертой книжки, «Русский Современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Русский Современник» — только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учтивая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник «Русского Современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен «Русский Современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском Совр.», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени, — ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное — чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, буд-

то моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский Современник» не разрешен и никогда разрешен не будет и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», — а просто заставят Горького печататься в «Красной Нови» и в других казенных журналах, — и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить за границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решил не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников — и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 г. он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 г., когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможной поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал — и т. д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 г., основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Осознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е. П. Пешкова и другие лица, о которых я здесь для

краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличать от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какую он ее создал своим воображением, — мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался, — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была

тамошняя революция — она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что еще он пошел. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознал ли он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

1939 г.

Публикация В. ЗАХАРОВА.

Жажда жизни

•

М. Роцин. Полоса. Повести, рассказы, статьи. М., «Современник», 1987. **На сером в яблоках коне.** Рассказы и повести. М., «Молодая гвардия», 1988. **Избранное.** Повести. Рассказы. М., «Советский писатель», 1988.

•

Почти сорок лет в советской литературе работает прозаик Михаил Роцин. Прозаик? Мало найдется драматургов, пьесы которых приобрели бы такую популярность: «Валентин и Валентина», «Старый Новый год», «Ремонт», «Эшелон», «Роковая ошибка», «Перламутровая Зинаида»... И все же — прозаик. Хотя...

Существует «проза драматургов». Критикой она обычно оценивается так: «Известный театральный писатель предстал перед читателями в новом качестве...» Существует «драматургия прозаиков» — как правило, это автоинсценировки, не делающие погоды в театре. Критикой такие вещи воспринимаются терпеливо, как неизбежное зло.

Как быть с Роциным? С шестидесятих годов выходят сборники его повестей и рассказов. Учился в Литературном институте в семинаре прозы Анатолия Рыбакова и Владимира Лидина. Автоинсценировок не так уж много («Роковая ошибка», «Близнец»), строго говоря, это скорее пьесы по мотивам собственной прозы. Но неистребимо наше желание расквартировать писателей по родам и видам литературы — Роцина стали считать «по театральному ведомству».

Однако вышедшие один за другим сборники повестей и рассказов — «Полоса», «На сером в яблоках коне», «Избранное» — позволяют нам рассмотреть феномен прозы Роцина, попытаться понять ее суть.

Эти книги, на мой взгляд, вобрали все лучшее, наиболее характерное для разных «полос» творчества писателя и позволяют проследить, как он менялся, к чему пришел на исходе 80-х годов.

...А начиналось просто: «Мой учитель Гриша Панин» — рассказ о заводской юности автора, о старшем друге, рабочем — вполне в духе пятидесятых годов, когда писатели стали отказываться от ходоульных гладковско-кочетовских приемов в изображении рабочего класса. Повесть «24 дня в раю» — своеобразная идиллия на фоне русской деревни. «Первый, второй» — повесть о толковом и честном втором секретаре сельского

райкома партии в российской глубинке. Герои немного прижаты схемой и кажутся знакомыми: передовой, болеющий за дело молодой второй секретарь; несколько консервативный, но тоже неравнодушный первый секретарь; председатель колхоза — хитрый хозяин, живущий своим умом, а не указаниями «сверху», сумевший создать крепкое хозяйство (сейчас бы о таком в газетную рубрику: «Они готовили перестройку»). Стиль — ясный и строгий, язык — столь же простой, как и герои. Никакой тяги к эффектам, к эксперименту, никакого подражания модернистским образцам, никаких стилизаций, жаргона... Ясная проза без углубления в тайны человеческого «я»... Таким было начало.

Перенесемся в восьмидесятые. Загадочный, почти мистический рассказ «Канистра»... «Лифт» — психологический этюд с оттенком фантазмагории... Судорожные, нервные, взвинченные монологи, составившие причудливую мозаику судеб и лиц повести «Море волнуется»... Резкая, угловатая, насыщенная драматизмом повесть «Роковая ошибка»... Все запутанней отношения, все сложнее характеры; изменился и стиль... Где она, бывшая простота «Гриши Панина»?

А там же, где пятидесятые годы. Мне кажется, что в движении Роцина к все более усложненной, напряженной, многозначной прозе отразился путь минувших тридцати лет. В плоть и кровь тогдашнего поколения вошли провозглашенные в то время цели — социальные, даже политические; они во многом формировали и точку зрения писателей, и смысл произведений, и даже эстетику, стиль. Последовавшая смена политических вех привела к тому, что «верующие» были отторгнуты от «религии» и — в поисках утраченного смысла — обратились к иным ценностям, главной из которых осталась душа. Страдающая, мятущаяся, противоречивая... Откуда тут взяться простоте и ясности?

Роцин из тех писателей, которые всегда пишут «о себе». Почти обо всех своих вещах он мог бы сказать словами Окуджавы: «...и из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Для него писательство — не изучение архивов и документов, не вторжение в неизвестные «закрытые зоны», не анализ с позиции стороннего наблюдателя. Все, что он пишет, почерпнуто из окружающей его жизни. В первые годы занятий литературой он словно торопился поскорей написать о том, что видел. И само время производило отбор материала, направляло взгляд писателя на темы, казавшиеся

важными и нужными. Стиль и форма, судя по всему, не много значили для него. Он спешил «делать добро», то есть — говорить правду. Недаром по сей день Роцин порой цитирует в интервью слова булгаковского Иешуа: «Правду говорить легко и приятно». Правду, повторю, нужную в то время. Прошедшие годы — а вернее, эпохи — изменили иерархию ценностей. И путь Роцина — не приспособление к конъюнктуре, а чуткое ощущение цвета времени, определенное его творчество, заставившее уйти от почти очерковой прозы туда, где стоило искать ответ на главный, может быть, вопрос новой эпохи: «Как выжить порядочному человеку?»

Так как же выжить? По Роцину — сохранять в душе свет совести, добра, сострадания. Но как, как сохранить этот свет?

Пожалуй, основная тема Роцина — столкновение мечты и действительности, потребительского отношения к жизни и поэтического ее видения, конфликт быта и романтики. Поколение Роцина (он родился в 1933 году), детскими глазами увидевшее ужасы войны, перегруженное страхом, вошло во взрослую жизнь с непреклонным желанием построить на земле самое счастливое общество. Слово из чувства противоречия люди, начало судеб которых опалила война, стали романтиками. Романтичное, поэтическое отношение к жизни определило их мировоззрение, их поступки — и их книги, если говорить о писателях. Но каким бы искренним ни был такой взгляд, он все же грешил книжностью, идеализацией жизни, наивностью. И при столкновении с реальностью, непохожей на мечту, розовые очки разбивались в мелкие, больно ранящие осколки... Вчерашние романтики превращались в унылых скептиков, а то и в цепких циников, желание строить счастливое общество сменялось стремлением любой ценой обеспечить себе сытое, безбедное существование, рай единоличного пользования.

Именно этому противостоит Роцин, романтик и фантазер. Подлость, трусость, ложь, пресмыкательство ненавистны ему. Стойкость и мужество, честность и честь — вот что нужно каждому человеку, в какой бы сложный жизненный переплет он ни попал. И для Роцина это не просто благой призыв, а требование к человеку, с годами все более жесткое. Такой романтизм — не прекрасодушный, восторженный оптимизм или желание отгородиться от жизни. На мой взгляд, он равен гуманизму.

В одной из статей Роцин написал: «Современная литература грешна перед человеком, она много занята раздеванием его, разоблачением, принижением, тычет ему в глаза его пороки. Наверно, это нужно. Но писатели не имеют права делать это без любви к человеку». Человечность — вот суть творчества Роцина.

Жадная, ненасытная любовь к людям,

к миру, к жизни определила его писательский путь. Повесть «Шура и Просвирняк» — начало 50-х годов, контора связи в одном из министерств (Роцину довелось работать именно в такой). Жизнь небольшого коллектива, рабочие проблемы, выяснение отношений, ссоры... Телефонистки, монтеры, их маленькое начальство... Мелочи вроде бы. Но в повести прослежен важный социальный феномен: благодаря чему, какими путями проползают в начальники, в вершители чужих судеб люди серые, бездарные, подлые. Угодливость, наущничество, лицемерие прокладывают путь Вите Просвирняку, потому что царят в министерстве (как и во всем обществе) казенщина, страх, оцепенение. Общество востребовало просвирняков — и они явились. Роцин показывает торжество «сна» и порожденных им «чудовищ»... А рядом — «Бунин в Ялте». Тонкий, великолепно написанный рассказ, органично вобравший и мысли Бунина о творчестве, и события его жизни: «Было превращение шутки в печаль, приключения — в жизнь, женского — в человеческое, случайности — в судьбу...» А позднее — «Синдром Сушкина» — история одинокого старика, падающего в больницу, где не очень-то ласковый мир представляется ему полным доброты и человечности... «Роковая ошибка» — повесть о непутевых и несчастливых пэтэушниках, насыщенная сегодняшними проблемами и трагедиями... «Алина» — монолог чудака, от одиночества и глухой тоски сочиняющего себе любовь... «Викинг» — рассказ-призыв уважать и хранить суверенность души маленького человека, каким бы несмышляньшим он ни казался...

Игорь Виноградов в послесловии к «Избранному» пишет: «В этой любви Роцина к жизни есть порой даже что-то как бы наркотическое, самовнушающее...» И далее, развивая мысль: «Мне, правда, могут сказать, что такой взгляд на жизнь, такое приятие все равно отдают некоторым благодушием, поскольку снимают, в сущности, подлинно проблемное к ней отношение — отношение духовного выбора. Это — потолок, граница и одновременно как бы некий внутренний императив такого мировидения. Что ж, что касается потолка и императива, спорить не буду...»

Приятие жизни такой, какая она есть? Своего рода «все действительное разумно»? Полноте. Болью, гневом, страданием переполнена эта проза. Роцин — писатель, вполне ясно представляющий, что он любит и что отвергает. «Шура и Просвирняк» — это разве «разумная действительность»? Нет, скорее абсурдная реальность, наваждение, мириться с которым — смертный грех. Роцин его на душу не берет.

Но откуда же ощущение, родившееся у пронизательного критика? Ведь ощущение это точное. Позволю себе пояснение. По Роцину, жизнь прекрасна. Действительность — неразумна, абсурд-

на, порой омерзительна, а жизнь все равно прекрасна.

И с отвращением читаю жизнь мою,
Я трепещу и проклинаяю,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Вот в чем дело — «не смываю»! Отсюда и гнусное прохиндейство Просвирыня, и мучения героев «Воспоминания», и неразрубаемый узел отношений в «Бабушке и внучке», и много другого — печального, горького, большого, страшного, злого, всего, что есть в жизни, — это все-таки жизни! И человеку необходима — если он человек — причастность к этой жизни во всей ее полноте: к любви, пусть несчастной, трагической, мучительной, к страданию, к боли... Но и к красоте мира, его радости, добру, свету... Иначе наступает «амортизация сердца и души», затягиваются они болотной рясой, гибнут.

Каковы особенности рощинского стиля? Он пристально всматривается в малейшие душевные движения героев, не упуская деталей, подробностей быта, всей окружающей обстановки. Он словно плетет узор, держа в уме сложную итоговую картину, к которой движется не спеша и упорно. Он увлекает читателя в это движение, подчиняет, завораживает, а потом долго не отпускает; при этом он точно выбирает словарный пласт и интонации, «слышит» язык героев и строй их мыслей. В очерке о Юрии Казакове есть слова, которые можно расценить как призыв Рощина к самому себе: «...передай по возможности точно, как оно есть, не выдумывая, и без тебя хватает выдуманного, а вот так, как увидел, как поразило — так и написать».

Сейчас страницы журналов заполнены тем, что еще недавно не могло быть опубликовано, тем, что писалось «в стол». Едва ли стоит называть имена, но думаю, что есть немало писателей, которые сегодня предпочли бы не иметь в своей литературной биографии некоторых книг, изданных в минувшие двадцать лет. У Рощина я таких книг не знаю. То, что написано им десять, пятнадцать лет тому назад, сегодня не выглядит ни уступкой «застоя», ни конъюнктурщиной, ни анахронизмом. Да, его первые вещи сейчас смотрятся простовато, даже наивно, но это не признак приспособленчества, а начальный этап творчества. Лучшими своими вещами Рощин доказывает, что и в трудные годы можно было не уступать в главном, можно было отстаивать в меру сил истинные ценности, если не понимать их как набор политических идей, пусть даже прогрессивных. В период всеобщей перестройки ему нет нужды с восторгом неопита открывать понятия «духовность», «нравственность», «сострадание», «милосердие» — ведь на них основан весь его почти сорокалетний писательский труд.

Георгий ВИРЕН

Питерская муза

Молодой Ленинград. Сборник молодых поэтов. Л., Советский писатель, 1989.

Первое, что обращает на себя внимание, когда познакомишься с этой книгой, — отсутствие назойливой тематической рубрикации. Нет обязательных совсем недавно разделов: граждански-трудового, интернационального... Нет и неизбежных, казалось бы, в таком сборнике петербургско-ленинградских циклов. Это не значит, что нет связанных с таким кругом мыслей стихотворений. Но они представлены в непрерывном жизненном и творческом потоке. Ибо высоким словам хочется верить лишь тогда, когда неотрывно их звучание от повседневного бытия человека, порожденных им дум и чувств. Как, например, во «Фронтovém письме» Геннадия Григорьева. Перемарал некогда военный цензор письмо, затерявшееся на полвека,

Лишь
«Здравствуй, жизнь моя!» —
Оставлено в начале.
и —
«Я тебя люблю...» —
Оставлено в конце.

Мир естественных и вечных человеческих чувств устойчивее глобальных, но преходящих катаклизмов, как бы ни потрясли они планету и какой бы саднящий след ни оставили в душах. Есть тут и другие стихи, воскрешающие крутую историю нашего общества, есть и такие, что лишь регистрируют тему. Скажем, «афганскую» — но подождем корить авторов: темой искусства ей стать еще лишь предстоит...

Более ста поэтов объединены под этой обложкой. Естественно, профессиональная дистанция между одними и другими различима. Кое-кого уже не грех, не боясь быть непедagogичным, поименовать и творческой величиной. Значительна, безусловно, на поэтической карте Ленинграда территория, освоенная Ириной Знаменской. Долгие годы не очень принято было среди поэтов говорить о смерти в ее повседневном обличье и без особого повода (разве что по торжественно-траурным датам), пролагать творческие тропы через кладбища — не подходящие для нашего обязательного оптимизма места! А в стихотворении «Вы со мной совсем не говорите...» горечь разлуки с дорогим человеком слилась с почти физическим ощущением вечности. Несколько по-иному звучит этот мотив у Сергея Скверского — «С каждым разом к родителям...»: быстротекущее время сливается вечное с прозаическим бытом, и лишь дальним эхом отдается в сегодняшнем дне память о таком исчезающем рарите-

те, как большое и дружное сообщество дальних и ближних родичей...

Стихи Сергея Бердникова по стилевому окрасу напоминают старый натюр-морт. А цветовая палитра Ольги Киреевко привлекает причудливым многоцветьем, побуждающим вспомнить акмеистов:

Если хотите — дарю вам февральскую
веток цветущих, кокосовых гроздьев ^{необыль}
Моря, густого от сини, ярчайшего ^{румяных,} неба
И перламутровой утром гряды Андаманов...

Рядом с этими стихами несколько суховат, графичен почерк Давида Раскина, но, очевидно, того и требует поэтика напряженной мысли. А вот мысль и слово Алексея Машевского пропитаны иронией, иногда не без яда...

Раньше меня настораживало знакомство со стихами иных участников сборника: факты мировой и особенно петербургской культуры были в них явлением скорее авторской эрудиции, чем творческого осознания. Отрадно, что сегодня Александр Фролов и особенно Сергей Скверский побуждают нас возвращаться в питерские переулки и пригороды, в мир возрожденческой живописи или старинного романа совсем не для освежения историко-культурных познаний, а для восстановления столь часто обрывающейся нити нашего контакта с реальностями, живыми для бабушек и дедушек, от нас же опасно ускользающими. То же ощущение порождают и стихи Ольги Бешенковской с их причудливыми, парадоксальными и пронзающе знакомыми реалиями, и подборка Ивана Дуды, где притягательный и яростно осмысляемый, подчас непримиримо отторгаемый XX век предстает перед нами в элегическом и горьком «Ретро», когда жизнь на несколько поколений вперед беспощадно рассечена войной; в пестроты исторических и эстетических опосредований и связей, где в прихотливом соседстве существуют старинная музыка, Бежин луг и Любовь Орлова...

Но уж кто органично живет в мире, берущем начало в глубине столетий и в то же время — в сегодняшних ощущениях, так это Елена Шварц. В ее поэтическое существование не только Бетховен, но и Буало входят наряду с весенними садами и улицами, ибо все это — «мой рай, потерянный мой рай». Потерянный и вновь постоянно обретаемый — благодаря неиссякаемой способности души и сердца к возрождению через любовь к жизни, восхищение ее неизбывной красотой, неиссякаемым богатством. Богатством, позволяющим с одинаковой остротой и одновременностью — въяве ли, в воспоминаниях — воспринимать буйство стихии и очарование искусства, сочетать экспериментальную дерзость прерывного ритма с его внутренней логикой и дисциплиной:

Вчера была гроза,
И «Ух ты!» говорила

13. «Октябрь» № 12.

Я всякий раз,
Как молния прыжком
Нижинским в облака влетала и скользила,
И в землю падала,— от этого был гром.

Не без некоторой неожиданности погружаешься после этого в густоту прозаизмов быта, хотя и узаконены они русской поэзией с XVIII века. Однако если у Зои Эзрохи они просто узнаются (и, пожалуй, процесс трогательного узнавания несколько растянут в большой подборке), то Алла Михалевич напоминает: ежедневные зарисовки могут взрываться внутренним драматизмом и даже трагичностью. Характерно, что это явление присуще в книге главным образом женским стихам (издержки пресловутой эмансипации и порожденный ею женский же нравственный протест?).

Есть в сборнике и проходные вещи, есть и авторы, коим за пределы своих литобъединений выходить надо бы погодить (хотя и не стоит фиксировать на том внимание, ибо явных провалов, звучащих диссонансом хорошим стихам, тут нет). Но в целом, как видим, питерская молодая муза кое-что обещает. Правда, А. С. Кушнер, наставник многих из тех, кто здесь представлен, предусмотрительно предупреждает: не все обещания сбудутся. Сколько человек выдержит проверку временем? Не будем гадать. Пусть хотя бы пять-шесть, как сулит Кушнер. Пусть меньше — и в этом варианте сегодняшняя игра стоит свеч.

А. ХОДОРОВ

г. Ленинград.

Подвиг разведчика

Валерий Аграновский. Профессия: иностранец. «Знамя», 1988, № 9.

Подвиг разведчика в художественном произведении... Сколько уже читано! К сожалению, далеко не всегда это было чтение, надолго входящее в благодарную память. Одновременно добавлю: сколько еще не написано!

Конон Трофимович Молодой, полковник, Герой Советского Союза, боец «невидимого фронта» послевоенного времени — что знаем о нем? До недавней поры ничего. Но ведь это о нем писала после шумного судебного процесса в Англии, пожалуй, едва ли не каждая западная газета. Кроме наших.

И вот документальная повесть Валерия Аграновского. Ее появление осенью про-

шлого года — конечно же, показатель меры нынешней гласности.

Повесть — это результат нескольких бесед с советским разведчиком в Англии. Там он работал, по остроумному определению писателя, с профессией «иностранец». Там же арестован, судим, провел несколько лет в тюрьме и лишь потом был обменен на английского шпиона.

Читается повесть безотрывно. Законы «детективно-шпионского» жанра? Вовсе нет. Более того, автор чистосердечно признается в своем предубеждении к оному: «...меня шокирует то обстоятельство, что с их помощью (имеются в виду детективы. — Ю.В.) молодому и неопытному читателю в сладостной облатке погонь, перестрелок и переодеваний может преподноситься горькая начинка в виде самых различных методов (надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю), вполне приемлемых для достижения целей не только в разведке, но, между прочим, в жизни вообще».

Прав писатель. Дурно сотворенное нашим ли, западным ли детективчиком детективное чтиво вовсе не так безобидно, как это порой представляется. Литературоведы вычислили, что в среднестатистическом детективе происходит 3—4 убийства. Идет незаметная подпитка мировоззрения отравляющими веществами вседозволенности, суперменства, нравственной безответственности. Психологи давно установили прямую связь между «запойным» у подростков чтением детективов и усилением склонности к насилию.

Иные задачи ставит перед собой В. Аграновский. Начну, пожалуй, с того, что в своем увлекательнейшем рассказе о герое-разведчике он разрушает прочный, казалось бы, стереотип. Перед нами не анатомия действия, а анатомия души, попытка проанализировать социальные мотивы и нравственную основу поступков советского человека, внутренний мир сложной, «двойной» жизни. Автор хочет понять суть мировоззрения своего героя — не просто как некую сумму готовых формул (любовь к Родине, мужество, выдержка и т. д.), но раскрыть их в живой взаимосвязи с реальными событиями жизни, его отношением к родным и близким, к долгу и службе, к обычаям той страны, где он живет, к людям вообще. В этом главное достоинство повести.

«Во имя чего работает разведчик?» — спрашивает Конон Молодой. И отвечает: не ради сбора разведывательной информации как таковой. Конечная цель этой опасной работы — служение делу мира. Не будем удивляться: именно делу мира. Во имя чего разведчик рискует жизнью, проникая в закрытые зоны, собирая секретную информацию о новых видах вооружения и т. д.? Чтобы информировать свое правительство о тайных замыслах иной державы, сообщать о возможной опасности, предотвратить вероятное возникновение войны, не дать перевеса в военном развитии, удержать противоборствующие страны в состоянии примерно-

го военного баланса — такова, нетрудно догадаться, главная задача.

Время полной гласности в этой специфической сфере, как понимаю, еще не наступило. Но придет такой момент — я в это верю, и к этой цели направлена вся внешнеполитическая деятельность нашей страны последнего времени, — когда все страны смогут договориться решать все проблемы на коллективных началах. Понимаю, что пока, на сегодняшний день, это утопия, но почему бы не помечтать! Тем более что нынешнее развитие международных отношений дает этим мечтам реальное основание.

Однако вернусь к повести. Мне думается, что ее ценность (общественная и нравственная) в том, что она позволяет в иных — непривычно-стандартных — красках высветлить чувство Родины. Это аксиома, устоявшаяся формула: советский человек — патриот своей Родины. Однако аксиомы имеют один существенный недостаток: они порою воспринимаются как некая абстрактная субстанция.

Верю писателю: его герою не до абстрактных, возвышенных, велеречивых восклицаний о любви к Родине. В его жизни иные измерения патриотизма — экстремальные, сопряженные с риском потерять саму жизнь. Когда разведчик вынужден десятилетиями жить на пределе своих возможностей, отречься не только от своих привычек, душевного комфорта, семьи, но даже от своего имени, тогда он имеет право на вопрос: «Во имя чего все эти жертвы?» Казалось бы, Молодой заземляет свое отношение к долгу перед Родиной, но это только на первый взгляд — в его словах, уверен, не показное, но правдивое признание в любви: «Настоящий разведчик носит в себе постоянное, нормальное, всепоглощающее и воинству острое желание: домой! На Родину! К семье! Если это и есть патриотизм, пусть будет так... У англичан есть пословица: моя страна, права она или не права. Универсальная мысль, я ею тоже вооружен».

Воистину главное оружие разведчика — мысль о Родине. И меч, и щит. В повести Аграновского все это органично подтверждено множеством достоверных фактов и деталей, позволяющих даже предубежденному читателю разглядеть высокий нравственный смысл поступков.

Гуманизм подвига... Читая многие зарубежные детективы, мы как-то попырякли к тому, что разведка — дело жесточайшее, не оставляющее места для милосердия. Но вот читаем, как выдающийся советский разведчик Абель терпит в Америке провал только потому, что слишком долго не решился сообщить в Центр о том, что его помощник — увы, алкоголик и бабник. Мешала врожденная порядочность. Видим, как Центр с пониманием относится к некоторым слабостям своих агентов (как это расхочется с представлениями о «железной хватке» Центра). А вот признания нашего героя: «...Я ни разу не стрелял, не бил ножом,

не бегал ни от кого и ни за кем, не скрежетали тормоза моей машины на крутых виражах... Весь период моего пребывания за границей, кроме бритвы (безопасной), другого оружия у меня не было. Ни пистолетов, ни ядов, ни каких-то невероятных приемов дзюдо и каратэ, а самое главное — никакой во всем этом надобности!»

Вот так рассыпается миф о «кровожадности» агентов КГБ, сотворенный западной пропагандой. Согласимся, что рушатся и наши привычные представления о «героической» деятельности разведчиков. Такова правда. А она всегда, пожалуй, не очень-то показно героична. Это подтверждает и сам герой: «Разведка — это не приключения, не какое-то трюкачество, не увеселительные поездки за границу, а прежде всего кропотливый и тяжелый труд, требующий больших усилий, напряжения, упорства, воли и выдержки... Наша работа, если хотите, даже скучна; а наш метод иногда весьма прост: анализ данных, взятых из газет и других официальных источников информации».

Но почему же с каждой страницей повести растет неослабный интерес к личности Молодого? Отчего хочется знать все больше и больше о том, кто сам же как бы дегероизирует свою без сомнения героическую жизнь?

Я думаю, что ответ прост. В. Аграновский, повторюсь, сознательно игнорирует «сладостную облатку погонь, перестрелок и переодеваний». Героизм не только в этом... Большой героизм, наверное, и в самом деле в ином. Сколь же беспредельной должна быть, к примеру, душевная стойкость, чтобы после долгих лет разлуки, находясь в двух шагах от родного дома, не позволить себе нарушить инструкцию. Я пишу об эпизоде, когда герой приезжает в Москву в составе делегации английских бизнесменов, выходит из «Метрополя» на получасовую вечернюю прогулку, подходит к дому, где светятся огни детской комнаты, и отказывает себе в таком естественном желании — увидеть сынишку, хотя бы его. Честное слово, горло перехватывает, когда читаешь эти строки! Невольно остаются в памяти слова, высказанные Кононом Молодым как бы вскользь: «В общем, все это довольно трагично, если учесть, что человек живет не две жизни, а одну, и такую короткую...»

Вот каков истинный героизм в его истинном проявлении: прожить лучшие годы своей жизни в чужой стране, среди чужих людей, прожить в некотором роде незаметно (в повести написано: «словно мышь за веником»), отказывая себе в праве свободно мыслить, чувствовать, наслаждаться жизнью, но отдавая себя не просто трудной, а опасной работе. Уверен: такого человека — даже если он противник — нельзя не уважать. Не случайно американский журналист И. Енсен в своей книге «Как работает американская секретная служба» отмечает, что последствия суда над советским полков-

ником Абедем интересны прежде всего тем, что, несмотря на доказанность его вины и взрыв шпиономании в Америке, общественное мнение было почти единодушно на стороне Абеда. Почему? Думаю, потому, что вся жизнь советского разведчика — даже в глазах американского обывателя — была примером служения Родине, примером самоотречения, нравственной стойкости и внутреннего благородства, рожденного духовным содержанием личности. Именно эти черты характера мы отмечаем и в герое повести В. Аграновского «Профессия: иностранец».

Я тоже знал Конона Молодого. С ним свела моя тогдашняя работа в комсомольском издательстве «Молодая гвардия». Хотелось издать его записки. Было много встреч, впечатляющих бесед... Не удалось напечатать книгу. Увы, излишне суровое время закрытости общества не позволило обнародовать тот вариант рукописи, который принес в издательство скромный человек бодрых средних лет, неожиданной для «англичанина» русской внешности, с необычайно ярким, самобытным умом и смелыми суждениями...

Книга не состоялась, подвиг разведчика оставался для советского человека без вести пропавшим. Потом я узнал о его безвременной кончине — сердце...

...Несколько слов о композиции повести. Даже здесь автор остается верен своему принципу разрушения привычных стереотипов. Нет штампованного «острого» сюжета и всего того набора приемов, будто бы характерных для природы детективного жанра. Автор использовал принцип мозаики, где каждый эпизод, даже самый короткий, несет определенный бит информации, что в конечном счете позволяет достичь эффекта целостной картины. Повесть смонтирована из фрагментов, каждый из которых имеет точный смысловой подзаголовок: «Быт», «Взгляд», «Однажды», «Психология», «Провал», «Судьба» и т. д.

Почему автор пошел на столь необычный прием компоновки произведения? Я думаю, что ее подсказала сама по себе та сверхзадача, которую он поставил перед собой. Его мало интересовали беллетристические ходы: сюжет, интрига, коллизии, наконец, привычная кульминация — сцена ареста. Главное, повторюсь, в повести — показать работу, наконец самооценка.

Свои размышления о повести В. Аграновского хотелось бы завершить словами сподвижника К. Т. Молодого разведчика Абеда. В автобиографии он написал: «Мне очень хотелось бы, чтобы наша молодежь воспитывала в себе чувство собственного достоинства, патриотизма и безграничной веры в правоту того дела, за которое боролись их отцы». Повесть В. Аграновского полностью отвечает этому доброму напутствию.

О Т К Л И К

Статья В. Залещука «Свет боли в тишине...» («Октябрь», 1989, № 2), В. Новикова «Дефицит дерзости» (1989, № 3), М. Эпштейна «Концепты... Метаболы...» (1988, № 4), посвященные новым течениям в современной поэзии, вызвали многочисленные — часто противоречивые — отклики читателей.

Представляем два из них.

Неуспех поэзии Геннадия Айги (а это явный неуспех) объясняется не столько кознями недоброжелателей, сколько особенностями творчества поэта. Это я констатирую без тени злорадства — скорее с прискорбием и соболезованием, может быть, действительно талантливому автору. Чего, поверьте, незаметно в подборках его стихов, опубликованных в «Дружбе народов» (№ 2 за 1988 год) и 3-м номере журнала «В мире книг» за этот год. И совсем уж удивляет рецензия В. Залещука на стихи Айги в «Октябре». Несмотря на старание звучать в мажоре, рецензия эта вызывает опять же скорбное недоумение — не потому только, что поэзию Айги у нас «незаслуженно» не признают, а потому, что и сам автор рецензии зачастую сбивается на подобное недоумение при попытках разъяснить и популяризировать писания Г. Айги.

Вот В. Залещук пишет: «Читатель, наверное, может недоуменно спросить: «Что же это значит? Как увязать эти невнятные речи во что-то стройное, гармонически ясное?» Недоумение обоснованное, и оно не только недоумение читателя, но и недоумение самого рецензента, который, вероятно, не столько читателю, сколько себе самому пытается объяснить поэзию Г. Айги, если это только можно назвать поэзией.

И уж совсем шарлатанством предстает «научно обоснованное» утверждение: звук «а» — белый цвет, черный (!) и т. п. А звук «б»?.. Но рецензент дальше «а» не углубляется. И если у рецензента довольно досуга для расшифровки замудренных писаний (при этом расшифровщику приходится немало пофантазировать, изощряться в толкованиях), то у так называемого массового читателя, к которому авангардисты и некоторые критики относятся с явным пренебрежением, времени на разгадывание ребусов нет: это стихи не только не для доярки или пахаря, это даже и не стихи для поэтов! Поскольку у поэтов тоже не избыток времени, свое надо писать, а если и читать что-то, то уж не подобное стихам Айги (это, честно сказать, и не стихи). Впрочем, В. Залещук с возмущением отозвался в данной рецензии о стихах, «которые почему-то именуют «традиционными», в то время как они просто эпигонские». Примеров рецензент не приводит, и приходится заподозрить его в том, что эпигоны — и Твардовский, и Смеляков, и Ручьев, и все-все поэты, стихи которых выдержаны в классической ритмике и «эпигонски» зарифмованы! Но мне, как и любому и с к у ш е н н о м у читателю, весьма не мил стиль без рифм и без ритма, с предельно затемненным смыслом (впрочем, не редкость в таких стихах и стремление «сложностью» замаскировать отсутствие всякого смысла), когда до сути оных «художеств» не доешь.

...Примечательно, что «Октябрь» не проявил инициативы к публикации писаний Г. Айги, как избежал журнал и публикации стихов Иосифа Бродского, удостоенного Нобелевской премии. Теперь я подошел к вопросу, содержащемуся в рецензии В. Залещука, на который даю самый верный ответ.

«Почему же возник такой, мягко говоря, странный парадокс: поэта охотно печатают во множестве зарубежных стран, кроме своей, родной — России?» — спрашивает В. Залещук. Отвечаю: за рубежом зачастую печатают наших авторов для того, чтобы лишний раз ткнуть пальцем в нашу сторону, — вона, мол, невежды, ретрограды, ненавистники... И, уверен, несмотря на то, что Г. Айги «широко печатается» за рубежом, он и там не имеет успеха, не имеет читательского спроса, не имеет читателя.

Та же причина и в таком явлении, как Нобелевская премия И. Бродскому: нате-ка вам! Вы не хотели признать, а он велик! Ну, и у нас возникло некоторое смущение, стыдливость, начали и в наших журналах появляться большие под-

борки стихов Бродского, среди которых я отмечу лишь два достаточно добротных стихотворения: «На смерть Жукова» и «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» Впрочем, и эти стихи вполне обыкновенные, не выдающиеся, есть у наших поэтов-неэмигрантов и вещи посильнее, разве не так? Не исключено, что у Бродского есть стихи, превосходящие опубликованные в наших журналах, и тогда есть смысл издать сборник лучших его стихов.

Искренне жаль, что глубоко образованный человек Геннадий Айги тратит свои силы на создание вещей, успеха которым не предвидится: публикации, где бы они ни появлялись, не успех... Тяжело это услышать поэту, нелегко говорить это тем, кто не принимает его писаний. Но, как говорится, охота пуще неволи... Только не лучше было бы, если б Г. Айги писал «обыкновенные», талантливые вещи?

Необходимо указать и на то, что и в оценке действительно выдающихся поэтов за последнее время допущено чрезмерное захваливание. Это касается и оценок поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, Б. Пастернака... Будто их поэзия не имеет и мизерных изъянов!.. Но вот что писал Игорь Северянин:

Когда в поэты тщится Пастернак,
Разумничает Недоразуменье.
Мое о нем ему нелестно мнение:
Не отношусь к нему совсем никак.

Им восторгаются — плачевный
знак.
Но я не прихожу в недоуменье:
Чем бестолковее стихотворенье,
Тем глубже смысл находит в нем
простак.

Последнее в полной мере относится и к писаниям Г. Айги, и к ценителю его писаний В. Залещуку, хотя рецензента простаком отнюдь не назовешь: он изощренно шаманит!

Согласимся — в сонете Северянина наличествует изрядная доля правды об истинном образе поэзии известного нашего поэта, которого стали теперь называть великим... Не люблю такого рода титулов! Называли подчас великим и Демьяна Бедного, потом — Твардовского... Называли великим и Блока... А у Блока в большинстве стихотворений — чудовищная банальщина, его поэма «Двенадцать» едва ли не самая наихудшая, примитивнейшая вещь из всех произведений Блока... Поэмы Маяковского «В. И. Ленин», «Хорошо!» превозносились единственно из-за их названий...

...Взять сегодняшних метаметафористов. Длиннейшие стихотворения Ивана Жданова ошеломляют не столько своей протяженностью, сколько удручающим затемнением смысла: и как только поэт смог написать такое и не свихнуться! Повторю: предельное затемнение смысла или маскировку его отсутствия метаметафористы и авангардисты считают почему-то обязательным! Поэзия ли это? По-моему, это недоразумение.

Николай АНДРИЯШИН,
г. Чернь Тульской области

Дайте дорогу новому! Пять лет назад мы читали каждую книгу с чувством веселящего риска, — теперь просто подписываемся на журналы. Два года охотились за всеми журналами, теперь приходится выбирать: ибо во всех встречается нечто интересное. Чего же мы ищем, чему отдаем предпочтение? Новой, «другой» литературе — будь то публикация ранее издававшегося у нас писателя или новое имя.

Надоели бесконечные повторения одних и тех же тем, одной давно разжеванной канонизированной чиновниками от соцреализма поэтики. Как правильно написал В. Новиков в «Октябре», по-прежнему недостает нового, по-настоящему нового слова в искусстве. Нового настолько, что оно не может не вызвать недо-

понимание или просто непонимание, раздражение или протест. Готовность художника в своих поисках вступить в спор со здравым житейским смыслом во имя обретения новых ценностей более высокого и сложного порядка. Способность художника обогатить искусство не только ценным материалом, не только сверхзлободневными или запрещенными прежде темами, фактами и проблемами, но и принципиально новыми способами их образного, композиционного и словесного претворения. Преобладание эстетической энергии произведения над его непосредственно информационной насыщенностью. Отчетливая, порою демонстративная непохожесть авторского языка и стиля на поэтику текущего потока, на средне-статистические нормативы... Вот всего этого в современной литературе очень мало, досадно мало. Поэтому хотим поддержать «Октябрь», который начал печатать и другую — «авангардную» прозу и поэзию. И статьи о ней. Статья Новикова тому пример. Или основательный разбор творчества Геннадия Айги В. Залещуком. На памяти у нас и статья М. Эпштейна о метаметафористах. Из прозы — повесть, «Школа для дураков» Саши Соколова. Бесконечно благодарны за эту публикацию. Есть, конечно, читатели, которым такая проза и поэзия не близки, непонятны. Бог с ними, даже хорошо, что они есть, — как первый признак актуальности публикаций! Споры «с пеной у рта» — это еще одно доказательство, что данное произведение с полным правом привлекло внимание именно журнала. А тем вещам, о которых уже никто не спорит, нужен не ежемесячный журнал, а солидное, академическое издание...

Не зажимайте свободного голоса молодых, дайте им самостоятельность в темах, формах, способах выражения и доказательности! Это относится особенно к двенадцатым, «молодежным» номерам журнала. Хорошо, что они есть. Хотелось бы только, чтобы молодые авторы были не просто по возрасту молодыми, но прежде всего по степени новизны, обаяния, по силе и мысли!

Сейчас, к сожалению, происходит в новых формах старый процесс: все журналы знакомят нас наконец-то с произведениями, долго ходившими в рукописях, издававшимися за границей, тайно передававшимися от одного благодарного читателя к другому и уже успевшими за долгую «подпольную» жизнь стать классикой, а новые, только что созданные по-прежнему переходят из рук в руки в рукописях в смятении мнений и оценок — на страницы журналов им пробиться трудно. И как часто сами читатели своим консерватизмом, подозрительностью к иному, нестандартному мировидению помогают литературным чиновникам не пускать эти произведения в печать: «Наш читатель этих заумников не поймет, нашему читателю это не нужно».

Доколе же наше отечественное, порой лучшее, будет приезжать к нам из-за границы?

Члены литературного товарищества «Черновик»
 московского литературного клуба «Поэт и гражданин»
 (Всего 9 подписей)

Из почты «Октябрь»

В редакцию продолжают поступать многочисленные письма и телеграммы в поддержку позиции журнала. Публикуем одно из писем, в котором, на наш взгляд, наиболее последовательно и доказательно изложена ситуация, сложившаяся вокруг «Октябрь» в результате кампании, развязанной против журнала секретариатом правления Союза писателей РСФСР.

Уважаемый Анатолий Андреевич!

Зловещая кампания, развернутая секретариатом правления СП РСФСР и газетой «Литературная Россия» против Вас и журнала «Октябрь», своей неэффективностью, недобросовестностью, агрессивностью и нечистой замыслом вызывает отвращение.

Создалось впечатление, что эта кампания специально организована, как и опубликованное «Литературной Россией» 4 августа 1989 г. «письмо трех» (М. Ф. Антонова, В. М. Клыкова, И. Р. Шафаревича), обвиняющее «Октябрь» в «последовательной антирусской политике», выразившейся в публикации «руссофобских» произведений «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца (А. Синявского) и «Все течет» Вас. Гроссмана.

С начала сентября этого года «Литературная Россия» продолжает публиковать материалы, направленные против «Октябрь». С учетом этих материалов мне хотелось бы высказать некоторые соображения по поводу обвинения журнала «Октябрь» в руссофобии.

Разумеется, руссофобия, как и «фобия» по отношению к любой нации, отвратительна. Только является ли повесть «Все течет» проявлением руссофобии? Ведь задолго до Вас. Гроссмана великие русские писатели и мыслители с болью душевной сказали о России немало горьких слов. Со школьных лет всем знакомы лермонтовские строки:

«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ».

Эти строки явно мешают тем, кто обвиняет повесть «Все течет» в руссофобии, и поэтому они оспаривают принадлежность этих строчек Лермонтову. Так, Ст. Куняев заявил в «Нашем современнике» (1989, № 6) по поводу этих строк: «До сих пор нет убедительных доказательств, что стихотворение принадлежит Лермонтову». Аналогичное заявление сделал И. Шафаревич в телепрограмме «До и после полуночи». Есть и противоположное мнение — в статье «В поисках клада», посвященной 175-летию Лермонтова (газета «Правда», 14 октября 1989 г.), А. Марченко огорчает их: «написал однако» Михайло Юрьевич «эту напраслину». Это признает и Л. Васильева в юбилейной статье «Ясновидец» («Литературная газета», 11 октября 1989 г.). А признав, всячески «оправдывает» Лермонтова и налагает запрет на высказывание мыслей, подобных содержащимся в этих лермонтовских строках, другими людьми: «Но что можно Юпитеру, того нельзя быку».

Напрасно беспокоится Л. Васильева, и не так уж важно, что скажут лермонтоведы, поскольку существует множество других строк, за которые их выдающим русским авторам можно было бы «шить» руссофобию, как это делается по отношению к Вас. Гроссману.

Так, кажется, никто не оспаривает, что Пушкину принадлежат слова: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать».

А вот что писал Чаадаев:

«...взгляните только на свободного человека в России — и вы не усмотрите никакой разницы между ним и рабом... все в России и носит на себе печать рабства — нравы, стремления, образование и вплоть до самой свободы, — поскольку о ней может идти речь в этой стране...»

В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути».

Достоевский увидел в русском человеке «жуткое в нем затаившееся неуважение к себе, при необъятном, разумеется, самомнении и тщеславии».

Православный философ Георгий Федотов в самом начале второй мировой войны писал:

«Однако теперь, когда сталинская империя идеологически и политически все более сближается со странами воинствующего национализма, есть над чем задуматься. Острота русского национального чувства в границах СССР и даже за его границами имеет свои аналогии лишь в тоталитарных империях. В нем живет и эрос страсти, и похоть вождения, гордость своей мощью и боль унижения — весь тот болезненный комплекс, который на наших глазах привел Германию к явному безумию».

Можно не соглашаться с этими мыслями и наблюдениями. Но непредвзятому образованному человеку и в голову не придет усмотреть в них русофобию. В повести «Все течет» звучат некоторые мысли, высказанные ранее выдающимися русскими писателями и мыслителями. Можно не соглашаться с метафорическими высказываниями Вас. Гроссмана о том, что русская душа — «тысячелетняя раба». Но усматривать в нем враждебное отношение к русским нелепо. Гроссман не утверждает, что рабство свойственно русским от природы. Он пишет, что «всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души». Более того, Гроссман, по существу, утверждает, что от природы человеку любой нации, в том числе русскому, свойственна свобода:

«Свобода совершалась в глубокой тьме и глубокой тайне... Свобода совершалась вопреки безмерному сталинскому насилию. Она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми».

Повесть «Все течет» проникнута верой в свободу России. «Свобода соединится с Россией!» — восклицает герой этой повести Иван Григорьевич.

И после этого Вас. Гроссман — русофоб?

Тогда обвините в русофобии Горького, который писал в «Несвоевременных мыслях»:

«Мы, Русь, — анархисты по натуре, мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь», — и который, по свидетельству Бунина («Окаянные дни»), «зеленея от волнения, говорил речь»:

— Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!»

И самого Бунина, сказавшего в «Окаянных днях» по поводу эксцессов революции, что «сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа, на еврея: Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбило».

И Ленина, который в статье «Очередные задачи Советской власти» сказал:

«Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями». (Именно как свидетельство русофобии привел эту цитату в своем эссе «Читая Ленина» В. Солоухин, «забыв» при этом привести следующие строки Ленина: «И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права».)

Почему секретариат правления СП РСФСР не проявляет принципиальности и не протестует против публикаций всех названных выше «русофобов», ограничиваясь лишь Вас. Гроссманом и А. Синявским, и не требует снятия портрета и имени Горького с титула «Нашего современника»?

Идеологической основой кампаний против русофобии, развернутой секретариатом правления СП РСФСР, «Нашим современником», «Литературной России», является трактат Шафаревича «Русофобия» («Наш современник», 1989, № 6). Центральное место в нем занимает понятие «Малый Народ», означающее слой леворадикальной интеллигенции, в общем случае включающий представителей разных национальностей. Важную роль в «Малом Народ» играет его часть — так называемая «эмиграция надежды», в среде которой рождаются самые радикальные идеи. Согласно «Русофобии» в дооктябрьский период в России к «Малому Народу» безусловно относились большевики во главе с Лениным. В статье «Феномен эмиграции» («Литературная Россия», 8 сентября 1989 г.) Шафаревич пишет, что поток вернувшихся в Россию после февраля 1917 г. представителей «эмиграции надежды» принес «десятки имен, без которых революция, гражданская война, военный коммунизм кажутся нам немислимыми». От «Малого Народа» все зло: в «Русофобии» Шафаревич рисует жуткий «конец, к которому толкает «Малый Народ», неустанно трудящийся над разрушением всего того, что поддерживает существование «Большого Народа», т. е. остального населения страны. А в России, по Шафаревичу, от «Малого Народа» — русофобия, потому что, с одной стороны, ему чужды интересы «Большого Народа», а с другой стороны — и это главное, — заметную роль в нем играют евреи.

Не будем здесь спорить с Шафаревичем по поводу его теории. Но если все это так и Шафаревич действительно «не мог бы спокойно умереть, не попытавшись» сказать эту «ПРАВДУ» (о чем сообщается в «Русофобии»), то он поступает непоследовательно и нечестно, подкрепляя свою подпись члена-корреспондента АН СССР под «письмом трех», обвиняющим «Октябрь» в русофобии, и под статьей «Феномен эмиграции» указанием своего звания «Лауреат Ленинской премии». Этим Шафаревич придает дополнительный вес своей позиции, которая, как ни крути, абсолютно антиленинская.

Будем объективны: Шафаревич обвиняет в русофобии не только евреев, но и русских. И прежде всего Андрея Синявского, русского, верующего православного христианина, который на известном «процессе Синявского и Даниэля» в 1966 г. был обвинен не только в публикации своих произведений на Западе, но и в антисемитизме за то, что взял себе псевдоним «Абрам Терц». Но, по-моему, подавляющее большинство читателей не знает этого. А «Литературная Россия» (1 сентября 1989 г.) не оставляет у неинформированного читателя сомнения в том, что А. Синявский — еврей, поскольку в редакционном ответе А. Ананьеву

раскрывает «псевдоним» и указывает «настоящие» имя и фамилию А. Синявского:

«...с возмущением встретили сочинение А. Синявского (Абрама Терца)...»

Эстафету «Литературной России» приняла газета «Советская Россия» (10 октября 1989 г.), которая в статье Г. Орехановой «Послесловие к реплике» возвестила на всю страну, что А. Синявский на самом деле — Абрам Терц:

«...о публикации в журнале «Октябрь» эссе А. Синявского (Абрама Терца) «Прогулки с Пушкиным», вызвавшего множество критических читательских откликов...»

В контексте общей направленности кампании против русофобии это не похоже на случайную ошибку и воскрешает в памяти сталинскую кампанию против «безродных космополитов» в конце сороковых годов. Указывая псевдоним в скобках, следовало бы дополнительно пояснить, что это псевдоним, поскольку он не общеизвестен.

Почему же русский и православный христианин А. Синявский может быть русофобом? А очень просто. Шафаревич в статье «Феномен эмиграции» объясняет это тем, что А. Синявский — представитель «эмиграции надежды», которая была всегда обращена против «Большого Народа».

Вообще говоря, не только «Литературная Россия» и «Советская Россия», но и Шафаревич не церемонится с А. Синявским, хотя и по-другому. В «Русофобии» («Наш современник», 1989, № 6) Шафаревич дает справку, в которой сказано, что А. Синявский «был судим и осужден на 5 лет» и что «отбыв 4 года, был амнистирован». Это неверно: А. Синявский был осужден не на 5, а на 7 лет, отбыл не 4, а более 6 лет, был не амнистирован, а помилован за несколько месяцев до истечения срока заключения.

Возможно, что это лишь досадная ошибка, но она показывает степень добросовестности Шафаревича: вернее, его безразличие к факту.

Помилование не сняло судебных обвинений с А. Синявского, который до сих пор остается формально (юридически) виновным в публикации своих «антисоветских» произведений на Западе. Но за несанкционированную публикацию на Западе своих произведений в годы застоя Шафаревич не привлекался к судебной ответственности и не был лишен работы. Беда, постигшая А. Синявского, обошла Шафаревича. Казалось бы, хотя бы одно это обязывало Шафаревича дать точную справку об А. Синявском, а не приуменьшать степень несправедливости, выпавшей на его долю.

А вот более существенный пример недобросовестности. Шафаревич и его соавторы по «письму трех», а также некоторые авторы «Нашего современника» в обоснование своего обвинения А. Синявского в русофобии ссылаются на его слова «Россия — сука», не указывая, из какой работы и из какого контекста они взяты. Но ведь неискушенный читатель может подумать, что это из «Прогулок с Пушкиным».

Эти слова, вырванные из контекста, звучат как ругательство блатного характера. Между тем в полной цитате, приведенной А. Ананьевым в письме «Критика или обвинение» («Литературная Россия», 1 сентября 1989 г.), слово «сука» имеет совсем не блатной, а биологический смысл:

«Россия — Мать, Россия — Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!».

У Синявского «очередное» дитя — это «третья» за время советской власти волна эмиграции; в этой фразе, по существу, говорится об ответе и за предыдущие волны эмиграции.

Это метафорическое сравнение страны с Матерью-Сукой, имеющее целью показать, что страна относится к своим выброшенным за границу гражданам, возможно, более равнодушно, чем сука к ее выросшим детям.

В число этих граждан входят и такие выдающиеся деятели русской культуры и науки, как Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Ипатьев, А. Чичибабин, А. Солженицын, Р. Ростропович и многие другие.

Мысль о безразличии России к своим выдающимся гражданам высказал и оказавшийся в эмиграции Б. Зайцев в статье «О Лермонтове», перепечатанной в «Литературной России» (13 октября 1989 г.): «Сорила Россия своими сынами — досорилась».

Вероятно, противников А. Синявского раздражает то, что к «очередному» выброшенному «дитя» России он относит и евреев, составляющих большую часть «третьей» эмиграции, но это не имеет отношения к интерпретации приведенной выше цитаты.

В число граждан России, вынужденно оказавшихся в эмиграции, входит и сам А. Синявский, судебный процесс над которым оказал влияние на возникновение потока нелегальных зарубежных публикаций советских авторов, среди которых — Шафаревич. Даже Вл. Гусев, которого невозможно заподозрить в симпатиях к А. Синявскому, в статье «Крайне серьезно» («Литературная Россия», 22 сентября 1989 г.) сказал, что свое право писать и издавать что он хочет А. Синявский заслужил. Это относится и к упомянутому метафорическому высказыванию А. Синявского.

Не будем спорить по поводу того, насколько справедливо или оскорбительно это высказывание. Но думается, что авторы «письма трех» специально хотели представить сочетание «Россия — Сука» в аспекте блатного ругательства. Это подтверждается тем, что в статье «Феномен эмиграции» Шафаревич прямо представляет публикацию «Прогулок с Пушкиным» как «распространенный прием», используемый блатными, «мафией» для проверки, прощупывания людей по их реакции на нечто для них неприятное (в данном случае — для проверки «жизненности нашего народа и его способности дать отпор»):

«...любая блатная компания, прибирающая к рукам какое-нибудь предприятие, применяет этот прием очень четко, не формулируя его и не сговариваясь».

Что это за «блатная компания», «сплоченная группа», «мафия», «захватывающая руководство в какой-то сфере жизни»? Из работ Шафаревича и некоторых публикаций в «Нашем современнике» и «Литературной России», видно, что это либеральная интеллигенция, демократы: там («эмиграция надежды») и «здесь» («левые» и, в частности, — «межрегиональщики», т. е. межрегиональная группа народных депутатов). И это главное для Шафаревича и секретариата правления СП РСФСР, а не «Прогулки с Пушкиным». Этим объясняется и то, что в своем выступлении на расширенном заседании секретариата правления СП РСФСР секретарь этого правления Н. Шундик, как свидетельствует Г. Ореханова в статье «Послесловие к реплике» (газета «Советская Россия», 10 октября 1989 г.), легко связал Пушкина с совсем другой темой:

«Можно ли допустить, чтобы страницы «Октября» стали сценой для игр в псевдодемократию? Ведь когда уже нет ничего святого, тогда и возникает опасность самой свирепой диктатуры псевдореволюционеров с их неизбежным обскурантизмом. «Псевдо» всегда чревато бедой, поскольку его носители компрометируют, уродуют, доводят до абсурда все то, за что якобы ратуют в своих громких декларациях. Демократию надо спасать от псевдодемократии».

Вот, оказывается, к чему ведут «Прогулки с Пушкиным». А ведь все это не о Синявском и «Октябре», а о деятелях культуры и науки (среди которых народные депутаты), выступивших в защиту «Октября», в их числе академики Д. С. Лихачев, А. Д. Сахаров («Книжное обозрение», 22 сентября 1989 г. и «Октябрь», 1989, № 10).

П. Краснов в статье «Свобода и исходный проект» («Литературная Россия», 6 октября 1989 г.) высказался прямо, что «все наши» средства массовой информации (а это почти вся наша центральная пресса, а с нею ЦТ и радио) «поручены» «бюрократией «левым» либерал-радикалам». Кто, по мнению П. Краснова, представляет эту бюрократию?

Это лишний раз подтверждает то, что ясно с самого начала, — спасатели демократии своей «сплоченной группой» хотят захватить журнал «Октябрь». Примечательно, что Вл. Гусев в упомянутой статье «Крайне серьезно», обращаясь к писателям из советского ПЕН-центра, пишет, что зря они защищают А. Анянэва, — ведь «зарплату он и его сотрудники получают в издательстве «Правда» ЦК КПСС», и ехидно добавляет: «Тоже, что ли, по зову творчества?».

Тем самым Вл. Гусев говорит, что раз главный редактор и сотрудники «Октября» получают зарплату в издательстве ЦК КПСС, то они как бы «продались» ЦК КПСС, работают под его контролем, а не «по зову творчества». Тогда, следуя логике, Вл. Гусев должен был бы обвинить в русофобии прежде всего ЦК КПСС, а не «Октябрь». Но с логикой у Вл. Гусева слабовато. Кстати, а где будут получать зарплату спасатели демократии — «национал-патриоты», если они придут в «Октябрь»?

Но вернемся к А. Синявскому, который, наверно, и предположить не мог, в какой политический переплет попадут «Прогулки с Пушкиным» на его родине через много лет после их опубликования на Западе.

В публикациях Шафаревича и ряда других авторов наблюдается явно неадекватная реакция на «Прогулки с Пушкиным», характеризующаяся доведенными до абсурда сравнениями, преувеличениями и напоминающая неистовые заклинания фанатиков. Так, в статье «Феномен эмиграции» Шафаревич вовсе накаляет страсти:

«Знаменитые «Сатанинские стихи» Сальмана Рушди — это, по-видимому, нечто вроде исламского варианта «Прогулок с Пушкиным»... Реальным ответом были грандиозные демонстрации, то, что в столкновениях с полицией сотни людей отдали свои жизни — и в результате удалось добиться запрета книги во многих странах. Но наш ответ еще впереди».

Накаляет страсти и Вл. Гусев в статье «Крайне серьезно», патетически заявляя, что в «Прогулках с Пушкиным» оскорблена последняя оставшаяся у нас святыня». Почему «последняя»?

«Накалители страстей» явно забывают меру.

Вряд ли Пушкин нуждается в такой «защите» от А. Синявского и вряд ли такая «защита» достойна памяти Пушкина.

С этим, по-видимому, не согласится Н. Дорошенко, который в заметке «Позиция редактора» («Московский литератор», 20 октября 1989 г.), страстно (до оскорблений) выступая против заявления ленинградской писательской организа-

ции СП РСФСР в защиту «Октября», совершенно абсурдно противопоставляет защиту Ананьева защите Пушкина, который в таковой не нуждается:

«Ибо трудно казаться русскими писателями и одновременно быть защитниками Ананьева, а не Пушкина, трудно отсутствие культуры выдавать за свободу воззрений».

Вот так человек, возглавляющий газету «Московский литератор», запросто обвинил ленинградскую писательскую организацию в «отсутствии культуры», потому, что эта организация высказалась в защиту «Октября».

Удивительно, как эти «защитники» Пушкина не замечают, что своими пассажирами выставляют себя в смешном виде.

Почему те, кто так неистово поднимается на «защиту» Пушкина от Синявского, считая «Прогулки с Пушкиным» глумлением над святыней, не выступят против В. Маяковского? Ведь он еще «хуже» Синявского — он призывал: «Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности».

Удивительно вспомнить и другие слова Маяковского:

«В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина»; «...в одном из южных городов ко мне перед лекцией явился «чин», заявивший: «Имейте в виду, я не позволю вам говорить неодобрительно о деятельности начальства, ну, там Пушкина и вообще!»

Из статьи Г. Орехановой «Послесловие к реплике» создается впечатление, что внимание борцов с «Октябрем» сосредоточилось сейчас на Синявском, а о Гроссмане как бы «забыли» — до поры. Может быть, в некоторый момент так удобнее, чем разбираться с Гроссманом: раз «глумился» над Пушкиным — к ответу. Тем более что, как сообщает А. Казинцев в статье «Новая мифология» («Наш современник», 1989, № 5), «книга Терца вызвала в прессе русского зарубежья много гневных отзывов» и в их числе — отзыв А. Солженицына «Коллебельный треножник».

Конечно, гневный отзыв Солженицына — это серьезно. Но, к сожалению, я не могу его прочесть, равно как и положительные отзывы на книгу Терца «Прогулки с Пушкиным» и его статью «Чтение в сердцах», о которых сообщила редакция «Октября» (1989, № 9), поскольку они, как и сама эта книга (полностью), в СССР не опубликованы. Остается довольствоваться пересказом А. Казинцева:

«А. Солженицын считает, что написать книгу А. Терца побудило стремление, которое сам автор «Прогулок» с присущей ему русофобией приписывает русскому человеку — нагадить на видном месте. Напакостить на святыню. Видимо, Солженицын не далек от истины».

Такое объяснение цели написания «Прогулок с Пушкиным» неубедительно и представляет известного литературоведа А. Синявского примитивным и злонамеренным русофобом, что совершенно не соответствует действительности.

Заметим, что стремление «нагадить на видном месте» может появиться не только у эмигранта и русофоба, что подтверждается Горьким в очерке «В. И. Ленин»:

«Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оставались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное».

Из сокращенной перепечатки «Литературной России» (30 июня 1989 г.) статьи Р. Гуля «Прогулки Хама с Пушкиным» хорошо видно, что причину написания «Прогулок» автор статьи усматривает не в русофобии Синявского, а в том, что Синявский — продукт советского общества, что «он всего-навсего — советский хам-хулиган», и отмечает, что «в этом он не виноват» и что «хамство сопряжено с рабством». Автор статьи язвительно говорит о Синявском: «Раб Дубровлага восхитился тонкостью понимания искусства товарищем Ждановым».

Это не соответствует действительности.

Р. Гуль даже намекает на то, что Синявский сотрудничал с властями: «Как и почему жеку Абраму Терцу удалось в концлагере всецело отдаваться литературному творчеству — мы не знаем. Но факт — удалось».

Думаю, что это большое преувеличение, не имеющее отношения к критике «Прогулок», а понадобившееся Р. Гулю, чтобы испепелить их автора. Это все равно, как с таким же намеком задать вопрос: почему в годы застоя Шафаревича не привлекли к суду за публикацию на Западе своих произведений, тогда как Синявского за такие же действия упекли на семь лет в лагерь строгого режима?

Нет сомнения в том, что оппоненты А. Синявского искренне не принимают «Прогулок с Пушкиным» и возмущаются ими. Но не принимать «Прогулок с Пушкиным» и критиковать их — это не то же самое, что вести агрессивную кампанию и требовать принятия строгих оргмер против «Октября», заменяя серьезную критику руганью.

Некоторые оппоненты прямо-таки соревнуются в искусстве ругани по адресу Синявского и «Октября». Так, Д. Меркулов в статье «Клеветникам России» («Московский литератор», 15 сентября 1989 г.) просто называет Синявского «литературным хамом» и пишет, что Р. Гуль «не мог и предположить, что на нашей земле найдется журнал, который будет смаковать хамову мерзость». Далее, после упражнений на библейскую тему Д. Меркулов переходит как бы на политические рельсы, но с известной национальной направленностью, говоря, что журнал «Октябрь» так далеко зашел «по пути, намеченному троцкистами, авербахами, кагановичами, что величайший русский поэт «для этого журнала — не более чем мишень для плевков в цель». Вот в какую компанию «попали» А. Синявский (даром, что ли, Абрам Терц) и А. Ананьев. Уровень этих пассажиров не нуждается в комментариях.

Арсенал средств, используемых борцами против «Октября», достаточно широк: и ругань, и истерическое взвинчивание национальных чувств, и раскрытие «псевдонима», показывающее, что Андрей Синявский на самом деле — Абрам Терц, и сравнение его с блатным, а «Прогулок с Пушкиным» с «Сатанинскими стихами», и обвинение «Октября» в том, что публикует представителя «эмиграции надежды», и в том, что идет «по пути, намеченному троцкистами, авербахами, кагановичами», и одновременно с этим упрек А. Ананьеву, что «зарплату он и его сотрудники получают в издательстве «Правда» ЦК КПСС» (т. е. продались).

В официальном сообщении «В секретариате правления СП РСФСР» («Литературная Россия», 13 октября 1989 г.) отмечается анонимный характер письма трудового коллектива журнала «Октябрь», «поскольку оно никем не подписано, хотя на бланке издания». Но ведь подпись «Секретариат правления СП РСФСР» под ответом А. Ананьеву в «Литературной России» (1 сентября 1989 г.) и под телеграммой Председателю Верховного Совета СССР («Литературная Россия», 29 сентября 1989 г.) анонимна в такой же степени. Читателям неизвестно, какие люди (поименно) стоят за подписями под этими документами. Хотелось бы знать не только это, но и стенограммы заседаний секретариата правления, посвященных «Октябрю».

Спасибо газете «Советская Россия» и Г. Орехановой за то, что хотя бы частично познакомили читателей с некоторыми выступлениями на расширенном заседании секретариата правления СП РСФСР, состоявшемся 6 октября 1989 г. Благодаря этому теперь мы знаем, с какой филиппикой по поводу «псевдомократии» выступил Н. Шундик и каков уровень его выступления, в котором обнаруживается обскурантизм, т. е. переводя это использованное Н. Шундиком слово на русский язык — мракобесие.

Совершенно ясно, что обвинение журнала «Октябрь» в «последовательной антирусской политике» — сущий вздор и что под флагом этого бессовестного обвинения «просвещенные консерваторы» (самоназвание, данное Ст. Куляевым в интервью газете «Правда» 20 октября 1989 г.) перешли в наступление, преследуя групповые интересы. Атака на «Октябрь» является не литературной, а политической. За «Октябрем» может прийти черед и других средств массовой информации. И тогда мы узнаем наконец, что имел в виду Шафаревич, когда угрожал: «Но наш ответ еще впереди».

В. ЖУК,
научный сотрудник.
Москва

**СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА И ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ»**

1. Ознакомившись с материалами и постановлением пленума СП РСФСР, редакция «Октября» решительно отвергает выдвинутые против журнала обвинения как абсолютно беспочвенные и клеветнические. Немотивированное решение о замене главного редактора А. Ананьева рассматриваем как акт грубого нарушения свободы печати, гарантированной Конституцией СССР.

2. Редакция констатирует, что руководство СП РСФСР упорствует в занятой им неконструктивной, командно-ведомственной, антиперестроечной позиции, провоцирующей межнациональную рознь. Эта позиция не имеет ничего общего с мнением большинства писателей России. Показателен активный протест против этой линии со стороны таких мощных объединений писателей, как Ленинградская писательская организация и «Апрель» (Москва). Позиция секретариата СП РСФСР нашла отражение и на последнем пленуме, где были допущены прямые выпады против народов СССР, ряд выступлений носил неприкрытый шовинистический характер — оскорбительный как для многонациональной России, так и для самого русского народа.

Надеемся услышать оценку этого беспрецедентного для нашей общественной жизни явления от правления Союза писателей СССР, писательской и читательской общественности.

3. Выражая народному депутату СССР А. Ананьеву свое полное доверие и единодушную поддержку, трудовой коллектив редакции единогласно, тайным голосованием избрал его главным редактором журнала «Октябрь» (подтвердив тем самым свое прежнее решение от 5 октября сего года).

4. В создавшейся обстановке считаем невозможным далее находиться в ведении секретариата правления СП РСФСР и просим, чтобы до принятия Закона о печати и очередного съезда Союза писателей СССР, где только и может быть решен вопрос об «Октябре», журнал перешел под эгиду Союза писателей СССР, чьим органом он и был до 1958 года.

Принято единогласно общим собранием трудового коллектива редакции и партийной организации журнала «Октябрь» 27 ноября 1989 г.

**Председатель трудового коллектива редакции В. МАЛЯГИН
Секретарь партийной организации Н. ЛОШКАРЕВА
Председатель профсоюзного комитета С. АСЕЕВ**

Содержание журнала «Октябрь»

за 1989 год

ПРОЗА

АЛЕКСИН Анатолий. **Игрушка.** Воспоминания о детстве, которого не было. IV 3

АНАНЬЕВ Анатолий. **Скрижали и колокола.** Роман. I 3

II 76

АСТАФЬЕВ Виктор. **Улыбка волчицы.** Рассказ. VII 3

БАРДИН Сергей. **Два рассказа.** III 159

ВАСИЛЕВСКИЙ Борис. **Урна с прахом.** Рассказ. I 141

ВОЛГИН Игорь. **Родиться в России.** Достоевский и современники: жизнь в документах. III 3

IV 110

V 67

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий. **Триумф и трагедия.** Политический портрет И. В. Сталина. Книга вторая. VII 12

VIII 51

IX 94

X 61

ГОФФ Инна. **На белом фоне.** X 151

ГРОССМАН Василий. **Все течет.** Повесть. Публикация Ф. Губера и Е. Коротковой (Гроссман). VI 30

ДОВЛАТОВ Сергей. **Рассказы из книги «Чемодан».** Предисловие Юнны Мориц. VII 118

ЕВДОКИМОВ Николай. **Собиратель снов.** Повесть. VII 82

КИРЕЕВ Руслан. **Пир в одиночку.** Повесть. II 3

КУРЧАТКИН Анатолий. **Веснянка.** Повесть. IX 3

МАКШЕЕВ Вадим. **И видеть сны...** Повесть. IV 35

МОРИЦ Юнна. **Три рассказа.** XII 108

Продолжение знакомства. Рассказы. Д. БАКИН, Д. ДРАГУНСКИЙ, Д. ДОБРОДЕЕВ, Вл. АБРОСИМОВ, И. ТАРАСЕВИЧ, А. ТРОФИМОВ, А. КОСЕНКИН, Н. ИВЕНШЕВ, И. АГАФОНОВ. XII 49

ПОТАНИН Виктор. **Облака бывают белые, синие, черные.** Письма для сына. X 11

СОКОЛОВ Саша. **Школа для дураков.** Повесть. Послесловие Андрея Битова. III 75

СУББОТИН Василий. **Рассказы из прошлого.** II 142

СУХАНОВА Наталья. **Два белых леса.** Рассказ. XII 157

ЧАКОВСКИЙ Александр. **Нюрнбергские призраки.** Роман. Книга вторая. V 3

ЧАЧАВА Ростом. **Этап.** Рассказ. VI 112

VIII 143

ПОЭЗИЯ

БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга. **«Кому даны слова...»** XII 115

ВАНШЕНКИН Константин. **Из лирики.** VII 78

ВЕГИН Петр. **Стихи разных лет.** III 71

ВЕЛИЧАНСКИЙ Александр. **Новые стихи.** Из книги «Вплоть». VII 116

ВИНОКУРОВ Евгений. **Новые стихи.** VI 109

ГОРБОВСКИЙ Глеб. **Стихи разных лет.** II 136

КАШЕЖЕВА Инна. **Старинное дело.** II 73

КОХАНОВСКИЙ Игорь. **Ностальгия** X 149

ЛАВЛИНСКИЙ Леонард. **Новые стихи** XII 106

МАРТЫНОВ Леонид. **Из литературного наследия.** VI 173

МЕРКУРЬЕВА Вера. **Из литературного наследия.** V 149

МОРИЦ Юнна. **Горечь прежних пыток.** I 127

ПАШКОВ Юрий. **Новые стихи.** VIII 49

ПОМЕРАНЦЕВ Кирилл. **«Мы все — беспризорные дети...»** VIII 134

САМОЙЛОВ Давид. **Возвращение.** Поэма. V 63

СОСНОРА Виктор. **Семь стихотворений.** X 58

ТКАЧЕНКО Александр. **Из лирики.** II 139

ТОМАШЕВСКИЙ Олег. **Полночная феерия.** XII 155

ЦЫБИН Владимир. **Новые стихи.** IV 31

ЯГУМОВА Елена. **Мы бед своих первооснова.** IX 91

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

М. ПРИШВИН. 1930 год. VII 140

**ПУБЛИЦИСТИКА И
ОЧЕРКИ**

АНАНЬЕВ Анатолий. По течению или наперекор? Думая о времени и о себе. X 3
 БУРТИН Ю. Ахиллессова пята исторической теории Маркса. XI 3
 XII 3
 ВОДОЛАЗОВ Г. Ленин и Сталин. Философско-социологический комментарий к повести В. Гроссманна «Все течет». VI 3
 ГЕФТЕР М. Судьба Хрущева. История одного неувоенного урока. I 154
 ЗАРАЕВ М. Как я был ходяком. IV 168
 КАПУСТИН Михаил. Камо грядеши? VIII 151
 НИКИТИН Андрей. Расследование. II 154
 III 173
 ШМЕЛЕВ Гелий, член-корреспондент ВАСХНИЛ. Хозяин?.. Работник?.. V 160

**НАРОДНАЯ
ПУБЛИЦИСТИКА**

VIII 176

**ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА**

АДАМОВИЧ Георгий, Владимир Набоков. Вступление и публикация Игоря Васильева. I 195
 АДАМОВИЧ Георгий. Большой поэт и большой человек. VI 200
 АЖГИХИНА Надежда. Противостояние. IX 181
 БЕЛАЯ Г. Третья жизнь Исаака Бабеля. X 185
 ВАСИЛЕВСКИЙ Андрей. Страдание памяти. IV 180
 ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Вя-

чеслав. Путь в казарму, или Еще раз о наследстве. V 176
 ЕСИН С. Соображения по поводу начинающейся писательской судьбы. XII 175
 ЛАЗАРЕВ Л. История, отраженная в человеке. XI 182
 ЛАТЫНИНА Юлия. В ожидании золотого века. От сказки к антиутопии. VI 177
 НЕМЗЕР Андрей. В поисках утраченной человечности. VIII 184
 НОВИКОВ Вл. Дефицит дерзости. Литературная перестройка и эстетический застой. III 186
 НОСКОВ Г. Голос в хоре. XII 166
 ОГНЕВ Владимир. «Не исцелиться ранам прежних дней». Трагические страницы поэзии Кайсына Кулиева. IX 188
 РАССАДИН Ст. После потопа, или Очень простой Мандельштам. I 182
 САРАСКИНА Л. Право на власть. Размышляя над первоисточником. VII 183
 СЕМЕНОВА Светлана. Восходящее движение. Ноосферные идеи в литературе. II 181
 ТЕРЦ Абрам. Прогулка с Пушкиным. Фрагмент. IV 192
 ТИМЕНЧИК Р. Незвестное стихотворение Анны Ахматовой. X 182
 ТОМАШЕВСКАЯ Зоя. «Я — как петербургская тумба». VI 188
 ХОДАСЕВИЧ В. Горький. XII 178

**ВОСПОМИНАНИЯ,
ДОКУМЕНТЫ**

ВИЛЕНКИН В. «В сто первом зеркале»: новые страницы. К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой. II 192
 СЕДЫХ Вольф. «Принишу свои раны...». V 185

**ИЗ ПРОШЛОГО
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СЛОВЕСНОСТИ**

ЧУПРИНИН Сергей. Из твердого камня. Судьба и стихи Николая Гумилева. III 196

**ДИАЛОГ С НАШИМИ
ЗАРУБЕЖНЫМИ СО-
ОТЕЧЕСТВЕННИКАМИ**

Саша СОКОЛОВ — Виктор ЕРОФЕЕВ. «Время для частных бесед...» Вступительная статья Олега Дарка. VII 195

**ПО СТРАНИЦАМ
КНИГ И ЖУРНАЛОВ**

А. НЕМЗЕР. Время кадровой революции. I 206
 С. НИКОЛАЕВ. Неопровержимость истин. ☆ А. ХОДОРОВ. Среди нас... ☆ Владислав ЗАЛЕЦУК. Свет боли в тишине... II 198
 Георгий ВИРЕН. Такая любовь. ☆ Вл. МАЛЯГИН. Горечь неслучившегося. III 203
 И. ГРЕКОВА. Самоосуждение и самооправдание. ☆ М. ПРОРОКОВ. Между небом и обстоятельствами. ☆ Алла МАРЧЕНКО. Свершение судьбы. IV 200
 Сергей ДМИТРЕНКО. Залы бессмертия. ☆ В. М. КУЛИШ, доктор исторических наук. Феномен Г. К. Жукова. V 200
 Марк АМУСИН. Иллюзия и дорога. ☆ Александр КАСЫМОВ. На печальном мужском острове. VI 203
 В. ПИСКУНОВ. Живая трава. ☆ В. ШОХИНА. Против больших батальонов. VII 203
 Л. ЛЕВИЦКИЙ. Стоять на своем. ☆ Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ. Волошин

ожидаемый и неожиданный.

IX	204
Вячеслав КУРИЦЫН. Сила объектива. ☆	
Вл. ВОРОНОВ. Заботы наши тяжкие.	
X	203
Виктор МАЛУХИН. Сила слабых. ☆	
Игорь ШАЙТАНОВ. Увидеть в движении.	
XI	189
Георгий ВИРЕН. Жажда жизни. ☆	
А. ХОДОРОВ. Питерская муза. ☆	
Ю. ВЕРЧЕНКО. Подвиг разведчика.	
XII	190

ОТКЛИК

	на статью Л. ЛАЗАРЕВА «Освобождаясь от ведомственности» (Л. В. Калущкий, член-корреспондент АН СССР)
I	206
	на сборник «Мой лучший рассказ» (В. Матвеев); на книгу Н. БЕРБЕРОВОЙ «Курсив мой» (И. Наппельбаум)
II	207
	на воспоминания Бориса ЯМПОЛЬСКОГО (В. Лит); на сборник очерков «Разведка Словом» (Станислав Асеев); на сборник «Помнить, откуда ты родом» (М. Афонина); на публика-

цию книги Н. БЕРБЕРОВОЙ «Курсив мой» (Н. А. Рыкова-Перли)

IV	207
	на книгу «Временщики и современники» (Георгий Кублицкий); на документальное повествование З. РУМЕРА «Колымское эхо» (Л. Букина); на книгу Л. КНЯЗЕВА «В сердце Дикси» (М. Петрова)
VII	207
	на статьи В. ЗАЛЕЦУКА «Свет боли в тишине...» (Николай Андрияшин); В. НОВИКОВА «Дефицит дерзости»; М. ЭПШТЕЙНА «Концепты... Метаболы...».
XII	196

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ**, **Р. Т. КИРЕЕВ**, **Н. Д. КРЮЧКОВА**, **А. Н. КУРЧАТКИН**, **В. М. ЛИТВИНОВ**, **А. А. МИХАЙЛОВ** (первый зам. главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ**, **В. Я. САВАТЕЕВ**, **И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор **С. И. Суrowцева.**

Сдано в набор 10.11.—28.11.89. Подписано к печати 28.11.89. А 07795. Формат 70×108^{1/16}.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 385 000 экз. Заказ № 1503. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ ВЫРЕЗКИ

Вы хотите знать все
о летающих тарелках
или о снежном человеке?
Справочно-информационная
служба («СИС»)
готовит подборку газетных
и журнальных публикаций
на любую тему.

Оформить заявку можно
в справочном киоске,
столе справок и услуг.
«СИС» дает самую
исчерпывающую информацию!

БЫТРЕКЛАМА